

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

**3/2019**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Олег ХАФИЗОВ. Дуэлист. Главы из романа. Окончание.</b> .....	3
<b>Кристина ВЫСОЦКАЯ. Кривая свора. Повесть. Окончание.</b> .....	41
<b>Мария КОСОВСКАЯ. Открытый космос. Рассказ.</b> .....	73
<b>Вячеслав ЛЯМКИН. Отпусти его на небо, душа...</b> Повесть. ....	90
<b>Виктория САГДИЕВА. Кайзер. Рассказ.</b> .....	125

### ПОЭЗИЯ

<b>Иван ВАСИЛЬЦОВ. Неучтенный мир. Стихи.</b> .....	31
<b>Ирина РЫПКА. Время нас. Стихи.</b> .....	71
<b>Александр ПИМЕНОВ. Подле врат околосемных. Стихи.</b> <i>Предисловие Александра Ахавьева.</i> .....	80

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА. Загадочный старец</b> <b>Федор Кузьмич в Томске. Мозаика легенд и слухов.</b> .....	140
<b>Александр ГОРДИН. Очищение души.</b> .....	154

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Марина КУДИМОВА. Не надо отказываться от богатства.</b> .....	165
<b>Михаил ХЛЕБНИКОВ. Блок, зеркало, нога,</b> <b>или В поисках потерянного отражения Дмитрия Быкова.</b> .....	171

### Картинная галерея «Сибирских огней»

<b>Людмила БОГОМОЛОВА. Константин Чеботарев</b> <b>и Александра Платунова: омская страница в творческой судьбе</b> <b>художников казанского авангарда.</b> .....	183
--	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Олег ХАФИЗОВ

## ДУЭЛИСТ

Главы из романа\*

### Из донесения Толстого

*Вместе с протоколом военного совета от 13 октября граф Толстой позволил мне скопировать донесение о ходе сражения при Иденсальми, писанное 16-го числа, уже после боя. Это «донесение» имеет форму дневниковой записи с некоторыми деталями, которые, конечно, немыслимы в официальном документе. К таковому отношу, например, описание зрительной трубки князя Долгорукова или военных костюмов противника. Толстой почти не приводит данных о позициях сторон, численности войск, их эволюциях или взаимных потерях. Зато вдруг может поделиться наблюдением об обычаях шведского войска. Словом, Американец не умеет толком составить документа, и его заносит в роман. Поэтому окончательное донесение о ходе сражения было написано Генерального штаба поручиком Липранди. А черновик Американца частично сохранился и попал в мои руки при одной из наших последних встреч в 1846 году.*

Октября 16, 1808 г.

Его высокопревосходительству генерал-лейтенанту Тучкову-первому поручика графа Толстого донесение о деле при Иденсальми в Финляндии.

15 октября на рассвете авангард под командою генерал-адъютанта князя Долгорукова-третьего скрытно приблизился по узкому дефилею между двух озер к мосту при селении Иденсальми, за которым находились главные силы шведской бригады генерала Сандельса в количестве предположительно четырех тысяч. Русские и шведские войска разделены были длинным проливом, к коему с обеих сторон вел крутой спуск. По ту сторону пролива уступами были вырыты три ряда вражеских шанцев и установлена батарея. Подходы к мосту защищали ведеты карель-

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2019, № 1, 2.

ских драгун в количестве нескольких эскадронов, непрерывно совершающие разъезды на расстоянии пушечного выстрела от нас.

Как только было получено известие о выступлении главных сил вашего высокопревосходительства, князь Долгоруков поручил мне отправиться к Сандельсу с объявлением о прекращении перемирия, что и было мною выполнено в сопровождении хорунжего Полубесова с белою тряпичей на пике. Сандельс встретил нас со всевозможным учтивством, однако выразил протестацию, поелику соглашением главнокомандующих было решено упредить друг друга о возобновлении военных действий не позднее чем за неделю. Я возразил, что причиной таковой спешки русского командующего было исключительно его миролюбие, ибо мир между нашими государствами восстановится тем скорее, чем скорее начнется война, то есть на целую неделю ранее. Шведский генерал не нашелся что мне возразить.

Между тем, по моим наблюдениям, войска противника вовсе не были захвачены врасплох нашим наступлением. С самого рассвета все их батальоны стояли в ружье, артиллеристы были при орудиях с дымящимися фитилями, и толпы карельских драгун скакали в разные стороны с самым воинственным видом. Мне, однако, показалось, что для пушечного впечатления один и тот же отряд сих всадников пуццали передо мною несколько раз, ибо трудно же предположить, чтобы в трех разных эскадронах у трех трубачей одновременно образовался флюс и они обмотали свои щеки марлей.

По возвращении я нашел князя Долгорукова в превосходном настроении. Он насвистывал ариетку из оперы «Дунайская русалка» и нетерпеливо поглядывал в сторону шведов через бронзовую зрительную трубку. Осмелюсь заметить, что эта трубка, обладающая изумительной ясностью и сильным увеличением, была привезена мною из города Копенгагена, где я имел честь находиться пять лет назад при свите посланника, действительного камергера Н. П. Резанова, направлявшегося в Японию на корабле «Надежда». Сия трубка была мною приобретена за десять золотых империалов в знаменитой Копенгагенской обсерватории, варварски разрушенной английской бомбардировкой в последнюю войну, а затем подарена князю Долгорукову, за что я был не раз удостоен благодарности его сиятельства. Ибо через эту трубку князь мог со всевозможным удобством наблюдать не токмо эволюции противника, но даже пуговицы на куртках вражеских солдат и самые перья на их шляпах. Во время же свободное от воинских трудов сложенная зрительная трубка легко помещалась в кармане шпензера — коротенькой куртки без фалд, которую князь любил носить на походе.

Для того чтобы как-то развлечь неприятеля до прибытия наших главных сил, князь приказал мне с сотней казаков проскакать несколько раз перед карельскими драгунами, ни в коем случае не вступая с ними в перестрелку, что я и выполнил с огромным удовольствием, при бодрой погоде и подъеме сил, который обыкновенно посещает меня перед сра-

жением. Во время этой демонстрации я имел удовольствие раскланяться с начальником шведской кавалерии капитаном Мультмом, известным за отменно храброго и благородного офицера. Узнав от меня, что сражение начнется никак не ранее полудня, капитан Мультм отправился завтракать.

Я также вознамерился вернуться к нашему лагерю и перекусить, как вдруг заметил подозрительную возню спешенных карельских драгун на мосту. При помощи топоров и клещей они вырывали гвозди из досок настила и собирали их в ведра.

— Как ты думаешь, на что им столько гвоздей? — спросил я хорунжего Полубесова. — Уж не хотят ли они стрелять по нам гвоздями вместо картечей?

— При шведской бережливости я не удивлюсь, когда они и станут заряжать гвоздями пушки, — согласился Полубесов. — Однако их главная хитрость вовсе не в этом.

— В чем же?

— При отступлении они побросают доски в воду и сделаются недосыгаемы.

Прискакав в лагерь, я тут же сообщил сию тревожную новость Долгорукову, который пил чай перед балаганом из своего походного серебряного самовара в форме чемоданчика.

— Ah, diable!\* — воскликнул князь, выдергивая салфетку из-за галстука и швыряя ее на траву. — Как же я буду атаковать Сандельса?

В этот миг до нас долетел ясный сигнал вражеского рожка, и карельские драгуны, стоявшие верхом насупротив нашей пехоты, начали разворачиваться и заезжать на мост. Должно вам заметить, ваше высокопревосходительство, что действия неприятельской кавалерии во время сего сложного маневра заслуживали всяческих похвал, разворот был выполнен равномерно, как на манеже, однако на мосту лошади, напуганные шатанием оторванных досок, стали брыкаться и поворачивать назад, отчего кавалеристам пришлось спешиться и вести их под уздцы. По причине такового замешательства перед мостом возникла большая толпа, которую удобно было переколоть пиками, ежели бы, предположим, в нашем распоряжении имелся эскадрон улан, ожидаемый прибытием к полудню. Поскольку же до полудня оставалось еще более полутора часов, то все карельские драгуны благополучно перевели своих лошадей через длинный мост и приступили к разрушению настила.

Двое подымали оторванную доску и перекидывали ее через перила; когда же все до одной доски одного пролета были таким образом сброшены, то ближний к нам драгун перебирался по перилам над водами пролива к своему товарищу и сия операция повторялась. Однако теперь уже задний работник становился вперед, очевидно, из-за большей опасности находиться в близости неприятеля и перелезать по перилам над бездной. Такое распределение обязанностей среди шведских служителей

\* Ах, дьявол! (франц.)



показалось мне весьма похвальным, ибо в наших войсках унтер-офицеры и старослужащие обыкновенно принуждают к труду более молодых солдат, сами вовсе не подвергаясь никаким тягостям и опасностям, а посему служба в российской армии становится, вместо благородной обязанности гражданина, подлым и рабским трудом.

При таком порядке работ в разборке моста могло участвовать разом не более четырех человек. Ширина же пролива при Иденсальми, как известно вашему высокопревосходительству, весьма велика и отнюдь не уступает одной из значительных русских рек, каковы Ока и Волга в верхнем ее течении. А посему окончательное разрушение моста непременно затянулось бы часа на два и завершилось к полудню, когда, согласно диспозиции вашего высокопревосходительства, все батальоны корпуса должны были построиться на пригорке и приступить к атаке.

— Что скажешь, дядя Федя? — справился князь Долгоруков, передавая мне зрительную трубку.

Взор мой попал на сияющий шпиль церкви, вокруг которого, подобно разбросанной шелухе подсолнуха, вилась туча воронья, потом опустился на хмурые лица вражеских канониров, замерших подле орудий с дымящимися пальниками. Я обратил внимание, что шведские артиллеристы в отличие от наших почему-то не носят усов, зато у их командира под подбородком было устроено что-то вроде шкиперской бородки, отчего я сделал вывод, что эта команда переведена в пехоту с корабля. Наконец я нащупал взглядом и мост — как раз в тот момент, когда шведский солдат довольно потирал руки после выброшенной доски. По случаю ручного труда этот драгун был без мундира, но в черном галстуке. Поверх рубахи на нем был желтый жилет, довольно опрятный, однако выцветший, штаны же были сшиты из грубой кожи, что, по моему разумению, очень практично при верховой езде. Ибо после скачки такие рейтузы достаточно протереть мокрою тряпичей, вместо того чтобы каждый раз стирать, как белые лосины наших кирасир.

— Я полагаю, Михаил Петрович, что им надо помешать, — заметил я.

— Возьми команду охотников из казаков, которые умеют целно стрелять, и прогони шведских драгун от моста, — приказал князь. — Это и будет тебе одно, но отчаянное задание.

Позволю себе разъяснить последнее высказывание князя Долгорукова. Дело в том, что до сих пор я главным образом занимался при его особе всякими незначущими мелочами, как то: склеивание конвертов для донесений вашему высокопревосходительству, очинка перьев, составление меню для офицерского стола, устройство походного балагана etc. — делами вовсе не героическими, как ни важны они сами по себе среди трудов боевого похода. Когда же я просился в дело, то Михаил Петрович повторял, что я нужен ему для одного, но отчаянного задания.

Долго искать охотников мне не пришлось, ибо хорунжий Полубесов с его разбойниками находился поблизости, жадно прислушивался к на-

шему разговору и только ждал случая наброситься на врага, как борзая на сворке. Я взял у слуги мое пристрелянное пехотное ружье, которым обыкновенно пользовался в этой кампании, попросил, а попросту сказать — отнял еще один штуцер\* с патронной сумой у близстоящего егеря, чтобы стрелять без перерыва, и бросился галопом под гору. Казаки поскакали за мною с теми характеристическими кликами, какие также издают при атаке американские индейцы.

Далее я осмелюсь отвлечь внимание вашего высокопревосходительства подробным описанием огнестрельного дела у моста, коего я был непосредственным участником и руководителем. Ибо это дело, находящееся в ряду более значительных подвигов русских витязей в Финляндии, было, однако же, признано генерал-адъютантом князем Долгоруковым важным для хода всего сражения. Поскольку же я справился с этим заданием быстро, ловко и без потерь, то его сиятельство остался весьма доволен моими действиями, обнял меня, расцеловал и пообещал по окончании боя написать государю прошение о снятии всех взысканий и возвращении меня лейб-гвардии в Преображенский полк капитаном. Вашему высокопревосходительству известно, что князь Долгоруков не мог выполнить своего обещания и не оставил письменных распоряжений на этот счет. Но справедливость моих слов могут подтвердить находившиеся при сем хорунжий Полубесов, поручик лейб-гвардии конной артиллерии Жадовский, колонновожатый Липранди, а также казаки Попов, Титов и Орлов-десятый. Слова мои подтверждаются и самим ходом дела при Иденсальми, которое поначалу развивалось довольно выгодно для нас.

Итак, во главе партии казаков я галопом подскочил на расстояние выстрела от моста и, отправив лошадей с несколькими служителями в безопасное место, стал занимать удобную позицию среди многочисленных валунов, разбросанных перед проливом. Заметив наше появление, шведские драгуны встревожились, прервали работу и стали подавать сигналы своим товарищам на другой берег. Однако те не имели ни малейшей возможности им помочь, ибо до нашей стороны долетела бы разве что пуля из хорошего штуцера, а мы еще залегли в значительном отдалении от воды. Сами же работники были вооружены одними топорами, и мы имели удобную возможность расстреливать их, словно дичь на охоте.

Я выбрал себе того самого солдата в желтом жилете, которого давеча наблюдал через трубку, приложился, задержал дыхание и плавно спустил курок. Солдат, что как раз перебирался подальше от нас по перилам моста, вскрикнул как ужаленный, замахал руками, будто пытаясь взлететь, и кулем полетел вниз и грохнулся в воду, поднявши целый сноп брызг. Я тут же схватил другое ружье, поданное мне сзади, выстрелил, но не попал, потому что поднялась суматоха, отовсюду захлопали выстрелы, шведы бросились бежать по мосту взапуски и рука моя дрогнула.

---

\* Штуцер — нарезное ружье.

Драгуны на той стороне пролива, стреляя, приблизились к самому берегу и даже в азарте заходили в воду; впрочем, их пули только щелкали по камням, не причиняя нам никакого вреда. Мы же из своих укрытий могли безопасно обстреливать все пространство моста, не допуская на него шведских саперов. Через несколько минут обоюдной траты пороха к нам бегом присоединилась рота 4-го Егерского полка, завязавшая с противником оживленную перестрелку, которая не нанесла шведам большого ущерба, но вынудила их немного удалиться от воды. Наконец, и к шведским стрелкам присоединилась рота саволакских егерей, доставивших нашим солдатам несколько легких ранений, причем раненые в своей горячности просили у меня разрешения остаться во фронте.

Огонь с вражеской стороны усилился по прибытии нашей пионерной роты, которая приступила к рубке близстоящих деревьев. Под прикрытием егерей пионерам удалось набросать перед мостом бревна, а затем забежать на мост и перекинуть эти бревна над провалами, хотя и не весьма равномерно. Во время таковых пробежек двое русских солдат были застрелены. Однако же после прибытия конного орудия шведов удалось отогнать от моста картечными выстрелами, и пионеры до подхода шведской артиллерии успели-таки соорудить что-то вроде настила, местами шаткого, но такого, по которому русский солдат может пройти под пулями на цыпочках.

Засим, полагая мою миссию выполненной, я оставил берег в полном разгаре огнестрельного сражения и вернулся к генерал-адъютанту князю Долгорукову доложить о ходе дела.

— Вот за что люблю моего Федю! — воскликнул князь, прижимая меня к груди. — Можешь считать себя капитаном Преображенского полка.

Я возразил его сиятельству, что сражение еще толком не начиналось и я...

*(Здесь часть донесения обуглена и непригодна для чтения, так как граф Толстой раскуривал этим документом сигару.)*

### **Первому кону не радуйся**

— ...И я могу еще ворваться с егерями в шведские окопы, — примерно так возразил князю Толстой, насколько мне припоминается его устный рассказ о сражении (который я далее попытаюсь восстановить, полагаясь на свою хорошую память).

— Ты будешь при мне, — лаконически ответил ему Долгоруков, разглядывая по обе стороны темной воды беглые вспышки, после которых через несколько секунд долетал веселый треск, как от хлопучек в рождественскую ночь.

Берег возле моста окутывался голубоватым дымом, из-за чего почти не видно было перебегающих людей, словно из пролива расплзался



туман. Вдруг этот плотный туман высверкивался длинной оранжевой молнией пушечного выстрела, земля содрогалась от солидного «бабах», и ружейное перемигивание со шведской стороны прекращалось. Затем такой же высверк и мощный удар раздавались с той стороны, и временно умолкали наши стрелки. Дым понемногу начинал рассеиваться, пробные ружейные огоньки вспыхивали в новых местах все чаще, до тех пор пока треск снова не становился сплошным, как при кипении жира на раскаленной сковороде, и вновь не завершался обменом пушечными выстрелами.

— Сражение разыгрывается само собой, — рассердился Долгоруков.

— А потом явится Тучков на все готовое и отдаст какой-нибудь приказ а la Turenne\*. Что-нибудь вроде: «Егеря, на той стороне лежат ваши Георгиевские кресты!»

— *Alea jacta est*, — произнес Долгоруков, поднимаясь с раскладного стульчика.

— *Excusez-moi?*\*\* — не расслышал Американец.

— Наш поединок начался. Первый выстрел за мной, — громко произнес Долгоруков и невольно оглянулся на свиту, как бы проверяя действие своих слов, ибо в то гомерическое время эффектное оформление поступка подчас значило для деятеля не меньше, чем сам поступок.

Затем князь достал из специального накладного кармашка серебряный брегет\*\*\* и перевел стрелку на полчаса вперед.

— Который час? — спросил он Липранди.

— Одиннадцать двадцать девять, ваше превосходительство, — отвечал штабист.

— Ваши часы отстают. У офицера штаба должны быть точные часы, — отчитал его генерал. — Поручик Толстой, объявите господам офицерам точное время.

Он щелкнул крышкой и передал свои часы Американцу.

— Двенадцать ноль-ноль! — объявил Толстой и подмигнул Липранди, вспыхнувшему от стыда за свою несообразительность.

— Пора! Я имею честь атаковать. Передайте господам батальонным командирам следующие указания, — продолжал Долгоруков, снимая фуражку, запрокидывая голову и жмурясь под последними проблесками теплого солнышка.

Липранди снял самовар с застеленного барабана, которым пользовались вместо походного столика, и скорчился над записной книжкой с поспешностью официанта, принимающего важный заказ.

— Батальону 4-го Егерского полка, снявши ранцы, бегом перейти мост и на штыках ворваться в нижние укрепления противника. Батальо-

\* Имеется в виду виконт де Тюренн, французский полководец XVII века.

\*\* Простите? (*франц.*)

\*\*\* *Брегет* — карманные часы высокой точности с боем.

нам Навагинского и Тенгинского мушкетерских полков в ротных колоннах...

— Следует ли мне перейти мост вместе с моими солдатами или руководить боем с этой стороны? — спросил шеф одного из полков, который казался довольно пожилым человеком рядом со своим юным начальником.

Этому генералу, достаточно уже набегавшемуся под ядрами, хотелось так поставить вопрос, чтобы он прозвучал просьбой лично возглавить атаку, но получить отказ.

— Куда вам прыгать по бревнам с вашей-то подагрой? — сквозь зубы отвечал Долгоруков, который прекрасно понял суть вопроса. — Сидите здесь, а когда мост поправят, переберетесь на коляске.

После этих слов никто не улыбнулся, не подмигнул и не покосился на пожилого генерала, однако тому показалось, что обращенные к нему спины, затылки и самые уши свитских офицеров источают презрение. Тем не менее он испытал облегчение и с фальшивой бодростью обратился к Липранди:

— Я полагаю, в два часа будет кончено?

Липранди молча пожал плечами, дерзко не удостоивая ответом этого почтенного военачальника.

...Бой тем временем втягивал новые толпы участников, которые сбегались и съезжались как с одной, так и с другой стороны. Долгоруков при всей своей молодости не раз уже наблюдал подобные дела и чувствовал, что огонь занялся и не уймется до тех пор, пока не перегорит весь заложенный в него запас человеческих дров в виде батальонов, эскадронов и батарей. А ему как полководцу остается почти шахматная работа вовремя подкладывать эти дрова в нужные места. Это и было самое интересное занятие в его военной профессии, ради чего приходилось терпеть тоскливую бестолочь бюрократии, составляющей большую часть службы.

Поодаль подходившие отряды егерей хмуро, сосредоточенно расстегивали черные ремни, складывали горой ранцы со скатанными шинелями и сбегали вниз строиться. Они швыряли свои пожитки в кучу с презрительной небрежностью, почти с отвращением, как ненужную дрянь. А ведь этот заплечный кожаный чемодан, который мог затеряться в бестолковой беготне народа, содержал в себе все имущество солдата, включая такие сокровища, как кулечек соли, манерка с водкой и лоскут кожи для ремонта амуниции.

Это материальное безразличие, так восхищавшее иностранных свидетелей, несколько развязывало руки русских воинов во время сражения, но сильно затрудняло жизнь в походе, превращая их в оборванцев и побирušек. И вызвано оно было не столько мнимым бескорытием русской природы, сколько суеверием. Поскольку в начале века, как и в просвещенную эпоху нынешнего либерального царя, русский человек не верил в надежность накоплений. Как бы высоко ни заносила его судьба в счастливые дни, он многовековым опытом предыдущих поколений чувал, что это

случайность, недоразумение, а следовательно, грех. Что руками какого-то случайного татарина, разбойника, барина, революционера это недоразумение рано или поздно исправится. Все нажитое будет отобрано, истоптано, изгажено. А если ты будешь еще иметь глупость цепляться за свое греховное достояние, то злодеи отберут и самое жизнь.

— Егеря, вперед! На той стороне ваши кресты! — крикнул солдатам князь Долгоруков.

Ответное «ради стараться» прозвучало вразнобой. Как было уже сказано, бывалые солдаты суеверны, а напутствие генерала получилось слишком двусмысленным.

Егеря быстрым шагом врассыпную шли под откос, останавливались в удобном месте, прикладывались, делали выстрел и тут же торопливо начинали смазывать жирной тряпкой ствол штуцера, чтобы вбить туда следующий заряд. Задние товарищи тем временем обгоняли их на десяток шагов и делали очередной выстрел. Чем ближе к воде, тем чаще пули с обеих сторон достигали цели, тем реже перебегали егеря и дольше засиживались в укрытии перед очередной перебежкой. На каменистом склоне уже лежало несколько человек совсем не страшного, будничного вида, словно прикорнувших после обеда. Мимо Долгорукова провели егеря с залитым кровью лицом, прыгающего на одной ноге и опирающегося на шею санитаря. Несмотря на пугающий вид свежей, яркой крови, заливающей грудь мундира, егеря казался возбужденным и даже веселым, как бывает в состоянии аффекта, сразу после ранения.

Описывая рукою круг над разбитой головой, он радостно сообщил:

— Камушком посекло, ваше превосходительство! Плевое дело, дозвоьте еще пострелять!

— Ты будешь награжден, — пообещал князь, разглядывая из-под ладони раненого, чтобы укрепиться духом.

Лица солдата из-за крови было не разобрать.

— Запишите его фамилию, — приказал генерал Толстому на «вы» в деловой обстановке.

— Как твоя фамилия? — спросил Американец.

— Ивановы, — отвечал солдат почему-то во множественном числе.

Толстой пожал плечами. Такую фамилию можно было и не записывать.

Егеря скопились возле моста и открыли такую густую пальбу, что шведским стрелкам пришлось отбежать в первый ряд окопов. Теперь только орудие редкими выстрелами задерживало русских на этой стороне. Но за то время, пока противник заряжал свою легкую пушечку картечью, егеря с ловкостью канатоходцев успевали перебежать по бревнам на шведскую сторону и залечь среди камней. Несколько человек были ранены картечью и остались лежать на мосту; кто-то, оступившись, упал в воду и стал грести обратно между фонтанами пуль.

— К шведу гребни, болван, — посоветовал ему Толстой, словно солдат мог его услышать.



Из-за крутого обрыва вражеские пули не достигали прибрежной воды и на самом деле в близости от шведов было безопаснее. А иначе солдату все равно пришлось бы бежать по мосту под картечами еще раз.

На неприятельской стороне накопилось десятка два русских стрелков, бойко обстреливающих батарею, и брошенные без прикрытия шведы на руках покатали пушку вверх, пока она не досталась русским. Оставшиеся егеря перебрались через мост, построились и, еще в кураже от легкого успеха, тут же без выстрела полезли наверх, к шведским палисадам\*.

— Егеря ударили в штыки, — сообщил Толстой, возвращая зрительную трубку Долгорукову.

— Все по плану?

Генералу нравилось, что сражение начинается так удачно, но не очень нравилось, что это происходит не под его личным руководством. Между тем егеря набежали так дружно, с такой уверенностью в собственной невредимости, что шведы начали по одному вылезать и, отстреливаясь, убегать к верхним, капитальным укреплениям, вырытым в полуверсте от первых. Выстрелы прекратились. Несколько минут в окопах происходила какая-то возня, а потом офицер, взобравшись на земляную кучу, стал размахивать знаменем. Первый ряд шанцев был захвачен.

— Теперь и нам пора, — сказал Долгоруков, снял длинный сюртук и бросил его на руки слуге, оставшись в коротеньком удобном шпензере.

Затем он сменил мягкую фуражку на генеральскую шляпу с высоким плюмажем и стал набивать трубку, чтобы курить во время генеральной атаки. Все-таки он немного волновался, хотя и приятным, бодрящим волнением. Для того чтобы проверить себя, князь Михаил отвел руку с трубкой на некоторое расстояние перед грудью. Она не дрожала.

Шведы считают сражение при Иденсальми последним успехом своей армии в этой кампании, продолжавшейся еще год. Они приписывают успех таланту лучшего из своих полководцев Сандельса, который после боя будто бы сказал офицерам: «Господа, это наш Аустерлиц!» Сходство побоища в Богемии и битвы при Иденсальми усугубляется давкой отступающих на мосту, где было побито много русских солдат. И ошибочной спешкой Долгорукова, не желавшего ждать подхода основных сил, подобно брату Петру под Аустерлицем.

После боя мы недосчитались убитыми, ранеными и пропавшими более семисот человек. Шведы не называли своих потерь, но полагают их гораздо меньше. К ночи, когда артиллерийская перестрелка прекратилась из-за темноты, оба войска вновь оказались на первоначальных позициях и в бездействии наблюдали друг за другом две недели. Шведы еще совершили неудачную ночную вылазку, в которой потеряли человек двести. А затем их армия начала генеральное отступление по всему фронту, и вся

\* Палисад — оборонительное сооружение в виде частокола.

Финляндия до самой Лапландии была занята русскими. Во избежание окружения и плена бригада Сандельса сама оставила свою неприступную позицию.

Предугадать такой ход событий в полдень 15 октября не мог ни Долгоруков, ни Сандельс, ни Тучков. Сандельс, объявленный хитрым стратегом, отбивался как мог от русских, которые упрямо лезли через мост. А Долгоруков был, натурально, уверен, что самая сложная часть операции есть взятие моста. И теперь противника только остается выдавить превосходящей пехотой, на что всегда были способны русские войска.

Однако дело, начавшееся чересчур легко, не может привести к подлинному успеху. Именно в тот момент, когда Долгоруков взял сражение под контроль и стал, как положено полководцу, рассылать в разные стороны приказы, все отчего-то пошло криво, как гвоздь, пробивший тонкую фанеру, но под нею попавший в пустоту. Как только часть наших мушкетеров перебралась на шведскую сторону и начала строиться в правильные колонны для атаки, шведы отчаянно ударили на нижние окопы и прогнали оттуда русских егерей. Те в панике бросились навстречу наступающим мушкетерам, перед мостом началась давка, а тем временем неприятель успел подвезти орудия и стал стрелять по мосту картечью, производя большие потери.

Все это издали было непонятно князю Долгорукову. Он только видел, что движение отчего-то прекратилось, его батальоны стоят на месте и лишь смыкают ряды после попадания очередного ядра, а мимо десятками понесли и повели искалеченных солдат и офицеров.

Толстой поскакал к мосту и попытался восстановить движение, но это оказалось невозможно. Люди, стиснутые под картечами на мосту, были уже не солдатами, а безумной толпой охваченных ужасом животных. Приказы, уговоры и угрозы на них больше не действовали. Они бы скинули в воду самого царя, если бы он сейчас замешался на их пути. Толстой схватил за шиворот какого-то солдата в продавленном кивере, развернул его и пинком отбросил назад, однако солдат тут же обошел его с другой стороны, как вода обтекает камень. Унтер-офицера, который брел назад со знаменем, он ударил в лицо и поставил рядом с собой. Но в этот момент пробка на мосту как бы лопнула и Федора просто отшвырнуло на несколько шагов в сторону. Он перевернулся через голову и больно ушиб плечо.

Увидев поручика без кивера, с разодранным локтем, Долгоруков даже не стал его спрашивать о положении дел. Он словно находился в кошмарном сне, когда ты сражаешься с врагом и наносишь ему град сокрушительных ударов, но твои удары не достигают цели и как бы затормаживаются в каком-то ватном пространстве. Ты, такой храбрый днем, чувствуешь свое бессилие — и просыпаешься в ужасе.

— Построй эту сволочь на берегу, я сам поведу их, — сказал Долгоруков, набивая еще одну трубку.



— Не стоит ли нам подождать Тучкова, развернуться и повторить правильный приступ? — тревожно справился Липранди.

— Это будет означать его победу, — возразил Долгоруков, прикуривая трубку из рук Толстого.

По тому, как белокурые, ангельские кудри князя Михаила слиплись над воротником на шее, Толстой вдруг понял, что видит его в последний раз.

— Что за лучинки? — спросил князь о серных спичках, бывших тогда в новинку.

— Это шведские спички, подарок Сандельса, — отвечал Американец. — После сражения я достану вам пару коробок.

### Из донесения Толстого (окончание)

*Заключительные страницы записи Американца о сражении при Иденсальми сохранились настолько хорошо, что я привожу их ниже полностью.*

...пристрелялись, и отдельные ядра стали долетать в наши колонны, медленным шагом идущие к мосту под барабанный бой. Князь Долгоруков спускался пешком по дороге в сопровождении колонновожато-го Липранди, еще одного адъютанта Жадовского и автора этих строк. Он был в шпензере и генеральской шляпе с плюмажем, надетой ради атаки. В левой руке он держал раскладную зрительную трубку, о коей было сказано более чем достаточно, а в правой — курительную трубку с коротким чубуком, которую обыкновенно закуривал в сражении, когда желал возглавить атаку. Признаюсь, меня несколько удивляла эта привычка, поскольку генералы, побуждающие свою рать к наступлению, любят потрясать в воздухе шпагой или знаменем, но отнюдь не трубкой. И однако же, зная несомнительную храбрость Михаила Петровича, я пришел к выводу, что трубкой он демонстрировал презрение перед врагом, недостойным даже того, чтобы извлекать из-за него шпагу из ножен. И я, подобно моему начальнику, также курил трубку на длиннейшем чубуке, коей в случае опасности можно было хватить по лбу противника.

Одно ядро запрыгнуло в задние ряды батальона и оторвало ступню флейтщику. Несчастливого музыканта, положенного на два ружья наподобие шубы, предназначенной хозяйкою для выбивания, пронесли мимо нас. И за этой кучей тряпья, в которую мигом превратился молодой и бойкий балагур, тянулся по жухлой траве ярко-красный след, как от малярной кисти. Заметив, что Липранди наморщился и отвернулся, князь сделал ему замечание, что военный человек, напротив, должен прямо и внимательно рассматривать искаженные тела, до тех пор пока не обвыкнется и не перестанет воображать себя на их месте. Для примера он привел Наполеона, который каждый раз после сражения объезжает поле боя

и любитесь произведенной работой, упражняясь таким образом в своем знаменитом хладнокровии.

— Поглядите на этого молодца, — сказал Долгоруков, указывая трубкой на молодого обер-офицера из ливонских немцев по фамилии Брадлов.

Этот юноша, впервые попавший под огонь, шел справа от своей роты с обнаженной шпагой и инстинктивно приседал до самой земли каждый раз, когда в воздухе раздавался отвратительный свист снаряда. Проходящие на бой мушкетеры смеялись в голос и показывали на него пальцем. Офицер чуть не плакал от стыда, но не мог пересилить природы и снова приседал, как только над колонной пролетало очередное ядро.

— Вам, должно быть, кажется это забавным, а между тем уверяю вас, что фон Брадлов будет отличным офицером и выполнит свой долг не хуже прочих, — рассуждал Долгоруков, откатывая ногою с пути ноздреватое чугунное ядро, такое тяжелое, но не страшное на вид. — Ежели сегодня ему суждено добраться до его землянки, то всю ночь ему, пожалуй, будут мерещиться окровавленные уроды. Однако в следующий раз его воображение переболеет и он будет заботиться не о пролетевшем ядре, а о своей роте, которую надо вовремя привести в назначенное место. И ему будет совестно вспоминать о сегодняшней слабости.

— Нечто подобное я наблюдал в морском походе, — заметил я. — Многие люди, переболев однажды морской болезнью, перестают страдать от качки. Некоторые же, как мой двоюродный брат, принуждены даже бывают отказаться из-за этого от морского карьера.

— Неужели? — удивился князь и вдруг резко, пронзительно закричал немцу: — Стыдно, поручик!

Должен заметить, что к часу пополудни, когда наши дела пошли наперекос, настроение Долгорукова странным образом улучшилось. Встретив со стороны шведов серьезный отпор, он словно вошел в азарт и вовсе не думал о неприятных последствиях дела. Напротив, его благородная натура была несколько обескуражена слишком легким началом баталии, не делающим ему большой чести. Повторяю, не вопреки, а именно вследствие трудностей Михаил Петрович чрезвычайно одушевился. Он находился в самом бодром состоянии духа, и тщетны будут любые сказки о предзнаменованиях и вещих словах, которые задним числом приписываются несчастьям такого рода. Я здесь пишу не сказку, а донесение. И вот что произошло с князем Долгоруковым на моих глазах.

Мы остановились на обочине, чтобы принять депешу от посланца вашего высокопревосходительства. Ординарец объявил, что батальоны не могут быть развернуты под артиллерийским огнем, а посему наступление следует прекратить.

— Невозможно выиграть ни одного сражения, если делать лишь то, что удобно сделать, ибо именно это действие предполагает противник, — возразил Долгоруков. — Передайте его высокопревосходительству, что я буду наступать один, если он считает для себя наступление неудобным.



Признаюсь, что при этих словах я испытал странное чувство, будто уже слышал такую фразу слово в слово где-то в другой обстановке, а возможно, и в другой жизни, где я мог служить не при князе Михаиле, а, скажем, при Ганнибале. Однако этот странный морок мигом рассеялся.

Я почувствовал спиной какое-то дуновение, обернулся, чтобы поделиться своим наблюдением с князем, но не увидел его рядом. Зато толпа офицеров теснилась на краю дороги, заглядывая куда-то вниз, и колонна пехоты без приказа остановила движение. Расталкивая офицеров, я глянул туда же, куда смотрели все.

Отброшенный сильным ударом с дороги, Долгоруков раскинулся на дне прямоугольной ямы, из которой местные жители добывали глину для строительства. Небольшое ядро размером с яблоко ударило его под правый локоть, когда он повернулся для разговора с ординарцем, а затем пронизало насквозь его стан между грудью и позвоночником, выйдя из левого бока. Выражение лица князя Михаила нисколько не успело измениться и было таким же безмятежным, как минуту назад, когда он со мною философствовал. Шляпа и зрительная труба валялись по краям ямы. Курительная трубка еще дымилась в его руке. Через сквозное отверстие в боку видны были алые внутренности, которые содрогнулись раз, другой и замерли навек.

Князь Михаил был мертв.

### «Матушка согласна!»

Забальзамированное тело князя Долгорукова в свинцовом гробе было отправлено в Петербург. Федору Толстому не был разрешен въезд в столицу, но он обязан был сопровождать гроб своего начальника, как адъютант. И, таким образом, Долгоруков посмертно выполнил обещание избавить его от опалы.

Обратный путь не был столь увлекательным, как начало похода. Гнусная северная осень была в полном разгаре. Непрерывно секущий дождь переходил в мокрый снег, студёный арктический ветер дул непременно в лицо, в каком бы направлении вы ни ехали, лоб немел от холода, пальцы стыли в перчатках, и лошади вязли в грязи по самое брюхо. Словом, зимой бывает приятнее.

Знакомая дорога, однако, кажется короче. Финны расхотели воевать и не покушались на траурный поезд своего достойного врага. В сумерках процессия останавливалась в укрепленных лагерях, устроенных при наступлении. Люди сушились, ужинали и размещались на ночь по землянкам, а на рассвете тащились далее. Через несколько дней они пересекли русскую границу, от которой начинали наступление около двух месяцев назад.

На первой почтовой станции русской Финляндии станционный смотритель за завтраком доложил Толстому, что с ним желает говорить какой-то офицер. В горницу вошел немолодой уже человек в забрыз-



ганном грязью старом сюртуке без эполет, неуставных шароварах, заправленных в стоптанные сапоги, и башлыке поверх походной фуражки. По кожаной сумке, висевшей у него на груди, словно у кенгуру, в нем узнавался фельдъегерь.

— Фельдъегерского корпуса прапорщик Иордан! — представился офицер.

«Какой старый прапорщик», — подумал Американец и указал курьеру на табурет у стола. Отказавшись от чая, прапорщик тотчас начал толковать о каком-то важном правительственном задании, которое он должен выполнить, хотя бы и ценою жизни. Донесение, что он везет, исходит от самого императора и должно быть доставлено в руки адресата не позднее суток, или оно теряет смысл.

— Я буду выключен из службы и отдан под суд, а моя семья останется без пропитания, — заключил фельдъегерь с такою болью, будто это уже произошло.

— При чем здесь я? Разве я должен содержать вашу семью? — удивился Толстой.

Прапорщик не улыбнулся шутке этого баловня, которому, очевидно, никогда не приходилось существовать на одно офицерское жалованье, столь унижительное в России. Да это была вовсе и не шутка, а самая близкая реальность. Он для чего-то стал рассказывать Толстому о беспорядках на российских дорогах, до сих пор отстающих от европейских шоссе. А также о злоупотреблениях станционных смотрителей, которые обязаны круглосуточно держать наготове запряженную тройку для правительственных курьеров, а сами отдают лучших лошадей знатым господам.

— Кругом одни взяточники, — заключил фельдъегерь.

Американец наконец догадался, что прапорщик хочет, чтобы ему уступили лошадей. Однако в этой просьбе не было ничего уважительного. Не было еще в России такой станции, откуда бы все уезжали вовремя, у каждого находилось государственное дело лезть без очереди, и если бы он каждому уступал лошадей, то ему самому пришлось бы впрягаться в телегу. Стенания фельдъегеря тем менее производили впечатление на Американца, что с некоторых пор он не верил в срочность каких бы то ни было дел.

— Отчего же ваше дело важнее моего? — справился он и для чего-то столкнул капюшон с головы собеседника.

Фельдъегерь снял и фуражку, очевидно полагая, что так его просьба будет убедительнее. Без капюшона и фуражки голова старого прапорщика выглядела меньше и беззащитнее, как у черепахи, вытянувшейся из панциря. К тому же он оказался не столько пожилым, сколько измученным и небритым, и теперь ему действительно труднее было отказать.

— Решается судьба людей, и каких людей! А вашему грузу куда спешить? — кивнул фельдъегерь на траурную нарукавную повязку Толстого.

— Вы едете на войну, а я с войны, и поверьте, что до вашего приезда война еще не закончится, — холодно ответил Американец, вынул из-за галстука салфетку и собрался уходить, как вдруг его осенило: ведь в той стороне, куда спешил курьер, могло быть только одно дело подобной важности. — Для кого ваше поручение? — спросил он строго.

— Я не имею права разглашать. А впрочем, все равно: для князя Долгорукова, — уныло отвечал офицер, мысленно прощаясь со своим чином.

«Это письмо, которого ждал князь», — догадался Федор и весь вспыхнул.

— Вам повезло. Я адъютант у князя Долгорукова, а сам Михаил Петрович сейчас на станции, — объявил он.

Прыгая через лужи и скользя за резвым адъютантом, фельдъегерь еще не вполне верил той прекрасной сказке, в которую обратился его кошмар. Вместо того чтобы несколько суток без сна и отдыха трястись до Иденсальми, рисковать жизнью и остатками здоровья, он передаст донесение прямо сейчас, на два дня раньше срока! Задание, таким образом, будет выполнено с невиданной скоростью. Он успеет еще отогреться и выспаться, а вместо выговора получит солидную премию, награду и, пожалуй, повышение по службе. Не говоря уже о подарках от князя, которыми любой благодарный человек просто осыпал бы такого счастливого гонца.

Все это было настолько чудесно, что казалось невероятным. Где-то на дне души бывалого, битого порученца, не верившего в сюрпризы, свербела тревога. И вызвана она была слишком пронзительным, нехорошим взглядом этого черноглазого адъютанта. А также и тем, что тот вел его в каком-то подозрительном направлении: мимо дома смотрителя, где предположительно должен располагаться важный путешественник, к каретному сараю, в котором в лучшем случае могли приютиться ездовые. На мгновение прапорщику даже показалось, что его запрут в сарае и высекут, но он отогнал от себя этот страх. Во-первых, сечь его было не за что, а во-вторых, он все-таки офицер.

Адъютант раздвинул пошире створки ворот, чтобы впустить в сарай больше света. В углу, на соломе, закопошились двое казаков конвоя, отдыхающие без сапог перед долгой дорогой. Американец подошел к фуре со снятым для просушивания верхом, в которой стоял высокий, обложенный льдом ящик, и поманил к себе прапорщика.

— Вы искали князя Долгорукова? Он здесь.

— Я вас не понимаю, — тоскливо пролепетал курьер.

Его новые эполеты с позолотой, орден и премия испарялись на глазах, как мираж в арабской сказке.

— Князь Долгоруков убит и лежит во гробе, — сказал Толстой и задержал мешковину. — Все, что вы имели ему сообщить, вы можете сообщить мне.

— У вас есть водка? — спросил фельдъегерь.

Второй адъютант Долгорукова поручик Жадовский недоумевал. Уже с час, как лошади были запряжены и все готово к отправлению, световое время для перегона таяло, дождь расходился, а Толстой все не отдавал команды к выступлению. Он засиделся в трактире с каким-то проезжим фельдъегерем, слушал его и подливал стакан за стаканом. С каждой порцией рома уши фельдъегеря пылали все ярче, а речь становилась все громче. Жадовский маячил в дверях, показывая пальцем на открытую крышку часов, но Американец только загадочно прикладывал палец к губам. Оставалось надеяться, что он себе на уме.

— Я обязан был передать непременно в руки князя... — сетовал фельдъегерь. — С кого теперь получу я расписку?

— Ни с кого, как только с меня — правой руки Михаила Петровича, — токовал Толстой.

Однако такое простое решение казалось сомнительным с точки зрения мелочных инструкций фельдъегерской службы именно вследствие своей простоты. Прапорщик Иордан чувствовал, что столь важное мероприятие должно содержать какое-то препятствие, какую-то мучительную сложность, которую необходимо преодолеть ценою надрывных усилий. Так, для максимального неудобства и трудности исполнения была изобретена вся казенная служба. И только такой ее ход, мучительный и неудобный, мог считаться правильным.

— Я полагаю, что мне надлежит передать мое послание под расписку в канцелярию генерала Тучкова, где оно будет зарегистрировано и опечатано. А затем его отправят в Генеральный штаб и далее по инстанциям.

— Я именно и везу в Петербург опечатанный архив князя Долгорукова вон в том ящике, — указал Американец отчего-то на сундук под лоскутным покрывалом возле печки. — Так что из канцелярии генерала Тучкова вас непременно отправили бы ко мне, и вы обязаны были бы скакать следом за мною. Я же к тому времени утащился бы куда как далеко.

— Что вы такое говорите? — изумился фельдъегерь и обхватил виски ладонями, словно стискивая разбегающиеся мысли.

— Вы исполните минимум через месяц то, что можете сделать тотчас. Ну что у вас там? — нажимал Толстой.

— По кодексу фельдъегерской чести... даже под пыткой... — ломался курьер из последних сил.

— Тогда выпейте, — помог ему Толстой и наполнил глиняную кружку до краев.

Фельдъегерь начал расстегивать ремни своей секретной сумки, как неприступная девица расстегивает крючки корсажа перед капитуляцией. Содержимое сей облупленной коричневой сумы, действительно, стоило жизни. Если бы где-нибудь в лесу этого невзрачного человека распотрошили партизаны, они бы и не поняли, какое сокровище попало в их руки.

Прежде всего, за победу при Иденсальми генерал-адъютант князь Долгоруков награждался орденом Святого благоверного князя Александра Невского, которого удостоивались только самые высокие военачальники за самые значительные победы. Затем, за ту же победу, князю присваивалось очередное звание генерал-лейтенанта, ставившее его наконец в один разряд с его соперником Тучковым, и даже выше, поскольку царский генерал-адъютант всегда почитался главнее других командиров равного звания.

— Пойдите-ка, но эти документы датированы семнадцатым числом! — удивился Толстой.

— Ну так что? — усмехнулся Иордан, которому уже ничто не казалось важным и срочным.

— В Петербурге не могли знать о сражении и его исходе!

— Неужели?

— Естественно, они бы не стали награждать мертвого человека за проигранное дело.

— Мне приказано было доставить живому или мертвому! — значительно произнес курьер и погрозил кому-то пальцем. — Но главное — на словах.

— Что же главное, что за слова?! — не утерпел Толстой и потряхнул этого тугодума за воротник.

— Налейте еще — тогда скажу, — криво ухмыльнулся курьер и размашисто откинул со лба сальную челку.

Толстой налил прапорщику еще стакан и стал считать про себя до тридцати, чтобы не ударить его раньше времени по красной рожке.

— Извольте полнее, да-с. Я вам, как благородному человеку... Впрочем, содержание сих слов туманно. Должно быть, это тайный шифр. Вы клянетесь? Ни-ни? Государь сказал мне: «Иордан, я тебя знаю и люблю, хотя ты и шельма. Передай от меня князю Долгорукову два слова. Всего два. Ежели запомнишь и передашь их точно, то станешь богатым человеком. А нет — голова с плеч. Потому что ты старая шельма, пьяница и скотина».

Фельдъегерь помолчал.

— Матушка согласна.

— Так что же? — не понял Толстой. — Что вы скотина?

— Никак нет-с. Эти два тайных слова: «Матушка согласна».

Вот, пожалуй, и весь роман про князя Долгорукова и двух его тайных возлюбленных — Рыжую и Черную. И если вы, милостивый государь, его не напишете, то, право, я на старости лет возьму свое гусиное перо и сделаю это сам. Только вот признаюсь, что меня все меньше волнуют любовные страсти и все менее хочется подымать шумиху из-за того, что князь М. собирался бракосочетаться, да не успел, а княгиня Е., напротив, не собиралась, но слишком успела. И ежели я выскажусь по этому вопросу слишком откровенно, то, боюсь, мое мнение обескуражит главных потребительниц романов — чувствительных барышень.

Вам не вполне понятен ответ прапорщика Иордана? Я объясню.

Загадочная Рыжая Принцесса, по мнению Толстого, была любимая сестра императора Александра — Екатерина. Она, как известно, отличалась не только редким умом и красотой, но и некоторой скандальностью, унаследованной от взбалмошного отца. В свете даже ходили слухи об ее кровосмесительной связи с братом Александром, возбужденные их подозрительной перепиской. Позднее она покушалась на престолы Пруссии, Баварии и даже Австрийской империи, однако ее брачные планы провалились. Поговаривали, что сам Наполеон после Тильзита прочил ее в свои невесты, но она отказалась от половины мира из патриотизма или сумасбродства.

Ей приписывали связь с женатым князем Багратионом, следы которой она пыталась уничтожить вместе с письмами после гибели его в 1812 году. И как бы то ни было, именно осенью 1808 года предприимчивая княжна осталась не у дел. Так что слухи о возможной свадьбе с Михаилом Долгоруковым не кажутся мне такими уж нелепыми. Только не ищите их документального подтверждения в переписке Екатерины Павловны и не пытайтесь называть вещи своими именами, по крайней мере до тех пор, пока ваши косматые друзья не установят в России демократическую республику. В нашей стране ничто не тайна, но все секрет. Ваш журнал закроют.

Однако я должен вернуться к моему приятелю Федору Толстому. Говорят, что император искренне оплакивал смерть юного героя Долгорукова и осыпал милостями человека, у которого на руках умер его друг. С Американца сняли все взыскания, ему разрешили въезд в столицы и объявили монаршую благодарность за Иденсальми. В Финляндию он возвращался уже капитаном лейб-гвардии Преображенского полка, из коего был ранее изгнан за безобразия.

Князя Долгорукова похоронили с величайшими почестями в Александро-Невской лавре, где лежит его брат Петр, насупротив могилы Суворова. Над гробом друга и начальника Американец плакал, не стесняясь слез. Второй раз в жизни он заплакал при известии о смерти Александра Пушкина и третий — над могилою дочери Сарры. А на следующий день после похорон князя уже танцевал в одолженном у приятеля преображенском мундире на балу, который давали офицеры гвардии в честь возвращения государя из Эрфурта.

На том балу он впервые увидел избранницу князя Долгорукова в обществе герцога Ольденбургского, которому скоро предстояло стать ее мужем. Великая княжна была, как всегда, очаровательна и остроумна, хотя и несколько надменна. Ее фигура показалась Толстому великолепной, лицо довольно выразительным и приятным, а волосы скорее медными, чем огненными, как виделось воспламененному Долгорукову. К прическе Екатерины Павловны была приколата изящная черная розочка, поскольку князь Михаил был все-таки любимцем ее брата, но соблюдение полного траура при подобных обстоятельствах считалось бы неуместным.

Жених великой княжны запомнился Американцу неуклюжим увальнем без всякого стиля. С первого взгляда было заметно, что Екатерина Павловна только позволяет ему себя любить. И это ей не в тягость.

Ночь Толстой провел в борделе. После длительных странствий по карельским дебрям, где единственными существами женского пола были обозные лошади, чухонские аспазии, выдающие себя за соблазненных и покинутых шведских барышень, показались ему очаровательными. Когда они грациозно кувыркались на широкой постели, разница между ними и великими княжнами представлялась надуманной.

«Бедный, бедный князь Михаил», — повторял про себя Американец и глушил стакан за стаканом. До тех пор, пока не провалился в какую-то черноту с электрическими искрами.

Через трое суток он протрезвел и отправился к месту службы с намерением пристрелить первого, кто косо на него посмотрит.

### Из синодика Толстого

Я мельком встречался с Александром Нарышкиным во время перемирия, когда гвардейские егеря стояли лагерем неподалеку. Но сошлись мы позднее, по моем возвращении из Петербурга с приказом о переводе в гвардию. Около двух недель прошло с того дня, как мой начальник князь Долгоруков был насквозь прошит ядром. И ежели бы я добрался до наших позиций днем ранее, то стал бы еще участником повторного дела при Иденсальми, более для нас счастливого.

Ход его, насколько мне известно, был следующий. Наш авангард, в котором находились и гвардейские егеря, стоял в отдалении от главных сил. Его фланг не был защищен, поскольку отделялся от неприятеля обширным болотом. И по этому-то болоту в ночь значительной партии противника удалось пробраться при помощи финского проводника. Целью шведов было отделить наших егерей от корпуса Тучкова, окружить их и взять в плен. Они зарезали кинжалами часовых, ворвались в лагерь и стали колоть сонных русских солдат в их землянках. Однако эти землянки были разбросаны на большом расстоянии, и темнота, способствовавшая шведам в начале предприятия, сыграла с ними дурную шутку. Ибо они разбрелись по лагерю и бой превратился в рукопашную драку.

Тем временем офицеры лейб-гвардии Егерского полка, в числе коих находился и Нарышкин, засиделись за полночь за картами в бараке, устроенном поодаль. И хотя ночная игра в карты во время боевых действий была строго запрещена, она на сей раз спасла наше войско от позорного плена и стяжала ему нечаянную победу. Заслышав вопли резни и завидев вспышки выстрелов у болота, офицеры в рубашках выскочили на улицу, построили батальон егерей и бегом ударили на лагерь. Шведы были изгнаны штыками на болото и блокированы. Когда занялся рассвет, им трижды было предложено сложить оружие. Те же из них, кто и по-

сле этого упорствовал, числом около двухсот, были переколоты на месте. Среди убитых оказался и предводитель диверсии, мой приятель капитан Мульм. Лицо партизана было свернуто набок ударом приклада и обезображено до неузнаваемости, но его удалось опознать по хвостатой хорьковой шапке.

Утром я застал генерала Тучкова при осмотре места сражения. Он ободрял израненного офицера по фамилии Петухов или Петраков, точно не упомяну, который с ротой егерей прогнал шведов из леса, а теперь жестоко страдал и издавал жалостные стоны, лежа на плаще. Рядом с этим Петраковым стояли его друзья Нарышкин и будущий поэт Батюшков. Последний по своей чувствительности не мог удержаться от слез.

Тучков принял меня довольно холодно, однако несколько смягчился, когда узнал, что мне не придется более служить под его началом, и даже пожелал удачи.

— Надеюсь, граф, что ваши таланты найдут себе лучшее применение в гвардии, — сказал он, поклонился, но не подал руки.

Егеря, напротив, приветствовали меня с жаром и пригласили вечером в свою избу отметить реванш над шведом и мое возвращение в гвардейскую семью.

Мы пили пунш и играли до утра. Признаюсь, что юный Нарышкин произвел на меня недурное впечатление, а произвел бы и лучшее, если бы не его привычка как-то нарочито острить. По молодости он, очевидно, полагал, что его сочтут недостаточно умным, ежели он не будет язвить по всякому поводу. Когда же Нарышкин забывал про эту свою демоническую роль, то был весьма мил и даже неглуп. Мы расстались в самых дружеских чувствах, и я отправился к Преображенскому батальону в Абов.

Следующая наша встреча состоялась в апреле 1809 года, при возвращении гвардии в финскую столицу.

Перед этим я участвовал в знаменитом переходе Баркляя через Ботнический залив: проводил рекогносцировку, преодолев с несколькими казаками это непроходимое нагромождение торосов в смертельную стужу с ветром насквозь, вернулся, прошел залив еще раз с основными силами, штурмовал Умео, а затем, по заключении перемирия, прошел сей адский путь еще один, четвертый раз! Наш отряд был одет в какие-то отрепья и напоминал не регулярное войско, а шайку нищих или разбойников с большой дороги. Поверх сапог, плохо спасающих от зимней стужи, солдаты надевали неуклюжие кеньги\* или бахилы, усталые изнутри мхом. Вместо истлевших в долгом походе шинелей некоторые носили парки, или накидки, из оленьей кожи, которые можно было выменивать у туземцев. Лица были замотаны тряпьем до самых глаз, а ознобленные носы и щеки смазывались салом и блестели. Но самое ужасное, с точки зрения великого князя Константина и ему подобных стратегов, заключалось в том, что войско совсем разучилось маршировать.

\* Кеньги — теплая обувь, войлочная или меховая, без голенищ.

Теперь мы стояли в Абове, переобувались, переодевались, лечились и освежали в памяти солдат благородное искусство ходьбы в три темпа. Поскольку же эти служебные занятия занимали лишь часть дня до обеда, то в нашем распоряжении появился значительный незаполненный досуг. И мы, натурально, обратили его на пьянство, картежную игру и драки.

Надобно заметить, что дуэли в том сезоне становились все опаснее. Ибо фехтование выходило из моды и противники все чаще выбирали пистолеты. Помимо нашего обычного следования французскому образу, я вижу причину такой перемены в большей фатальности огнестрельного оружия. Действительно, ловкий фехтовальщик, который наводил на всех ужас своей сноровкой, под дулом пистолета лишался всех преимуществ. Хилый юноша, старик и даже женщина могли прикончить такого голиафа одним нажатием курка, если только обладали твердостью руки. К тому же и результаты огнестрельных поединков заставляли наглецов как следует подумать, прежде чем бросаться словами. Смертельные исходы стали обычным делом.

Люди философические полагали, что введение огнестрельных дуэлей уравнивает противников перед судьбой и способствует, таким образом, Божественной справедливости. Я же после нескольких опытов убедился, что такая дуэль не более и не менее благородна, чем поединок наших предков, которые становились по обе стороны рва и тянули друг друга за волосы до тех пор, пока один, менее терпеливый, с Божьей помощью не падал в грязь. Только дуэль на пистолетах кроме храбрости требовала кое-каких психологических приемов, которые роднили ее с игрою в карты.

Свою тактику я опробовал при нашем стоянии в Абове на Генерального штаба капитане Бруне. Причина этой дуэли была настолько ничтожна, что ее и не стоило бы упоминать. Якобы я сказал в обществе офицеров нечто такое об его сестре, что было и так слишком хорошо известно, а иные доброты обязательно донесли мои слова до Бруна, дабы полюбоваться, что из этого получится. Высказывание мое, насколько помню, было даже смешно с современной точки зрения — что-то о растительности под носом этой старой девушки. Дело было, конечно, не в смысле моих слов, а в том, как мой скрытый доброжелатель их трактовал при передаче. Поскольку даже робкий Брун после такого сообщения при свидетелях был вынужден меня вызвать.

Капитан не принадлежал к числу храбрецов. Он избегал фехтования, верховой езды и других физических забав, в которых любит упражняться военная молодежь. И конечно же, ему было известно о моих успехах в этих областях. Так что ему оставалось лишь уповать на слепой полет пули. К его радости или слабой надежде, при переговорах с его секундантами я выбрал именно пистолеты. И условия дуэли, если пуля не рассудит иначе, были не слишком опасны.

Барьеры устанавливались на расстоянии пятнадцати шагов. Мы начинали сходитьсь параллельно по сигналу распорядителя и могли стрелять



когда вздумается. Но, выпустив пулю, дуэлист обязан был идти далее, до самого барьера, и подле него ожидать ответного выстрела. На этом последнем условии я и построил свою тактику. Я решил перебороть волнение и идти как можно медленнее без выстрела. Даже такому изрядному стрелку, как я, весьма трудно попасть с ходу в движущуюся цель, особенно если хочешь угодить в определенное место. Надо, стало быть, установить противника неподвижно, как мишень, сделать несколько глубоких вдохов, переждать сердцебиение и выстрелить. С такого расстояния я попадал в карту раз восемь из десяти. Если же номер не пройдет, меня всего лишь убьют.

Так я и сделал. От ярости или от страха (что одинаково вредно) Брун выпалил по мне со второго или третьего шага, даже не удосужившись остановиться для прицеливания. Затем секунданты чуть не в тычки, как корову на убой, подвели его к барьеру, заставили стать боком, зажмуриться и загородить грудь пистолетом. Я медленно, чтобы не запыхаться, подошел к своему барьеру, сосчитал про себя до десяти, унимая сердце, прицелился и попал точно как хотел — ему в ляжку. Брун удивленно охнул, присел и потянулся вверх, словно просился на руки. Прежде чем его ногу пронзила боль, на лице изобразилась дикая радость, оттого что он жив. Я бросил дымящийся пистолет на землю и по лужам пошел к коляске. Теперь я был уверен, что при подобных обстоятельствах подстрелю столько человек, сколько захочу.

Наша с Бруном дуэль осталась без последствий. Его ранение оформили неосторожным обращением с оружием, и он казался счастливейшим человеком на свете. Рана была довольно болезненна, но не опасна, поскольку пуля прошла мимо кости. После трудов зимнего похода ему надлежало отправиться для лечения в родительскую деревню, где он мог наслаждаться мирной негой и мифической славой израненного воина. Более того, к нему теперь прилепилась нежданная репутация дуэлиста и человека не робкого десятка, на которую ранее ему не приходилось претендовать. Ведь он бросил вызов страшному Американцу и не убоился сойтись лицом к лицу с сим безжалостным убийцей! Что за беда, что ему не удалось выиграть? Такое почетное поражение стоило победы.

Я также не остался внакладе от этого турнира. За время моего отсутствия в гвардии появились новые идолы, новые злодеи. Мои эскапады пятилетней давности подернулись тинью и забылись. Зато после победы над Бруном, которую раздули до эпических размеров, только и разговоров было, что о моем нечеловеческом хладнокровии. Получалось, что я едва ли не танцевал, пел песни и грыз орехи под дулом пистолета. Что пуля Бруна пробила мне фуражку и ожгла ухо. Что перед выстрелом я назвал место, куда собираюсь всадить пулю. И наконец, что я великодушно поднял раненого Бруна с земли и на руках отнес его в карету.

Я философски наслаждался славой, и лишь одна неприятная мысль порою язвила меня: кто же, кто из приятелей, столь пылко преданных мне

за стаканом, был так ко мне равнодушен, что не поленился сравнить с капитаном? Случай раскрыл мне глаза.

Однажды мы играли в бостон с прикупкою у генерала Алексеева, который любил собирать у себя молодежь. Против нас с генералом за столом сидели Александр Нарышкин и некий Ставраков. В комнате было сильно натоплено и накурено, мы скинули мундиры, и девушка-чухонка едва успевала подносить кувшины с кислым вином. Разговаривали громко и без церемоний.

Разгорячившись, мы не пропускали прелестей хорошенькой трактирщицы, выражая свое восхищение то словами, а то и шлепком. Ловкая девушка уворачивалась, бранилась, смеялась, но не сердилась на щедрых господ. Особенно, смею заметить, она не сердилась на меня, к досаде Нарышкина, чье остроумие становилось все менее смешным. Его как будто заедало внимание к моей персоне этой резвухи да и всех присутствующих, которые то и дело апеллировали ко мне, вспоминали мои шутки, мои проделки и в особенности то, как ловко я разделался с этим штабным болваном Бруном.

Перепадка началась из-за служанки, которая как раз подливала в кружку вино и словно бы нечаянно уперлась в самое мое ухо крепкою сисочкой. Я обвил рукою гибкий стан свежей северянки и предложил отправиться со мною в Москву, где я сделаю ее своей графинюшкой.

— Будто у такого хорошенького барина нет в Москве невесты... — возражала девушка, не торопясь сбросить мою руку с талии.

— Все русские бояре суть бывшие татары, а татарам положено иметь много жен, — объяснял я, к восторгу игроков.

Всех, кроме Нарышкина, который с кривою усмешкою обронил:

— Толстой собирает гарем в своей подмосковной.

Я запомнил желчный тон моего визави и решил при случае отплатить ему не менее доброй шуткой.

— Лучше бы Американец подстрелил меня вместо Бруна, — вздохнул Алексей, которому было сильно за тридцать, так что сравнительно с нами он выглядел почти стариком. — Я бы и без гарема недурно провел время с женошкой в Москве.

Нарышкин снова усмехнулся, но не стал даром тратить яд.

— Пусть скажет спасибо своей сестре, что она не обзавелась бритвой, — заметил Ставраков.

Служанка прыснула в кулачок и убежала за занавеску, мелко топоча деревянными подошвами.

— Я бы посмотрел на тебя, когда бы так отозвались о твоей сестре, — процедил Нарышкин, глядя мимо и стасовывая колоду.

Пальцы его дрожали. Вдруг я понял, что это он натравил щепетильного Бруна, чтобы испытать мою непобедимость. После ночной свалки при Иденсальми маленькому герою, верно, возмнилось, что он превосходит меня храбростью. Постой же, шутник! Теперь и мне пришла охота пошутить.

— Так вот кто этот радетель за поруганных сестер! — пробормотал я и похлопал его по плечу.

Нарышкин смутился. Все-таки он ходил в моих приятелях, и роль наущника его не украшала. Некоторое время разговор вертелся вокруг цены на обмундировку и тому подобных тем. Алексеев заметил, что Наполеону своим примером удалось разорить русскую армию. Поскольку теперь, после того как мы по французской моде надели эполеты, на несколько пар этих позолоченных игрушек уходит треть офицерского жалованья.

— Особливо трудно армейским офицерам, которые желают выглядеть гвардейцами, — вставил Нарышкин.

Я подумал, что и это могло быть камнем в мой огород, но решил пока не отпускать поводья. Сколько раз бывало, что самые невинные высказывания под действием винных паров казались оскорблением. Приятели цеплялись за пустые слова, ссорились, стрелялись, а потом тужили над трупом убитого друга.

— Или над собственным трупом... — произнес я вслух.

Все-таки я порядком успел накуликатся.

— *Que dites-vous?*\* — переспросил Нарышкин.

— Я говорю, что в могиле поздно сожалеть о неловких шутках, — ответил я, чтобы не потакать его дерзостям.

Нарышкин молча поджал губы. Его очередь была прикупать карту.

— Дай мне туза, Толстой, — сказал он, протягивая руку через стол.

Здесь-то из меня и вырвалась та фраза, которая стала причиной ссоры. Вернее, она стала поводом, поскольку причина была у Нарышкина припасена.

Я засучил пышный рукав своей голландской рубахи и со смехом показал Нарышкину кулак:

— Вот какого тебе надо туза!

Человеку современному трудно понять соль этого оскорбления, поэтому должно пояснить. Я просто-напросто имел в виду, что Нарышкина стоит оттузить. И даже по тем щепетильным временам среди друзей такое высказывание не могло быть поводом для дуэли.

Нарышкин вспыхнул и шлепнул картами об стол.

— Ты, верно, думаешь, Толстой, что тебя все боятся и тебе все дозволено? — сказал он, задыхаясь. — Пора закончить. Завтра к тебе придут мои секунданты.

— Я ничего такого не думаю, а впрочем, как угодно, — отвечал я хладнокровно.

Все-таки я был не ангел терпеть напрасные наскоки, хотя бы и от такого достойного юноши.

Нарышкин хлопнул дверью и без шляпы выскочил на улицу. Товарищи принялись в один голос меня уговаривать не давать хода этой глупой истории, о которой Александр будет утром сожалеть. Они утверждали,

\* Что вы говорите? (франц.)



что я умнее и опытнее Нарышкина и к тому же моей репутации храбреца ничто не может поколебать. Нарышкин кругом не прав, но они любят нас обоих, так пусть же победа милосердием останется на стороне более мудрого. Словом, они упрашивали меня помириться, и под конец вечера я настолько упрел, что набросал Нарышкину французскую записку примерно следующего содержания:

«Милостивый государь!

Признаюсь, что вчерашняя моя шутка, действительно, была не слишком разборчива. Однако и не менее разборчива, чем Ваша роль в моем поединке с капитаном Б. Считая, таким образом, что мы квиты, я предлагаю предать этот пустяк забвению и возобновить нашу дружбу.

Ваш покорный слуга и проч. граф Толстой».

Так-то вел себя жестокий бретер Толстой. А невинный агнец Нарышкин, как мне передавали, в ярости изорвал мое послание и истоптал его ногами. Что он при этом кричал, передавать не решились. Однако и без его слов стало понятно, что вчерашняя выходка не была пьяной блажью. Он копил злобу и только выплеснул ее по случайности. Оказывается, подле меня все время находился человек, который при всем своем наружном дружестве держал за спиною нож. Который, расточая похвалы, ненавидел меня искренне. Ненавидел не за какие-то поступки (мои проказы укладывались в рамки дворянского поведения), а за самое мое бытие — за то, что я имею несчастье быть остроумнее, смелее и известнее его.

«Нет уж, — думал я. — В таком вопросе снисходительность хуже подлости».

Какой-нибудь Сократ, пожалуй, мог посмеяться этой истории. Но в свои двадцать семь лет я не был ни Сократом, ни Диогеном. Я считал необходимым упреждать каждую нападку ударом десятикратной силы. В тогдашнем офицерском сообществе за внешним лоском щерилась волчья стая. Вожак этой стаи, раз не огрызнувшись на укус, быстро переходил в разряд шакалов. И если бы я не дрался с Нарышкиным, то дал бы повод каждому мальчишке повышать на меня голос. У меня, по совести, был выход, достойный философа: если правила общества глупы, на них можно наплевать. Но мне в ту пору нравились эти индюшачьи правила.

Мы стрелялись через день на той же самой поляне, где я ранил Бруна. Это было нечто вроде лесного загона для скота, обнесенного кривой изгородью — как бы на тот случай, если один из противников надумает убежать. Поверхность этого ристалища была почти ровной, оно было сокрыто от дороги зарослями, и тащить до экипажа труп сравнительно недалеко.

Правила были тяжелые. Без всякого сближения мы занимали позиции в двенадцати шагах и стреляли друг в друга по очереди, до ранения или смерти одного из соперников. Мне, как лицу вызванному, принад-

лежало право первого выстрела. Это лишало меня психологического преимущества, которое приводило меня к победе. И ставило перед довольно неприятной необходимостью — убить или серьезно ранить Нарышкина с первого выстрела.

Признаюсь, что я до сих пор не чувствовал к этому человеку ничего, кроме легкой досады, и мог бы, пожалуй, выстрелить на воздух, ежели бы это помогло. Но по условию подписанного мною картеля\* промах лишь отодвигал мой следующий выстрел и подвергал меня дополнительной опасности. А делать Нарышкину такой подарок, как моя жизнь, я все-таки не собирался.

— Господа! Прежде чем приступить к поединку, я обязан еще раз просить вас помириться, — сказал распорядитель дуэли, однополчанин Нарышкина граф де Шампиньяк, или Шампиньон.

Я ответил, что не прочь. Помню, я сам удивлялся в тот день своему миролюбию, словно предчувствовал, что меня всю жизнь будут обвинять в какой-то невероятной жестокости. И однако, это не помогло. Напротив, мое добродушие до степени равнодушия и, следственно, отсутствия страха вызвало у Александра новый приступ злобы. Он не отвечал, а завопил взახлеб против всяких правил что-то бессвязное, нелепое и почти смешное. Так кричат во время потасовки дети, когда валяются в пыли, царапаются и кусаются, но не умеют по-мужски ударить кулаком.

— Пора тебе кончить, Толстой! — кричал он не секунданту, а лично мне, что было неслыханно. — Так знай же, что все равно тебе не жить! Я подкрадусь — и топором! Я не Брун! Как смел ты... «дам туза» и прочее!

Шамп де Шампиньяк пожал плечами и взмахнул шляпой. Я взвел курок, поднял пистолет и все-таки медлил.

— Нарышкин, загородите по крайней мере грудь! — воскликнул мой секундант Ставраков.

Странное дело: Нарышкин вел себя из рук вон, на грани приличия, без конца насканивал на меня и напрашивался на пулю, но все здесь, включая моих секундантов, как будто сочувствовали ему.

— Стреляй же, чтобы я мог тебя скорее убить! — закричал Нарышкин и затопал ногами.

Вдруг в моей голове вспыхнуло. Я понял, что происходит нечто, чего нельзя поворотить. И меня охватила дикая, радостная злоба.

— Получай! — сказал я, прицелился и выстрелил ему по ногам.

Когда дым перед глазами рассеялся, Нарышкин уже лежал у барьера в грязи. Вернее, он не лежал, а корчился и извивался, словно под ним была не сырая земля, а раскаленная сковородка. Он кричал тонким, жалостным криком затравленного зайца, и никакое мужество, никакое героическое терпение не могло остановить этот крик, даже если бы на его месте находился Юлий Цезарь. Боль была выше всякого человеческо-

\* *Картель* — письменный вызов на дуэль.

го терпения. Сдвинув прицел в последнее мгновение, я попал несколько выше, чем предполагал. Пуля угодила в пах. Рана была смертельной.

Находясь в полном сознании, Александр Нарышкин страдал нестерпимо и скончался в госпитали на третий день. Под арестом меня отправили в Выборгскую крепость, где я маялся три месяца, упражняясь в письменном остроумии и одолевая тюремщика шутовскими рапортами.

Вернувшись в полк, я попал под начало своего давнишнего ненавистника, мелочного немецкого барона, которому имел удовольствие наплевать в лицо еще в прошлое царствование. У любого, а тем паче у воинского начальника всегда в распоряжении множество средств, законных и незаконных, испортить жизнь подчиненного. Полковник донимал меня придирадками, проверками и наконец нашел в ротной казне недостачу, которую я не успел восполнить после одной карточной игры. Под страхом уголовного наказания меня принудили уйти в отставку «за одышкою» и отправили в сопровождении фельдъегеря в Калужскую губернию. Я был не то чтобы сослан, но и не вполне свободен и, во всяком случае, лишен снова права посещать столицы.

До самого лета 1812 года я разводил капусту в деревне и предавался пьянолению до полной потери лица. При исключительном злопамятстве нашего милостивого государя я бы не удивился, когда бы и закончил свои дни в деревне от пьянства и тоски. А еще скорее, пустил бы себе пулю в рот и свел счеты с жизнью.

Орды Наполеона пробудили меня. Прежние правила перестали действовать. Я напросился в Москву для участия в ополчении. Под Бородином меня ранили. Вернулся я в строй под Тарутином. И командиром егерского батальона дошел пешком до Гамбурга и обратно.

Через двадцать девять лет после дуэли с прапорщиком Нарышкиным, день в день, в Петербурге умерла от неведомой болезни моя дочь Сарра. Сарра была гениальная девушка, точь-в-точь похожая на свою красивую бешеную мать, но также и на меня. После ее смерти у меня осталась еще одна дочь — Полина. Я более не убивал людей и других живых существ.

Дочь моя жива и здорова. Мы квиты.



Иван ВАСИЛЬЦОВ

## НЕУЧТЕННЫЙ МИР

### БАРРИКАДА

*Цикл стихов*

#### 1. Баллада о стакане

Я взял стакан — из тех времен.  
Он мутноват и огранен,  
Он в чьих-то был руках так часто,  
Что грани сгладились на нем.  
Так время сглаживает счастье,  
Так время сглаживает боль.  
В пустое дно смотреть доколь,  
Стекло зажав запястье?

Ему не больно — он привык.  
Штампованный украшен лик  
Едва заметным глазу сколком,  
Как будто бы он фронтовик  
С оставшимся во лбу осколком.  
Да где ж медали-ордена?..

А может, клеточка-тюрьма  
Была в свой час за ним закрыта?  
А может, вместе с ним взошла  
Звезда родного общепита?

Но разве не отец любил,  
Пока еще на свете жил,  
Заваривать на кухне споры?  
И громко так чифир мешать,



Что мог, казалось, помешать  
Свершиться злу. И рушить горы.

А сам не мог уже дышать  
И в ком-то все искал опоры...

Эпохи высохшей сосуд.  
Давно пора ему на суд,  
В казенный дом — теперь небесный.  
Уж там его-то разнесут,  
Уж там его заполнят бездной!

.....

В каких ни жили б мы веках,  
И в чьих бы ни были руках,  
Какие б речи ни слыхали,  
Чай какие б ни пивали,  
Скажите, знаю я на кой,  
Что чай всегда — тридцать шестой,  
А год всегда — тридцать седьмой?

...И это кончится едва ли.

## 2. Герань

Почти что касаясь глазами земли,  
Свой век завершая и путь,  
Молчат деревянные богатыри,  
Забитые в землю по грудь.

Их сносит веселая младость-корысть,  
А старости — им не снести.  
И вот уже червь начинает их грызть,  
И мышь начинает скрести.

Как быстро сквозь пол прорастает трава,  
Как страшно кренился карниз!..  
А может быть, это опять булава  
Ударила сверху да вниз?

И с места не сдвинулись в жизни своей,  
Но разве наш путь не далек?  
И разве не мчит под изнанкой полей  
Последний крылатый конек?





Учились под кожу мы дрянь зашивать,  
И саван учились сшивать.  
И зимы учились переживать,  
И вёсны — не переживать.

Бревно обнажило прогнившую грань.  
Никто ничего не вернет.  
И только лишь дура-герань  
Цветет на окошке, цветет...

### 3. Баррикада

Нечаянная мелочь краше  
Бывает чинной чепухи.

Стихийная торговля наша  
Похожа чем-то на стихи.

В денек, который поморозче,  
В разгар декабрьской игры  
Пойдем с тобою не на площадь  
Вкушать запретные плоды  
И за свободными дарами  
На рабский рынок не пойдем,  
А лучше двинемся дворами,  
Дивясь зимними дворцами,  
Где шмон еще не наведен.  
И неучтенный мир найдем.

От холода она поблѣкла  
Чуток — свеколушка, свекла.  
Но если есть на свете свѣкла,  
То боже — как она светла!  
«Рубиновая» — то ли слово?  
Коснись — и сердцем станет снова.

А это — шука — глаз-янтарь,  
Она пятнистая, как встарь.  
Иван такую отпустил бы,  
Да самому б кто срок скостил бы.

И от сумы, и от тюрьмы  
Умеем мы не зарекаться.  
Но может, главное лекарство —  
Не зарекаться от зимы?



Вот в банке с надписью «Микадо»  
Король закусок, «вырви глаз»,  
Хрен белоснежный. То что надо.  
В такой морозик-то как раз!

...Все это вместе — баррикада,  
Объединяющая нас.

Такое странное, брат, чувство,  
И стыдно вроде бы сказать...  
Добыл картофель и капусту,  
А стало вдруг в груди не пусто,  
Как будто сделал что-то густо,  
Как будто бросил горевать,  
Как будто вышел воевать...

Ах, день-денечек, снегиречек,  
Что ж песнь военна коротка?  
Оцепенел на раз снежочек  
У пограничного лотка.  
И вроде бы пора до дому  
И продавцам, и покупателям,  
Но что-то движет нас к другому,  
Другое говорит сердцам.

Еще минутку, полминутку  
Мы постоим, покурим в шутку,  
Топтыгинами постучим,  
И матерную прибаутку  
В бессмысленности уличим,  
О маме с папой помолчим...

Остекленевшими крылами  
Замкнуло время нас в себе.

Но солнышко пока что с нами  
По мерзлой топчется земле...

\* \* \*

Ожесточилась старая подушка:  
Не пух, конечно, белых лебедей,  
Не одуванчиковая опушка,  
Не синтетическая дребедень.



Взобьешь ее, как мать, бывало, тесто,  
Понянчишь, как ребенка, на руках.  
Живого что там? Мертвого-то места  
На ней не сыщешь... Это ж суций прах!

Ах, петушки да курочки! Не вас ли  
Двадцатый век расстреливал в висок?  
Не в той ли золотой вы жили сказке,  
Где високосный каждый колосок?

Да и теперь, крылатых побратимов,  
Вас предает бескрылая родня.  
Горите вы в кострах необратимых,  
Которые пылают без огня.

А дым-то есть... И в том дымочке горьком,  
Как в сторону глаза ни отводи,  
Прикованных увидишь к место-койкам,  
С крылами, скрещенными на груди.

И вот о чем подумалось невольно,  
И как он страшен, этой думы круг:  
Болезь должно — ни капельки не больно,  
Кричать должно — а тишина вокруг!

Ведь даже эмбриону небо снится,  
Но ради снов каких из года в век  
Собою нас кормила — кто не птица,  
Собой рожала — кто не человек?

Я не один ищу в родном родное,  
Я не один, хоть многим не понять,  
Увижу если перышко рябое,  
Тянусь к земле сырой — себя поднять.

Давно уж нету подати подушной.  
А может, есть, как и в былые дни?

Ожесточилась старая подушка.  
...Предгрозовой проснешься ночью душной:  
— Ах, петушки да курочки мои...



\* \* \*

Белого траура черные зимы...  
Мы — через ветошь — иное узрели:  
Дел-то — доглянешь в сених апельсины,  
Те, что с небес к Рождеству подоспели.

Знали их жены царя Соломона,  
Воском их яростным брызгала Троя.  
Царственный цитрус покрыла солома —  
Здесь не бывает укронней покроя.

В сне цитадельном барачные крыши,  
Не докричишься до глаз бабы Ольги.  
Где-то замгнуло весло дяди Гриши.  
Помните, был перевозчик на Волге?

Помните говор, что нынче размолвлен?  
Сказку он кажет, и хочется плакать.  
...Из переспелых один лишь разломлен —  
Точно взрывается сочная мякоть.

С ночи за ними хозяин приходит,  
Он их не любит: лелеять, мол, надо,  
Проще и прибыльней, вроде, выходит,  
В ящиках яхонт когда винограда.

Но, снарядив золотую тележку,  
Детство вдруг вспомнит, базарчик родимый...  
И вековую колымскую вешку,  
Ветер — иными плодами сладимый.

В ранний не веруя протуберанец,  
Не доверяя январским плакушам,  
Чтоб не померк померанцевый глянец,  
Свечку поставит тропическим душам.

Тулится к притолке малый лесочек:  
Дрема да одурь, да чье-нибудь ушко...  
Только опустишь ресницы — песочек,  
Древнего плотника рунная стружка.

Вот и последнее дозолотилось,  
Цедра — крамольного воздуха колче.  
Ты до чего ж по снежку докатилось,  
Вечно для нас незакатное, волчье?



Взрос над оврагом оранжевый всполох,  
Горькая доля горит, оказалось.  
В корочных порах как будто бы порох.  
Слышите порох?

Да нет, показалось...

\* \* \*

Я с детства помню за собой,  
Что тех любил, кто слеп.  
И тех, кто ходит за водой,  
И тех, кто возит хлеб.

Мне говорили про лицо,  
Про сплав, что победит.  
Но было ближе мне словцо  
Другое — «некондит».

Пекарня выпекала план,  
Всё в норме: форма, вес...  
А пара ящичков — изъян,  
В семье-то ведь не без...

И на задворочках, с торца,  
У черного крыльца  
Стояли люди без лица  
За хлебом без лица.

Они — бракованный отброс.  
Но, спор ведя с судьбой,  
Христово тело каждый нес  
Распятое — домой...

А сумки нету у кого —  
Так есть на то сума.  
А дома нету у кого —  
Так есть на то тюрьма.

И вот однажды, в ранний снег —  
Я недалёко жил, —  
Мне дядя Коля, старый зек,  
Горб хлебный отломил.

И «балерина» лет седых  
Огня дала с водой.



Среди согбенных и хромых  
Она была звездой.

С тех пор я много повидал  
И прожил много дней.  
Да только хлеба не едал  
И мягче, и теплей.

И вот что вспомнилось: глаза  
Той дурочки спитой  
Потом еще на образах  
Открылись в миг святой.

...Пекарня снесена давно,  
Конвейер новый строг.  
Но главным будет все равно:  
«Дают ли хлеб, сынок?»

### Связь

*Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?  
Неужели до сих пор еще воюем?*

И. Бродский

### 1.

Раньше были пункты переговорные,  
там гудки гудели междугородные.  
Брал пятнашечку ты посеребрённую,  
выбирал кабинку ты намолённую.  
(Впрочем, нет. Жребий твой от Москвы до Саратова  
был в руках длинноногого оператора.)  
И летел твой голос в тоннеле провода,  
без причины — всегда, никогда — без повода.

А порой приходила домой повестушка,  
телеграмма, из далей далеких вестушка.  
И в жару, и в холод —  
в урочное времечко —  
нес ты, стар или молод,  
повинное темечко  
к телефонной мембране,  
до слез металлической,  
чтоб помедлить на грани  
судьбы цилиндрической.

## 2.

Здравствуй, родина! Как твои блоки панельные?  
Как хрущовки и сталинки фешенебельные?  
Как твои ноябри, как цветы первомайские —  
пластмассовые, но еще не китайские?  
Как твой сок треугольный? — прости меня, Божечка! —  
для томатного, помните, — длинная ложечка?  
Как шанели твои, даже спящим не снящиеся?  
Как шинели твои, с тела так и не снявшиеся?

Как там старьёй наш двор,  
он в каком измерении?  
Как там дядя Егор —  
все твердит о затмении?  
Как соседки-страдалницы  
с ликами вздорными?  
Мне запомнились пальцы  
с колечками вдовыми...

Как там па, как там ма?

Что без них получается?..

Да еще и зима  
все никак не кончается.

Ты везде, понимаешь, ты в каждой обители...  
Мы твои — поневоле — послушные жители.  
Нам от будущего,  
как от боли,  
недужится,  
в круговой обороне  
вся жизнь наша кружится.  
Молодеет безвременье, время ли старится,  
мы в тебе родились. Этот узел останется.  
Мы связисты твои, потерявшие рацию.  
Мы ведь первыми в *эту* ушли эмиграцию.

Я тебя ненавижу  
до самого доньшка.  
Я тебя только вижу,  
как вешнее солнышко.  
В пустоту пустоте говорю заклинание:  
— До свидания, Родина. До свидания.



### 3.

Осеннего неба отвага,  
октябрь на ветры везуч.  
В открытой могиле оврага  
покоится гаечный ключ.

Судеб завернул он немало,  
резьбу проходя за резьбой.  
И гайка пред ним трепетала,  
не ведая власти иной.

В высоком он был кабинете  
и думал в масштабах страны.  
Его сероокие дети  
не знают, что им рождены.

И даже он с космосом звездным  
в свой час устанавливал связь.  
Но все для него стало поздно,  
как будто резьба сорвалась.

И снится ему, железяке,  
под шум облетающих вех,  
как мчатся в ночи автозаки —  
по кругу, по кругу  
и вверх.

Как падает умерший лист —  
по кругу, по кругу  
и вниз...





Кристина ВЫСОЦКАЯ

## КРОВНАЯ СВОРА

Повесть\*

### 16.

Гроб из дома выносили на руках Миша, Володя, Шурик Аксенов — давний и хороший друг семьи... и Майя. Все всплеснули руками: как это, вообще?! Девочка, еще шестнадцать не исполнилось, длинная, худая... Какой гроб, куда?! Нет, это уже бред какой-то! Не похороны, а балаган.

Марина и Фаина взвыли в унисон с новой силой. Витя вжался в бабу Нюру. Баба Нюра дернула Майю за рукав: мол, девочка, все понимаем, но головушкой-то думать надо! Володя и Миша переглянулись. Знали, что лучше молчать — пусть несет. Майя накинула свою драную шубку, влезла в валенки. Подошла к гробу.

Дед спал. Разумеется, он спал. Никакой смерти не произошло. Майя наклонилась к нему. Положила руку на лоб — холод пробирал до потрохов.

— Деда, — зашептала ему Майя, — ты просто устал. Это все пройдет, они сгинут, и все... Вставай, пока тебя не закопали! Потом даже я тебе не смогу помочь. Деда, вставай...

Майя легла бы в гроб рядом с ним, так ей хотелось отгородиться от всего, что происходит, такого абсурдного, невероятного. Не с ней все это, не с ней...

— Май... — подошел Володя. — Все, хватит. Надо идти.

Майя встала на колени, прислонилась к гробу. Тихо, четко, в самом нижнем регистре своего и без того низкого голоса выговорила:

— Ненавижу вас всех. Это вы его убили. Дом этот ненавижу, чтоб он провалился! А себя ненавижу больше всех, потому что я деда любила и не спасла.

Она неохотно поднялась, как будто из последних сил, обвела взглядом всех, кто был перед ней: маму, Фаю, Витю и бабу Нюру. Все рыдали — тихо, но обильно. Майя закрыла глаза, понимая, что это конец. Она

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2019, № 1, 2.



не была наивной, знала, что старики уходят, все уходят и она когда-то уйдет, но дед должен был жить, еще жить! Он заслужил рай не только там, но и здесь. Он не заслужил быть растерзанным этой сворой, он святой!.. Но тут же она вспомнила, как однажды Платон ей сказал, что святые — они потому и святые, что мученики. Мол, никак не получится обойти страдания и жертвенность, крест пронести придется. Только крестный путь Иисуса был не шестьдесят шесть лет, или мы чего-то не знаем?

— Мужики, взяли! — скомандовал Володя. — И ты бери, Май...

Майя подставила плечо под изголовье гроба, она как будто что-то охраняла под головой у деда.

За оградой гроб поставили на табуретки, чтобы желающие могли проститься. Желающих оказались сотни. Это было невыносимо, потому что плач стоял вселенский. Мужики вытирали усы и бороды, рыдали в голос, бабы с воспаленными глазами и вспухшими носами вставали перед гробом на колени, а потом долго не могли подняться. Надя фотографировала. Майе на всю жизнь запомнится картинка: вот она стоит у самого изголовья, одна рука на голове у деда, второй она держит за руку Витю. Дальше сгорбленным рядом Марина, Фая и баба Нюра. Миша и Володя в ногах. Позади многочисленные родственники, прямо-таки целая толпа... Откуда столько набежало? Видно, как сбоку Андрей и Тихон держат под руки Миру и Таю — все пьяны в стельку. Феня, укутанная в черный платок, у забора, рядом с ней Валя и Саша. Олег, которому кто-то отправил телеграмму или позвонил, приехал и неловко приткнулся к Марине под бок, как сирота никому не нужная. Он совсем спился и уже мало походил на человека. И еще так много разного люда... И все зовутся «кровными». Откуда же столько крови взялось?..

Гроб поставили в кузов «зилка», Майя и Марина сели в изголовье, рядом Фая и баба Нюра. Витя поднял рев, его не могли оторвать от сестры, но еще не хватало, чтобы ребенок ехал в минус тридцать два в открытом кузове. Его посадили в относительно теплую кабину. Там он орал так, что сорвал голос и потом две недели не мог говорить.

Ехали медленно. За колонной из машин следовало несметное полчище народа. Играл похоронный оркестр: его выделила железная дорога, на которой Платон Мажар проработал почти пятьдесят лет. Музыка была все равно что с того света, разрывала воздух и сердца. Потом начали гудеть паровозы, хором, все сразу. Пространство зазвенело. Звенело и у Майи в ушах. Она заставила себя оглохнуть, отключиться, чтобы не умереть. Старалась не смотреть на маму, которая почти потеряла сознание, на Фаю, которая уже не могла кричать, потому что кончились силы и голос, на бабушку, которая пыталась держаться, но чем больше старалась, тем хуже у нее это получалось. Майя положила голову деду на грудь и закрыла глаза. Она не слышала всеобщего воя и отчаяния, она слушала его сердце, которое, несомненно, билось, только уже в другом мире. Она

очень хотела, чтобы дорога была длиннее, потому что чем меньше времени оставалось, тем сильнее она цеплялась за эти последние минуты. Потом деда больше не будет. Никогда.

— Дитенок, вставай! — Баба Нюра тербила Майю за рукав. — Вставай...

Оказалось, что Майя просто отключилась, пробыла в забытьи всю дорогу до кладбища. И каким ужасом было очнуться! Она-то думала, что умерла.

Почва безнадежно промерзла, ее пришлось отогревать кострами. Могилу прокапывали по кусочку, по тонкому слою. Она получилась широкая и глубокая. Могильщики, мужики с самого социального дна, но самого доброго сердца, плакали и извинялись перед Мариной:

— Все, что могли, ей-богу! Земля каменная, матушка...

Володя, лицо у которого покрылось тонкой ледяной корочкой от слез, хриплым голосом позвал:

— Родные, прощайтесь...

Но Майя не позволила никому подойти. Загородила деда и тихонько сказала Володе, но услышали почти все:

— Только мы.

Хорошо это было или нет, Майю не волновало. Все, кто хотели и могли, уже попрощались. Сейчас ее меньше всего волновали приличия и неприличия.

У Марины начались сильнейшие боли в животе, баба Нюра и Фая подхватили ее и отвели в сторону. А Майя все не могла оторваться от деда, только сейчас эта маниакальная привязанность приобрела характер какой-то подозрительности. Что-то было не так. Вихрь тревоги летал во круг дедовой головы, и Майя щупала воздух, ища в нем подсказку. Она не могла отпустить деда *туда*, потому что ей еще нужно было что-то у него взять *здесь*.

— Деда, помоги мне...

И тут произошла катастрофа. Протопленная кострами земля под тяжестью гроба и Майи обмякла, поползла и рухнула — и внучка с дедом оказались в могиле. Страшный вопль испустила Марго, которая все это время стояла за Мариной. Все обернулись на крик и замерли, а Марго мелкими и осторожными шагами подобралась к месту обвала.

Гроб перевернулся, дед выпал, и у него из носа пошла кровь. Майя стояла на коленях, упираясь руками в стены могилы, и хрипела. Перед ней аккуратным веером, выпавшие из-под дедовой подушки, лицевой стороной вверх лежали фотографии. На них были запечатлены она — Майя, маленький Витя, Марина, Фая, бабушка Нюра... Майя подняла голову. Сверху смотрела бледная Марго. Майя тоже смотрела на нее, не моргая и почти не дыша. В эти растянувшиеся секунды и бабка, и ее внучатая племянница поняли все.

А в могилу уже аккуратно спускался Володя.

Теперь Платона Мажара можно было хоронить.



## 17.

Баба Нюра умерла в августе две тысячи седьмого года. Уходила она тяжело. В две тысячи втором к ней пришел Альцгеймер и поселился навсегда. Сначала она забыла имена всех домочадцев, потом вообще перестала их узнавать. Дальше для всех началось хождение по мукам. Она могла выйти из дома зимой в ночной рубашке или просто уйти на другой конец поселка. Марина с ног сбивалась, пока ее искала. Следом новая напасть: «К нам идут жулики!» Баба Нюра сворачивала одежду и постельное белье в узлы, могла все затолкать в пододеяльник и выволочь во двор.

Потом она перестала самостоятельно себя обслуживать. Майя в пятницу вечером приезжала на электричке из Тюмени, затаскивала бабушку в ванную и мыла ее. Та при этом все время кричала, что ее хотят убить, а одежду украсть. У Майи дергался левый глаз, у Марины оба.

Майя распаривала бабушке ноги в тазу с теплой водой, выводила прель, стригла ногти, мазала ступни кремом. Старушка любила эту процедуру и успокаивалась.

— Какая хорошая женщина, — блаженно бормотала баба Нюра, — ногти мне подстригла. Дай тебе Бог здоровья!

— И тебе не хворать, бабуль! — весело отзывалась Майя, а у самой ком в горле стоял.

Всегда энергичная бабушка, которая всю жизнь всем давала по щам, раздавала лещей и люлей, уходила — и так страшно: в безумии и неузнавании. Майя с Мариной смиренно принимали этот груз и это счастье. Счастье быть с ней в ее последние годы, ухаживать за ней, помогать нести бремя старости и болезней.

Фаина участия в семейных мероприятиях не принимала. Она, кажется, тоже сошла с ума. Только если у бабы Нюры было реальное оправдание, то у Фаины — одни фантазии. Она вдруг вообразила, что ей все обязаны, ведь она глубоко несчастна и прожила тяжелую жизнь. А остальные, значит, пропрыгали-проскакали.

Майя пару раз не выдержала и наорала на тетку, отчаянно, до хрипоты:

— Хоть бы раз мать помыть пришла! Хоть бы раз за ней говно убрала да поесть приготовила! Все пенсию ее считаешь, думаешь, она тут на миллионы живет! Складывать, сука, миллионы уже некуда!

Фая в ответ начинала блажить, что у нее болит спина и ноги, и вообще, кто с матерью живет, тот ее и дохаживает.

Какое скотство! Но Майя и Марина бились до конца.

Дошло до того, что бабуля уже не могла принимать пищу, все выходило обратно. Она лежала, а Марина сидела возле кровати и держала ее за руку.

— Все, помираю, — бабушка Нюра относилась к происходящему с ней мужественно и тихо. — Помираю, Мариша. — И улыбалась такой светлой улыбкой, какой у нее не видели никогда в жизни. Видимо, насту-

пило какое-то просветление в мозгах: она вспомнила младшую дочь. Но только ее. Майю так и не признала.

Марина убежала в кухню плакать.

Баба Нюра всю жизнь боялась смерти. Ни болезни своей или детей, ни разводов и безденежья — только смерти. Боялась, что будет больно и страшно, что перестанет дышать, а перед этим придется страшно мучиться. Но безумие атаковало ее и затуманило мозг. Осознавала ли она, что к ней, действительно, крадется старая карга с косой?

Вечером девятого августа бабушку, как обычно, уложили спать. Утром Марина зашла в комнату — спит. Попробовала разбудить — спит, даже тихонько похрапывает. Позвонила Майя. Марина отрапортовала, что все хорошо, то есть все по-прежнему. На последние выходные Майя не приезжала в деревню: работа выжимала ее по полной программе. Всю субботу она проспала, в воскресенье ходила по квартире как пьяная. Нестерпимо болела голова, мутило и шатало. А в понедельник снова бежать в это осиное гнездо, имя которому «Представительство такой-то нефтяной компании», чтобы переводить свободно с трех языков из семи, которыми Майя владела играючи...

Бабушка не проснулась и десятого. Марина все поняла. Вызвала скорую. Сказали готовиться. Марина по чайной ложке поила спящую мать куриным бульоном на третьей воде — та, как ни странно, глотала. Перестилала под старушкой постель, протирала ей опрелости. Держалась как никогда. Говоря с Майей, в трубку не редела, но все и так было ясно до боли.

Двенадцатого у Майи была делегация, серьезные люди. Все представительство ходило на ушах. Майя, красотка в деловом прикиде, трещала на всех языках сразу, демонстрируя и собственную исключительность, и привлекательность компании. Все шло замечательно. Устроили фуршет по случаю успешных переговоров и подписания миллиардного контракта. Майя пила чай и вела беседу с миловидным арабом, а ее уже требовали в другой конец зала, незаменимую умницу и красавицу...

Чашка выпала у нее из рук, осколки поскакали по мраморному полу. Разговоры замерли.

— Бабушка...

Звериное чутье, интуиция, шестое чувство нарисовало Майе картинку: бабы Нюры больше нет.

Никому ничего не объясняя, она вышла из зала и поехала на вокзал. Домой позвонила уже из электрички. Марина выложила ей все:

— Бабуля ночью умерла. Я не хотела тебе говорить, у тебя же делегация... Похороны сегодня в четыре.

Майя заорала так, что весь вагон вздрогнул и обернулся:

— Что?! То есть я бы не похоронила ее?!

Она вышла в тамбур и оставшиеся полтора часа ехала там. Элегантная дама в деловом костюме — в заплеванном и зассанном тамбуре пригородной электрички.

Майя успела аккуратно на кладбище. У гроба на корточках сидела Марина, Фая стояла в стороне. Вите забыли позвонить, а ведь он любил бабулю. Как будущий врач ставил ей диагнозы и прописывал лечение и, надо отметить, ни разу не ошибся.

Майя вглядывалась в бабушку Нюру и ужасалась тому, что смерть делает с людьми. Не заострившиеся черты лица, не чуждость мертвого человека ее пугали — она такое с десятков раз видела на своем, еще таком коротком, веку. Ей было дико другое: почти тридцать лет они прожили с бабулей рядом, ругались и мирились, иногда скандалы достигали неприлично высокого градуса, но Майя знала, что бабушка вот она, будет ходить, ворчать, скандалить, но никуда не исчезнет. Они пойдут в огород, который Майя ненавидит, начнут полоть грядки, и бабушка будет прыгать с лука на капусту, и результата как такового не будет видно, потому что щип там, щип тут... Или станут собирать колорадского жука, и бабушка — вот уж кому истинно по барабану любая эстетика — будет с неопишуемым удовольствием докладывать громко, на весь огород:

— Полосатого нашла! Вот бандюга! Ты подумай, сидит и срет! — а потом с характерным хрустом давить его.

Марина в такие моменты с трудом боролась с рвотным рефлексом и умоляюще тянула:

— Ну мама-а-а! Ну не надо объявлять! Тошнит!

— Ой, да подь ты к чемору! — баба Нюра отмахивалась от чересчур впечатлительной дочери.

Майя заходилась смехом. Она обожала этот семейный контраст: мама, которая при виде мышки теряла сознание, и бабушка, которая этих мышей ловила сама, потому что кошка Мотья была натурой возвышенной и неторопливой. Выглядело это так. Чуть придушенная мышка барахталась в прихожей между калошами, рядом египетской статуэткой сидела Мотя, а бабушка, встав кверху могучим задом, искала несчастную мышь, при этом высокохудожественно и в то же время простовато матерясь.

Майя смеялась и старалась записывать за своими женщинами. Это был их мир, совершенно счастливый — не идеальный, боже упаси, к чему нам идеалы, мы ведь живые люди, но это было счастье.

А потом этот Альцгеймер, падла...

И теперь бабушки нет, умерла еще одна веточка прошлого. Она так хотела жить, так боялась смерти, что встретила с последней во сне. Поняла ли она в тот момент, что находится уже там, а не здесь?

Майя выла над гробом, размазывая по лицу тушь и жидкие сопли, вцепилась в бабушкины руки и отказывалась ее хоронить. Могильщики, на удивление опрятные и почти интеллигентные мужики, смущенно смотрели на такой водопад эмоций. Они-то уж слез видели немало, но тут была истерика до судорог.

— Ну, все, все, пора. Хватит реветь. Она там не одобрит. — Слово «там» дядька с лопатой произнес значительно, подняв указательный палец к небу.

Майя его мысленно поблагодарила за то, что он поместил бабушку в рай.

Надо сказать, со времен дедушкиной смерти похоронные мероприятия сильно изменились. Могилки копались аккуратные, могильщики не бухали как сволочи, выглядели прилично, гробы не заколачивались гвоздями размером с болт, а защелкивались специальными креплениями. В общем, цивилизация добралась и до ритуала.

Бабушку похоронили рядом с ее родителями. Сделали аккуратный холмик, поставили крест с фотографией. Август был отвратительно дождливым, землю развезло, и Майя вязла в грязи в своих туфлях на шпильках. Она их сбросила, закатала брюки и начала поправлять крест. Ей все казалось, что он плохо стоит. Марина сидела на лавочке у соседней могилы совершенно без сил, даже на слезы их не осталось. Она смотрела на Майю: та уже не поправляла крест, а просто за него держалась.

А Фая все поглядывала на часы и нервничала, что долго провозились. Потом выдала:

— Слава богу, что Витюша всего этого не видел! Мальчик и так нервничает — практика в роддоме...

— Что?! — бледная Майя повернулась к тетке.

— То! Надоело. — Фая нервно закурила.

— Пошла вон!..

— Да хватит! Сколько можно! Заткнитесь обе! — Марина, до этого подавленная и молчаливая, взорвалась гневом от идиотизма сестры и бесконечной злости дочери. — Засуньте себе в задницу свои характеры драгоценные! Как же я устала...

Витя был оглушен новостью о смерти бабушки, но еще больше его потрясло то, что ему не сказали. Бабушку хоронили, а он принимал роды у какой-то женщины, которую больше никогда не увидит. Он и бабушку не увидит, но это была его бабушка!

Как бы мать ни старалась его оградить от «дурного влияния» бабы Нюры, Витя все равно тянулся в дом к Марине. Там всегда было вкусно, чисто, тепло. Жили более чем скромно (а как еще можно было жить в девяностые?), но это был дом.

Майя готовилась поступать в университет. Английский, который в школе преподавали отвратительно, она выучила по большей части сама, немецкий — совершенно самостоятельно и взялась за французский. На очереди был итальянский. Языки ей давались легко, она быстро понимала «мясо и кости», как сама говорила, а дальше было дело техники.

Витя сидел напротив сестры и следил за страницами в учебнике по английской литературе: Майя занималась переводом, на этот раз из Шекспира. Она хотела без словаря читать оригинал и тут же переводить. И у нее все получалось! В кого она такой полиглот?

В перерывах Майя переключалась на брата:

— Кем хочешь стать?



Вопрос был конкретный и требовал серьезного, развернутого ответа.

Витя таких вопросов боялся. Он бы лучше поговорил с сестрой о какой-нибудь мальчишеской ерунде, но строгой Майе ерундить было некогда.

— Я не знаю, — робко отвечал Витя.

— Надо знать. Кто будет знать? Мать твоя?

— Майя, — Витя складывал руки на стол и становился похожим на маленького деловитого гнома, — почему ты никогда не смеешься, не улыбаешься?

— Когда в моей жизни произойдет что-то действительно смешное и радостное, я обязательно буду смеяться и улыбаться. А теперь я повторяю вопрос...

— Врачом стану! Тебя лечить, Марину, бабулю, маму... Что ты так смотришь? — Витя сам внутренне смеялся над своим решением.

А в пятнадцать лет смеяться перестал. Просто, действительно, решил стать врачом. Сдержанность и спокойствие оказались ему на руку: он не боялся того, чего боится среднестатистический человек. Кровь, кишки, мозги — все эти запчасти человеческого тела вызывали у Вити профессиональный, исследовательский интерес. Он с лету поступил в медицинскую академию и был абсолютно счастлив. Надо сказать, что и в его внешности произошли изменения. Маленький тщедушный гусенок превратился если не в прекрасного лебедя, то, по крайней мере, в приличного орла.

Надо отдать должное Майе, она всегда спрашивала с него как с большого. Когда в конце третьего класса Витю побили в школе, Майя на разборки не пошла.

— Еще не хватало, — тихо отчитывала она брата, у которого из носа подтекала кровь, — чтобы я за мужика впрягалась! Во-первых, это позор для тебя, во-вторых, если побили один раз — значит, будет и второй, и третий. Учись бить морды сам. Сам!

— А как — сам? — всхлипывал Витя. — Они вон какие здоровые! И их много...

— Значит, научись отбиваться в одиночку от нескольких человек, — не уступала сестра. — Я скоро уеду в город, кто будет тебя высмаркивать? Запомни, если сам себе не поможешь — тебе никто не поможет.

Сложно сказать, насколько правильно воспринял девятилетний Витя жесткие слова сестры, но что-то в его белобрысой голове все-таки отложилось.

Майя же заставила его заниматься спортом.

— У нас во дворе турников нет, — упирался Витя.

— У нас в школе нормальных учителей нет, но я как-то выучилась. Потому что сама занималась, сама учила! Этих старых дур никогда не слушала. И ты никого не слушай.

И Витя отжимался дома, подтягивался за гаражами, где стояли старые сараи. Кинул металлическую палку между крышами, зафиксировал — вот и турник. Сначала было тяжело. На перекладине он болтался



как сопля, дрыгая ногами; после двух отжиманий тонкие руки начинали трястись и Витя плашмя падал на пол. Но у него была задача доказать сестре, что он не размазня.

Майя поняла, что брат старается для нее, и пресекла это:

— Для себя! Исключительно для себя. Ты мой брат, я тебя любым приму. А это — только для себя!

И Витя продолжал корячиться на самодельном турнике.

К восьмому классу он как-то неожиданно быстро вырос, почти догнал Майю, а она в семье была самая высокая — метр семьдесят пять. Занятия хоть и были кустарными, но дали результат: Витя здорово возмужал. Плечи широкие, на животе кубики, плюс всякие бицепсы, трицепсы — что там еще привлекает женское внимание? Да и умом не обижен. С такой сестрой быть тупым — это подписать себе смертный приговор.

А Фая между тем ходила по поселку гоголем: смотрите-ка, какого я сына воспитала! И все сама, хоть бы кто помог!..

Столовался Витя всегда у Марины, дома-то было шаром покати. Уму-разуму его учила Майя. Баба Нюра таскала в огород — чтобы знал, что картофель не в виде пюре на грядках растет, а огурцы — не в виде салата. И Вите нравилось тягать из колодца ведра с водой, копать картошку. Даже за малиной в заросли крапивы лазал: все лицо исхлещет, но ягод наберет.

В общем, вырастили парня, пока Фая бегала то на хор, то на парт-собрание, то в «Общество деревенских женщин». А временами так загуливала, что семье было стыдно на улицу выходить: деревня — она и есть деревня, все исподнее переполющут. Бывало, притащит какого-нибудь женишка грязного, пьяного домой и Витьке тычет: «Папу тебе привела!»

Витя сначала плакал и боялся шалманов, а потом просто стал уходить к Марине.

И тут вдруг: воспитала она! Майя делала вид, что просто не замечает Фаиноного поросячьего бреда. Бог с тобой, тетушка! Мы для Вити старались, а ты катись на все четыре стороны!

Вполне симпатичный, здоровый и рослый Виктор Мажар поступил в медакадемию. И сразу девочки на него посыпались гроздьями: голубоглазый блондин, какая стать, какой голос, и руки какие красивые — аристократия! Еще когда Витя поступал в мед, Майя сопровождала брата, присматривалась-приглядывалась, помогла решить вопрос с общагой: она-то этот «курс молодого бойца» уже прошла. Заодно про-сканировала всех мальчиков и девочек, отметила, как выются они вокруг брата, и, уже когда Витя поступил, — а в том, что он поступит, она не сомневалась, — они сели вдвоем в ее съемной квартире, накрыли скромный стол: хлеб, селедка, жареная картошка (денег тогда совсем не было), и поговорили.

— Витя, — Майя была, как всегда, строга и сосредоточена, — если я узнаю, что ты связался с наркотой, водкой, сигаретами, — задушу собственными руками. Если узнаю, что спутался с сомнительными людь-

ми, — задушу собственными руками. И не смей падать в любовь с головой, никаких «принесла в подоле», «умру за нее» и прочее! Ты приехал сюда учиться.

— Май, что с тобой? — весело перебил ее Витя. — Не начинай, а? Все будет нормально. Я же не идиот.

— Я надеюсь.

Первая крупная ссора произошла у них в мае. Погода стояла чудесная, невыносимо было находиться в офисе, даже очень хорошо и даже в центре города. Майя решила пообедать в какой-нибудь забегаловке недалеко от работы. Пошла через горсад, еще только приходящий в себя после разрухи «буйных девяностых», но на глазах обретающий пристойный вид. Молодые парочки ворковали на скамейках, счастливые и одуревшие от любви...

Майя резко затормозила. На лавочке возле колеса обозрения сидел ее брат с какой-то... У нее даже слов приличных не нашлось. Они чирикали о чем-то так вдохновенно, так увлеченно, что совершенно не заметили Майю, которая смотрела на них в упор.

— День добрый, — Майя от гнева уже дымилась. — Гуляем?

— Сеструшенька! — искренне обрадовался Витя. — Красавица моя! Знакомься...

— Избавь меня от этого. Лучше объясни, какого черта ты среди бела дня шляешься по паркам? В медакадемии выходной?

— Матушка моя, ты чего орешь-то? У нас пары кончились. Праздники же на носу, нас пораньше отпустили. Первый раз, прикинь?! Мы вот мороженым отмечаем! Давай к нам!

— Издеваешься?

— Нет, правда, — скромно вмешалась спутница Вити, кстати, очень даже симпатичная девочка. — Нас раньше отпустили. Хотите...

— А ты рот свой закрой, когда не спрашивают!

Витя схватил сестру за рукав и утащил к деревьям:

— Слушай меня! Не смей!.. Никогда!..

Он задохнулся от злости, потому что был готов наговорить ей страшных, наверное, даже судьбоносных слов. Но выдохнул и сдержался.

— Ты моя сестра, я очень тебя люблю. Но моя жизнь существует в отдельности от твоей. Ты сама меня так учила, помнишь? Так вот, в моей жизни появилась Маша, и я на ней женюсь! Не дрейфь, не сейчас. Потом, когда мы встанем на ноги, заживем самостоятельно, чтобы подачек ни у кого не просить. В подоле она не принесет, потому что мы врачи, мы знаем, что делать. И, кстати, мы лучшие студенты на потоке!

Майя молчала. Ей действительно нечего было ответить. Брат был большой, выше нее на полголовы, и как-то светлее, чище... И совершеннолетний, в конце концов.

— Знаешь, Май, в чем твоя проблема — главная, а может, и единственная? В тебе нет любви. Ты ее сознательно убиваешь в зародыше. Борешься сама с собой, но ради чего — не знаешь. У тебя борьба ради

борьбы, глупо и пусто. Сожрешь себя в конце концов. Без любви жизни нет. Любовь — это Бог.

— Ты же врач, при чем тут Бог? — очнулась Майя.

— Я в первую очередь человек, а потом все остальное.

И он ушел. Со своей верной Машей и бесстрашной любовью.

Майя села на скамейку, на которой только что сидел брат. Солнце шарило по-прежнему отчаянно, и ему было совершенно наплевать, какое там у кого настроение. У него своя работа — согревать людей. А она, Майя, — кого согрела? Неплохой вроде человек, но, действительно, получается какой-то формализм. Она воспитала Витю, воспитала правильно, хорошо, даже превосходно. А что с самовоспитанием творится? Есть дисциплина, долг, обязанности, знание языков... На кой черт она их столько выучила, сама понять не может. И ведь продолжает учить еще! Кому-то что-то доказывает? Возможно. А зачем?

Правильно Витя сказал: пусто живешь, Майя. Любви нет. Вот и кукуй теперь одна на скамейке в свой обеденный перерыв, а потом опять беги и переводы без конца...

Но любовь все-таки появилась. Как всегда, откуда не ждали.

Погода была жаркая, лето в разгаре. Майя высиживала свои профессиональные яйца и все ждала, когда птенцы ее трудов наконец вылупятся, застрекочут и начнут порхать. Дело вроде двигалось. Но хотелось еще и погулять, выставить под солнце длинные бледные ноги, а также руки, лицо — короче, всю себя положить на песок какого-нибудь городского пляжа и чтобы никто не трогал. Но пока получалось только поздно вечером добираться домой и падать усталой мордой в подушку. Хорошо хоть было куда падать. Квартирка съемная на Геологоразведчиков — не самый плохой вариант. Не Лесобаза и не Мыс, уже спасибо.

В пятницу вечером Майя выползла с работы. Воздух был замечательно свежий и сладкий — хоть откусывай и жуи. Решила плюнуть на все и махнуть домой пешком. Хотелось нормальной физической усталости, а не офисной, душевной, муторной. И она неспешно пошла, даже как будто улыбаясь... Ну просто было хорошо.

— Майя Мажар! — Навстречу из кустов выскочил мужик.

Впрочем, нет, не из кустов, просто парковка была рядом, вот и почудилось. Да и мужик оказался знакомый.

— Я! — по-солдатски четко и громко рявкнула Майя. Испугалась немножко.

— Привет. Я Кирилл.

Это «привет» было сказано с такой элегантностью, с такой, о господи, проникновенной интонацией...

История банальная, в чем-то даже пошлая. Они вместе работали. Только он в совете директоров компании, а она переводчиком. Обычным, рядовым, это потом она круто взлетит, а пока вчерашняя студентка и во всем начинающая. Видела она этого Кирилла нечасто: где он и где она.



Не то что полеты — небеса разные. И он ей не нравился. Нет, конечно, симпатичный, вполне импозантный, но вот возраст... В сорок пять только баба ягодка опять, про мужиков ничего не сказано. Да и потом, жена, дети... Нет-нет, это так унизительно, даже думать противно: у Майи — и вдруг интрижка с женатиком!

Но про интрижку в данном случае никто и не говорил. Все развернулось гораздо круче и масштабнее.

Она ему понравилась сразу. Совершеннейшая инопланетянка: отстраненность от мира, живет внутренним диалогом, помешана на языках. Он даже не слышал, кажется, как она просто по-русски говорит. Только сплошные переводы. Но голос у нее такой глубокий, гортанный, никаких высоких нот — бархат, чистый бархат. И совершенно не дружелюбна, держится особняком, даже не здороваются. Это, знаете ли, уже слишком!

Майя была красива по-особенному. Все против канонов: глаза большие и черные, брови и волосы как смоль, а кожа белая, и никакой косметики, даже ради легкого кокетства. Не было в ней нарочитой сексуальности, все сдержанно, даже чересчур. Не было пышной груди, которая бы двумя лунными полукружьями вываливалась из декольте. Не было округлой попки, по которой если не шлепнешь, то день прожит зря. Зато были длинные стройные ноги, которые она чаще всего прятала в штанах, и узкая талия, которую она почему-то не подчеркивала.

И вот таким образом, не подчеркивая себя никак, она обозначила свою особенность во всем. Кирилл это понял — и больше не мог вернуться на прежние рельсы. А однажды, зайдя в Майю в коридоре, специально поравнялся с ней, чтобы уловить ее запах. Но обнаружил, что запаха нет! То есть он был, конечно, но как мыльный пузырь: ловишь, кажется, уже поймал, а он раз — и ускользнул, и ты опять за ним вдогонку...

Девочка начала сводить Кирилла с ума. А дома жена — хорошая, надо сказать, любящая. И сын поступил в университет, замечательный парень вырос. И жизнь так славно устроена и налажена. А тут захлестнуло с головой, и выбраться не можешь.

И он решил ее выследить, выждать. Солидный мужик, а прячется в кустах... Хоть бы не видел никто, ведь позор! А впрочем, плевать.

Кирилл проводил Майю пешком, чего не делал уже тысячу лет. Они говорили, точнее он говорил, она как-то больше кивала. Рассказывал ей обо всем: о работе, о жизни. Не умолчал о семье — а зачем? Майя ведь не идиотка. Рассказал, как поднимался, как сидел на хлебе и воде, а потом этот взлет, хотя думал, что со дна уже не вскарабкаться... Все как в сказке со счастливым концом, думала она и, в сущности, была права. Но в то же время ловила себя на мысли, что Кирилл интересный собеседник и просто приятный человек, не утомляет ее, не лезет к ней в душу, не выпытывает и не выпрашивает.

Он же говорил и удивлялся ее молчаливости. И даже коснуться ее не мог, случайно или сознательно. Руки она затолкала в карманы, дав понять, что трогать ее не надо. Ей вообще ничего не надо.

Они дошли до Майиного дома. Район Кирилл не одобрил: много хулиганья и отребья. Время тогда было еще неспокойное. Майя, уже заходя в подъезд, не то со скрытой агрессией, не то просто с иронией бросила ему:

— Вот займу вашу должность, тогда и куплю себе квартиру на Семакова с видом на Туру!

И ушла. На третьем этаже зажегся свет, и Кирилл понял, что это ее окно, и все ждал, что она подойдет, выглянет из-за занавески. Но не подошла. Что за женщина! Скала, твердыня, крепость. Но вот ведь в чем дело: не хотелось ни осаждать, ни штурмом брать, ни ждать, когда падет от блокады. Хотелось быть с ней, изучать, отгадывать, раскрывать и разворачивать к себе, нежно и сладостно.

Он вызвал такси и поехал домой. Сложно было скрыть от жены странную растерянность души, ее смятение перед надвигающейся любовью, которая нещадно осаждала его, брала на измор. Кирилл маскировался что было сил.

Когда он на следующий день увидел Майин затылок с собранным хвостом, его обожгло. «Влюбился бесповоротно!» Он сверлил взглядом ее спину, мысленно посылал флюиды огня и желания, и любая другая женщина, в его понимании, должна была почувствовать что-то эдакое и обернуться. Но Майя как шла по коридору в свой кабинет, так и шла. Его передернуло. Не наваждение ли она? Слишком эфемерна, слишком недосыгаема. Она вообще существует, эта девушка? Ему нужно было подтверждение.

И он его получил.

Когда Майя вечером вошла в свой облезлый подъезд, на нее из темноты шагнула фигура. «Маньяк! — мелькнуло в голове. — Нет, для маньяка слишком добротен одет и слишком хорошо пахнет...»

Кирилл встал у Майи на пути. В сумерках видно было, как у него ходят желваки и дергается нижняя губа.

— Надо объяснить.

— Зачем?

— Надо.

Ну, надо так надо.

Когда Майя открыла дверь квартиры, на Кирилла пахло чем-то затхлым. «Книги», — догадался он. Шторы были плотно сдвинуты, в воздухе кувыркалась пыль. В прихожей он запнулся о какую-то кривую пирамиду — оказалось, многотомник Блока. Книги были повсюду: на полу, на подоконниках, на кухонном столе. Самые разные: Улицкая, Умберто Эко, Лермонтов, Буковски, Бунин... Великим фамилиям не было конца. Какая-то Блаватская валялась у дивана, и совершенно неизвестный Кириллу Морис Метерлинк лежал раскрытый на кухонном столе страницами вниз.

— Ну как, годится? — Майя сидела на подоконнике в кухне и с неподдельным интересом рассматривала этого, оказывается, красивого



мужчину, который почему-то страшно нелепо смотрелся в ее квартире. Или квартира, в данном случае как бы надетая на него, категорически не шла ему ни размером, ни фасоном.

— Нет, не годится. Здесь хозяйничают эти бумажные монстры, а не ты. Почему никаких женских атрибутов? Почему такой беспросветный мрак?

— А! Вот вы о чем! В смысле, почему у розового диванчика с резными ножками не стоит золотой туалетный столик с пудреницей? А я в бигудях не восседаю в атласном халатике...

— Май, да нет же! — Он взорвался в гневе и возмущении. — При чем тут бигуди! Ты можешь хоть в двух атласных халатиках сидеть. Дело в этой квартире. Это не жилище, это склеп! Тут только умирать!

— Значит, буду умирать.

Кирилл не выдержал, вскочил с табуретки. Запнулся о ножку стола. Метерлинк, будь он не ладен, упал на пол, грохнув всей своей многостраничной заумью. Кирилл взбесился еще больше и рванул в прихожую.

— Нет света ни в квартире, ни в жизни, так мне кажется! — кричал он оттуда, что-то передвигая.

Майя, взбешенная такой бестактностью, пошла за ним.

— Не трогать Блока! — рявкнула она.

В этой сцене не хватало только пистолета, из которого Майя выстрелила бы в воздух. В качестве предупреждения — ну, чтоб не трепали Блока и ее, Майины, нервы.

— Абсурд какой-то! — выдохнул Кирилл устало.

И поцеловал ее.

Это было абсолютно другое измерение, и девочка была оттуда. И книги тут были ни при чем. Индивидуальность, которая, несомненно, есть в каждом человеке, присутствовала и в Майе. Только у кого-то это полянка, у кого-то окопы, у кого-то вообще чаща непролазная, а у Майи — сплошная иррациональность и противоречия. Во всем. А природа противоречивого человека самая изматывающая: этакий банан со вкусом мятного молока. С одной стороны, интересно, что за фрукт, а с другой — уж слишком много экзотики, не для наших широт. Нам бы чего попроще и попривычнее: тарелку пельменей там или борща с салом.

Кирилл в Майе утонул. В ней был не омут, не океан, и вообще к водоемам это не имело никакого отношения. И даже не космос, а что-то совсем другое. Кирилла кинули в бездну, и ему казалось, что он летит к самому центру Земли, к ядру, такой вулканический жар распространялся от Майи вокруг. Вот тебе и ледяная глыба, каменная скала! Все прочее отодвинулось на периферию, как будто из жизни мощным бульдозером вынесло весь будничный мусор. И вот она — Майя, тонкая и резкая, в его объятиях. Не откусила ему ухо, не расцарапала лицо. Напротив, так жадно вцепилась в него, обвила его шею руками, а спину ногами, что он на мгновение потерялся, потому что был готов ко всему, но только не к этому...

Кириллу было сорок пять, он давно перестал удивляться женщинам и вообще искать то, чему в них можно удивиться. Отличались только оргазмы — от их имитации, отличались позы и умения. Вот, собственно, и все. В остальном сценарий всегда был до скучности одинаков. А тут какое-то полное выпадение из реальности! Вроде все как у всех: впусклости и выпуклости в тех же местах. Но дело было не в них, а в чувственности, фантастической чувствительности и отзывчивости женского тела. Дело было в горячности, в мельчайших судорогах внутри и снаружи, в вывернутости всего глубинного на поверхность. Такого в жизни Кирилла еще не было. Называй это как хочешь: стихия, цунами, конец света или ядерная катастрофа... Перед ним развернулась новая жизнь, и он не знал, с какой стороны к этой жизни подойти, так хотелось взять все и сразу. А потом отдавать себя — всего, и даже больше, чем есть в наличии...

И вот она лежит рядом. Наконец-то с румянцем, наконец-то счастливая, но сама пока этого не понимает. Освобожденная от внутренних оков, так ему казалось.

— Это невозможно! — Кирилл даже подпрыгнул, когда увидел красное пятно в форме тюльпана на простыне. — Ты...

— Ты, видимо, упадешь в обморок, если я скажу, что и не целовалась ни с кем до тебя?

— Вот я идиот!

— О! А это к Достоевскому! Он спец по идиотам!

И Майя засмеялась. Просто взяла и засмеялась. Шутка была так себе, дурацкая, честно говоря, шутка. Но в ней ли было дело?

Через две недели он купил Майе квартиру на Семакова с видом на Туру. Она еще студенткой благоговела перед этими новыми кирпичными домами за главным корпусом университета. Вроде бы центр города, но в то же время отдельное государство. Закрытый двор, в нем магазинчик, рядом кафе, любимый университет. И, конечно, река. До строительства набережной было еще далеко, город только вылезал из грязи и, можно сказать, заново отстраивался, но река была прекрасна в любое время года, независимо от смены политических режимов и городских властей. И когда Майя впервые вошла в это жилище, то ей в лицо хлынул свет, немыслимое количество света. После ее-то берлоги! Двухкомнатная квартира в восемьдесят квадратов показалась ей аэропортом: зачем так много? А затем!

В одной комнате Майя сделала библиотеку. Поставила диван и стол. Она была счастлива: наконец-то сотни ее бумажных «детей» были в порядке и на месте. Это уже потом квартира наполнилась всякими уютными мелочами, и Майя просто диву давалась, что она умеет и хочет сделать свое жилище красивым, добрым, располагающим к тому, чтобы в нем жить, а не просто проводить время. Купили и установили кухню, и Майя стала готовить, чего раньше за ней почти не водилось. Повесила картины, и не со всадниками Апокалипсиса, а с флоксами, с пейзажами, купила репродукции Айвазовского, Моне, Поллока... Кирилл как-то пришел,

увидел обновы на стене, похвалил выбор. Потом дошел до Джексона Поллока, долго смотрел на него под разными углами:

— Май, ты ручки шариковые, что ли, на стене расписывала, я понять не могу?

— Невежа! Сейчас расскажу тебе.

Майя просвещала его по части художников, литераторов, режиссеров и прочей культурной шатии-братии. Он кивал, но не потому, что его интересовала жизнь Тарковского или Кандинского, просто было интересно слушать ее, Майю. Она говорила редко и мало, но, если говорила о чем-то действительно ее волнующем, не внимать было невозможно. От одного ее голоса сердце замирало. Руки ее что-то стригли в воздухе, глаза горели и меняли цвет в зависимости от настроения, губы высыхали, и она их поминутно облизывала. И Кирилл уже не знал, чего хочет больше: слушать или брать ее немедленно, всю, не сходя с места.

— Май, зачем тебе столько книг? Ты же целые магазины скупаешь!

— Я их люблю — книги...

— Вот только давай без фанатизма!

Майя садилась на кровати, по-кошачьи выгибала спину и смотрела на Кирилла так, как будто они вчера познакомились.

— А как это — без фанатизма? Как вообще можно что-то в этой жизни делать без фанатизма? Мне кажется, что лучшие вещи созданы как раз фанатиками. Книги, фильмы, картины, даже еда... Все надо делать со страстью! То же самое и в любви. Разве ты можешь вполнакала? Когда ты занимаешься со мной любовью, ты ведь не думаешь о том, что слишком фанатично отдаешься этому процессу. Ты просто падаешь — и все, тебя нет. По крайней мере, какое-то время. И я люблю тебя абсолютно фанатично!

Майя понимала, что заводится, но тогда она была бы не она. Тут уж либо вообще молчи, либо говори до конца. И она говорила:

— Я все понимаю, я не дура. У тебя тонна обязательств, у меня своя тонна... Наши грузы разные, но не в этом дело. Я знаю, что все это не вечно, когда-то наступит момент — и ты уйдешь или я уйду... Да даже и это не важно! Важно то, что вот сейчас я хочу в этот чертов омут с головой! Понимаешь?

Кирилл понимал.

— Сколько нам с тобой осталось? День, месяц, год? Бог его знает. И я не хочу все это время тлеть, оглядываясь на инстинкт самосохранения. Не засыпай меня песком. А то как-то нечестно получается: ты меня открыл, а теперь обратно прикрыть хочешь.

Боялась ли она его потерять? Да, боялась до смерти. Разум должен был побеждать, но предательски сдавался. Никто никого не собирался приручать, но так получилось. Зависимость стала взаимной, они как будто задыхались друг без друга, глохли, слепли, немели. Оба теперь ненавидели командировки, но потом все было оглушительно ярким, они не могли напиться, надыхаться встречей. На работе по-прежнему пересекались не



часто, но каждый из них знал, что где-то рядом ходит родной, страстно, неистово любимый человек. Как трудно было не выдать себя, ведь на лице все написано...

Майя наконец решила позвонить брату. Витя приехал по ее новому адресу. Обиду помнил, но решил, что раз сестра позвала, значит, их давняя ссора — это полная ерунда в сравнении с тем, что она хочет ему рассказать.

Витя был настолько пронизательный и умный, что, даже войдя в восхитительную квартиру, не стал охать и прыгать от восторга. Он понял, что квартира — это лишь следствие чего-то поистине великого, что произошло в жизни сестры. Майя посадила его за стол. Они пили хороший чай из красивых чашек, ели вкусное мясо из красивых тарелок и смотрели в большое окно на реку, которую присыпал скромный октябрьский снег. И Майя рассказала Вите все, от начала до конца. Он внимательно слушал. А еще смотрел на нее и улыбался.

— Да что смешного? — не выдержала она.

— Смешного ничего, а вот прекрасного много. За полгода ты очень изменилась, просто стала другим человеком. Я, как врач, мог бы найти этому явлению вполне логичное медицинское объяснение, но не хочу. Я уверен, что это любовь, а ты называй как хочешь. Что бы там ни говорили, любовь творит чудеса, излечивает смертельные заболевания, да и просто открывает людям жизнь как великое чудо.

— Но он женат.

Майя сознательно пыталась вернуться с небес на землю, отрезветь. А то слишком воспарила в последнее время. Но Витя продолжал улыбаться совершенно идиотической улыбкой:

— И что? Ну, женат. Ты говоришь об этом как о триппере или хламидиозе. И то и другое, кстати, лечится. А у тебя слово «жена» звучит, ей-богу, как какое-то фатальное заболевание. Ты меня удивляешь! Когда ты с ним в постель ложилась, ты отдавала себе отчет в его женатости? Отдавала. Так что же сейчас сокрушаешься?

Майя поймала себя на мысли, что сама недавно в разговоре с Кириллом оперировала теми же аргументами. И поняла, что запуталась.

— Что же делать, Вить?

— Квартиру мне покажи, в конце концов! Давай, старушка, поднимайся! Пройдемся по твоим хоромам! — И опять улыбка совершенно счастливого человека.

Кирилл загорелся желанием купить Майе машину.

— Куда она мне, зачем? От дома до работы двадцать минут ходу.

— В деревню к себе будешь ездить. Хватит на этих электричках поганых мотаться.

— А мне нравятся электрички. Я в них отдыхаю, думаю, что-то сочиняю... Там мыслительные процессы протекают совершенно по-другому.



И вообще, если быть до конца честной, я просто боюсь кого-нибудь убить или убиться сама.

— Хорошая ты у меня, — он поцеловал ее в висок, — убить боишься!

Иронизировать они обожали.

Их отношения длились уже больше четырех лет. Майин возраст приближался к тридцати, Кирилла — к пятидесяти. Отношения в конце концов дали трещину. Усугублялось все еще и тем, что на работе Майя стала пользоваться невероятным успехом у мужчин. И заглядывались на нее не какие-нибудь охранники, а сплошь руководящие работники и, надо отметить, неплохие мужики, молодые и холостые. Но ей это казалось абсурдным: какие романы, вообще! У нее есть Кирилл.

Как-то вечером — тогда он особенно долго у нее задержался, не было сил оторваться друг от друга — Майя легко и ненавязчиво предложила:

— Не уезжай. Просто останься. А?

Кирилл надевал ботинок. Замер.

— Май, ты что? — как будто она предложила ему какую-то непристойность. — Что значит «останься»? Мы же договаривались.

— Давай раздоговоримся!

Чего она хотела? Куда его заманивала? Чего, собственно, добивалась? Увести его из семьи? А то, что он спит с ней уже почти пять лет, — это не подтверждение того, что он уже оттуда ушел? Ведь, по сути, его физическое присутствие на семейных праздниках, в отпусках и на похоронах — простая формальность. Он всегда с ней — душой, по крайней мере. И ее это должно устраивать. Но почему-то больше не устраивало. Ей хотелось самой встречать с ним Новый год, гулять в осеннем парке и при этом не оглядываться на кусты так, как будто оттуда могла выпрыгнуть его жена. Ей хотелось, может быть, даже родить ему детей. И прожить с ним долгую и, несомненно, счастливую жизнь.

Но дело в том, что он уже прожил эту жизнь с другой женщиной, родил сына и ждал внуков. Все это у него было, а у Майи, похоже, оказалось под угрозой. Новый год она встречала с мамой, ладно хоть без полоумной тетки. Мама — это, конечно, хорошо, но Майе был почти тридцатник. Какой бы успешной ты ни была на работе, пора бы резать оливье для мужа и детей. Для женщины тридцать лет — это возраст, когда годы уже не идут, а уходят. И вот уже ты — красавица, умница со знанием тьмы иностранных языков, в красивой квартире — у безнадежно разбитого корыта...

Марина знала всю эту историю. Было одновременно и радостно за дочь, и тревожно. С одной стороны, есть чудесная работа, жилье — Господи, спасибо за хоромы, которые еще и задарма достались! Кирилл с самого начала оформил квартиру на Майю. Так и сказал: «Дарю». И красота при ней, с годами даже еще расцвела — вот что значит при мужике... Только есть ли он, мужик-то? И от жены не уходит, сволочь, и с Майкой толком не живет! Только себя любит. Да что тут говорить: видели, жива-



ли, знаем... Зла не хватало. А что ей скажешь: брось его, лучше найдешь? Такое прокатило бы с другой девочкой, попроще, поговорчивее, а эта ведь себе на уме. И что там, на том уме, даже страшно подумать. Вот и страдает, волочит свою холостую, чтоб она провалилась, жизнь.

Все рухнуло в начале лета две тысячи восьмого. Было уже просто невыносимо жить и дышать. Степень Майиной зависимости от Кирилла достигла апогея. Майя высохла до кости, остались одни глаза.

Худая и белая, она таскалась на работу как на казнь. Каждый день ждала, что вот сегодня вечером Кирилл придет с чемоданом и все станет хорошо. Будет покой без таблеток и сон без кошмаров. Или, наоборот, она, Майя, сорвется — и все полетит в тартарары. Сил жить уже почти не осталось.

И она пала на самое дно. Надела старую кофту с капюшоном, нашла какие-то рваные джинсы, кеды и пришла к его подъезду. Села чуть поодаль и стала ждать, сама не зная чего. Хотела убедиться, что у него действительно все хорошо тут, с женой, в его доме? Надеялась, что увиденное встряхнет ее, разозлит и вытолкнет из депрессии?..

Ждала она недолго. Подъехала иномарка, не его, но Майя интуитивно почувствовала, что к нему эта машина имеет самое непосредственное отношение. Сначала вышла женщина, моложавая, симпатичная, открыла заднюю дверцу. С заднего сиденья ей подали ребенка, по возрасту год-полтора, а потом выбрался Кирилл. Из-за руля вылез парень, а с переднего пассажирского сиденья — невысокая девушка. Майя, как шпион в засаде, накинула капюшон и не шевелилась. Не дай бог, заметят.

— Никита, Дашенька, ну я вас умоляю, не переживайте! Всего два дня! Потом заберете свою Кристиночку целую и невредимую. — Женщина подала ребенка Кириллу, тот принялся нацеловывать девочку в пухлые щеки. — Дашуля, пирог был замечательный! И, как мы договорились, в августе едем в Монако. Вместе!

Все перецеловались друг с другом. Никита и Даша сели в машину и уехали, а Кирилл с дамой и ребенком вошли в подъезд.

Что-то надо добавлять, объяснять? Продолжать надеяться? У них Кристиночка, пирог и Монако, а у Майи... А что же у Майи?

Она еще долго сидела на лавочке. Не было никакого обморока или припадка, просто какой-то духовный паралич. Майя понимала, что надо встать, пойти домой и лечь спать, потому что завтра работа, всевозможные дела... Но ей даже хотелось еще немного вот так посидеть в почти незнакомом районе, где живет элита, взбитые сливки, жирные до тошноты. Живет мужчина, которого она любит так, что, теперь кажется, ее от этой любви тоже тошнит. Сильнее некуда любить, выше уже не прыгнуть. Дальше только пропасть. И если раньше они вместе падали в бездну, то сейчас она одна летит в черную яму с каким-то мелким противным мусором.

Майе вдруг страшно захотелось помыться. Смыть с себя что-то эфемерное, липкое, отравляющее тело и душу. Она пошла домой, почти побе-



жала, и ночной ветер хлестал в лицо, размывая склизкий клубок помоев, которые облепляли и, словно кислота, разъедали Майю многие месяцы. И когда ее поливала вода в душе, Майя заставила себя ощутить буквально на физическом уровне, как в водопроводный сток утекает едкое содержимое лопнувшего радужного пузыря, в котором она долгое время жила.

Легла она под утро. Долго сидела на подоконнике, смотрела на расцвет, на рыжие шевеления реки, на какого-то человека, который устроился на заросшем откосе и, как и Майя, о чем-то думал в этот сонный час. И было уже не так страшно, потому что она как бы и не одна. Потом ходила по квартире, разглядывала свои книги. Вспомнила, как однажды они с Кириллом чуть не поругались. Он опять был недоволен ее манерой, как он считал, глотать все подряд: теперь она читала какого-то непонятного Сартра. «Тошнота» — было написано белыми буквами на обложке. И картинка: из камина выезжает паровоз.

— Кто это вообще читает?

— Я читаю. Тебе чем-то Сартр не угодил?

— Это же бред!

— А ты сам вообще что-нибудь читаешь? — Майя встала в «позу сахарницы» — руки в боки.

— Читаю! Я Есенина, знаешь, люблю. Бродского, Пастернака... Можно? А ты поклоняешься книгам о тошноте.

— Книга меня никогда не бросит и не предаст. Поэтому у нас с ней такая сильная взаимная связь.

И вот сейчас старые друзья и соратники смотрели на нее разноцветными корешками верно и с любовью. Не подвели, малыши.

Нельзя сказать, что у Майи созрел какой-то план, скорее это она созрела. Какое-то глубинное течение вынесло ее к единственно правильному берегу. Она никому ничего не сказала, все оставалось как прежде: дом, работа, электрички, мама... Правда, бледность и худоба достигли крайней степени, но Майя знала: это пройдет. Скоро пройдет. И вот это, пока еще мифическое, «скоро» толкало ее, тормозило и принуждало двигаться.

Она не убегала от проблем, она просто хотела жить. Но тут, в Тюмени, это было больше невозможно. Быть сильной оказалось недостаточно, да и не этим измеряется сила. Ходить по одним коридорам и делать вид, что между ними ничего не было? Просто пять лет случайных отношений? Отвратительное слово — «отношения»! Измызганное, излизанное, мерзкое... Связью тоже не назовешь: отдает каким-то криминалом. А все эти космические и духовные сферы уже пройдены. Любовь? Несомненно. Но, видимо, хватит любви — в таком ее проявлении. Переверните, пожалуйста, страницу!

Майя теперь копила силы для другого и не могла себе позволить тратить их на мужчину, который нянчит внуков со своей женой и ест вкуснейшие пироги своей невестки. Ах да! Монако в августе. Это даже не печально, а скорее пошло и противно.

Она не стала терять время, изобретая велосипед. За годы работы в своей уважаемой организации Майя успела обзавестись хорошими зна-

комыми. Как-то ей выпал случай переводить в Москве, в МИДе, даже страшно было, честное слово. Но Майя — полиглот от Бога, как бывают такими писатели или музыканты. У нее талант, дар. И там она всех ошеломила, с легкостью птички перескакивая с французского на испанский, потом на итальянский, с него на немецкий... Апофеозом всего стал китайский, который, что греха таить, когда-то дался ей тяжело. Английский в счет не шел, это был просто инструмент, с помощью которого все общались. Под конец Майя шутя защебетала на греческом, и это совсем сразило Мишу, ее проводника и спутника.

Миша смотрел на нее и диву давался:

— Май, ты чего в своем колхозе сидишь? Ты же языки учишь играючи, как бы между прочим. Да перед тобой все двери открыты!

— Мне все не нужны. Москву вашу я ненавижу. За что ее любить-то? За золотые купола? Не смейся! В Питер не поеду: мочевого пузыря страны. И вот куда, скажи мне?

— Да хоть в Грецию! Ты на греческом не говоришь, а словно поешь. Да и вообще, там хорошо. Я в Салониках был — такая благодать! А ты везде себя найдешь. Ты умная.

— Я подумаю, — Майя улыбалась.

Ей нравился этот парень. Был он прост, но не глуп. Не заносчив, что редкость среди москвичей. Хотя какой из него москвич: несколько лет назад приехал из Новосибирска, не успел, видно, еще опошлиться, особачиться. А бог даст, и не станет таким никогда.

Москву Миша ей все-таки показал, просто настоял на этом. Потацил на Красную площадь, зачем-то в ГУМ. Был уверен, что раз она женщина, то будет в экстазе. Майя, когда увидела его удивленные глаза — мол, где восторженный писк, — даже обиделась:

— Ты серьезно считаешь меня вот такой? — Она подняла брови домиком и свернула губы в трубочку. — Покажи мне лучше Воробьевы горы, Большой театр! Хочу Таганку увидеть, там же Высоцкий играл. В Третьяковку веди меня...

— Майя, нам с тобой недели не хватит!

— Нет, — заорала она, — к черту Третьяковку! Вези меня на Патриаршие! А потом покажешь, где Аннушка разлила масло!

И они поехали, гуляли там, много разговаривали, обсуждали роман Булгакова, и Майя, посомневавшись, осторожно сказала:

— Миш, я думаю, что все это мракобесие, которое творится вокруг, скоро опять притянет Воланда и его компанию. Что-то нехорошее в воздухе, я чувствую.

Миша смотрел на Майю-прорицательницу внимательно и даже не думал подтрунивать. Он и сам знал, что в России хорошо не бывает. И никогда не предугадаешь, откуда прилетит.

— И что нам делать, Май?

— Жить. — Она улыбнулась. — И есть. Я голодная. Корми меня!

Москву Майя не полюбила, но улетала из нее с тяжелым сердцем. Миша стал ей почти родным. Кто бы мог подумать, что друзьями дела-



ются именно так. Он провожал ее в Домодедово, они сидели в кафе и в основном молчали. Майя предложила Мише приехать к ней в гости, он отказался. А она отказалась ехать в Москву.

— Все равно где-то в этом мире мы еще пересечемся! — пообещал он серьезно и печально.

В общем, как бы смешно и абсурдно это ни выглядело, сейчас Майя позвонила Мише. Он практически сразу взял трубку, узнал Майю, обрадовался по-настоящему, не наигранно:

— О! Майка-зайка!

— Зайка, выручай-ка! — подыграла она.

— Что такое? В Грецию собралась? — Миша хмыкнул: мол, как я хорошо пошутил.

— Да, — на этот раз совершенно серьезно сказала Майя.

Миша подавился. Покашлял. Собрался.

— Ну, мать, если ты серьезно, то чем смогу...

Гражданство? Сделаем. Недвижимость хочешь купить? В Санторини? Почему именно там? Ах, на картинке понравилось... Ну, это аргумент. Все решаемо, мать. Когда надо-то? А, ну да. Чем скорее, как говорится... Понял тебя. Жди, наберу. Если помощь нужна какая — финансовая, в смысле, — то без проблем. У меня этого хлама бумажного хватает.

Этот Миша был как Архангел Михаил. Позвонил через две недели, взволнованный и счастливый:

— Майка, слушай, задницу рву как для себя! Короче, гражданство будет. Не спрашивай как, сам в шоке. Теперь о жилье. Я так увлекся твоей идеей! Короче, будешь жить в Ие. Город — сказка! Сама все увидишь и офигеешь. На главной улице. Недвижимость там не самая дешевая, но у нас в России ты за студию в панельке больше заплатишь. Еще и почку в итоге от безысходности продашь. А там... — Миша как будто даже облизнулся. — Там Эгейское море из окна, закаты, Май, охренеть! Петунию на балконе посадишь! Прикинь, как круто! Белые дома, синее море и розовая петуния! Я уже с тобой хочу!

— Так поехали, — безучастно выдавила Майя.

Миша рассмеялся в трубку смехом, похожим на вопли подбитой чайки, потом посерьезнел, кашлянул и продолжил:

— Так, работа. Можешь, конечно, каким-нибудь гидом там, экскурсоводом, но места знать надо, всю мельчайшую историю, до песчинки. Какая богиня от какого бога родила и так далее. Но мы-то люди серьезные, Май. Зачем нам мифология? Есть вакансии в МИДе... То есть их там нет, но для тебя будут. Я связался со своими людьми, объяснил, что ты знаешь все языки мира и вообще учишь их на ходу. Интеллектуально подкована, политически надежна, красотка не хуже тамошних сраных богинь и вообще хороший человек. Короче, они в тебе заинтересованы. Тянуть не надо. Если готова, то сворачивай свою тюменскую лавочку — и поехала. Все детали изложу и разжую.

Майю как будто ударили по голове. Она этого очень хотела, спала и видела свою солнечную Грецию, но сейчас, когда мечта на глазах пре-

вращалась в реальность, ей стало страшно — чуть-чуть, но все-таки. Все время, пока работала, она, как чувствовала, откладывала деньги. Не знала для чего, но копила. Получилась очень неплохая сумма. И язык греческий выучила, сама не зная для чего. Хотела сначала иврит, но на что ей тот иврит? Зачем греческий, тогда тоже было не понятно, но вот захотелось. Кто бы ей еще намекнул, что никакая это не случайность, а зов крови. И Греция — не сиюминутная прихоть или райское видение, а, в общем-то, ее вторая родина. Потому и тянет.

Когда Майя все рассказала Марине, та охнула. Это что еще такое?! Не в тюрьму, конечно, в хорошее место дитя едет, но ведь и не в Рязань погостить на месяц! Это же другая страна и навсегда! Конечно, случилась истерика. Нормальная истерика нормальной матери. А Майя даже не собиралась обороняться, защищаться или оправдываться. Это было ее решение. Уже принятое.

— Мам, — Майя решила, что пора закончить семейное представление в стиле «идише маме», — ты со мной?

Марину как будто кипятком ошпарили. Как будто оскорбили — не в Грецию предложили поехать, а в какой-нибудь заштатный Алапаевск или Шамары. Она брезгливо фыркнула:

— Никогда! Никуда я из Талицы не уеду!

— Уедешь. И уедешь ко мне. А я буду тебя ждать. Будем прилетать сюда на родительский день, на их дни рождения.

Майя получила благословение на отъезд. Осталось решить вопрос с работой, хотя что там решать — уволиться, и все. Никто плакать не будет, потому что незаменимых у нас нет.

Квартира переходила в пользование Вити вместе со всем содержимым. Витя был ошарашен. Нет, не квартирой. Его оглушил отъезд сестры.

— Это не бегство, и перестань на меня так смотреть! Это взвешенное решение. Я действительно так хочу.

— Но почему Греция?

— А куда, Вить?

Вариантов было много и одновременно не было никаких. Можно хоть в Катманду, но это уж слишком экстремально. И, действительно, бегства нет, есть желание начать жизнь по-другому. Просто далеко. И Витя, конечно, поддержал.

— Ты знаешь, мы с Машей решили пожениться, — сообщил он. — Но без фейерверков. Зачем этот маразм, кому он нужен? Тамада и гости мордой в салате, все эти «опусти задницей ручку в бутылку»... А мама будет руководить процессом. Ужас, Май!

Майя смеялась, потому что представила эту жуть на свадьбе у Вити. Действительно, и смех и грех. Да и потом, свадьба без пяти минут заведующего гинекологическим отделением областной больницы, почти кандидата наук, — с пошлыми конкурсами? Нет, увольте!

Витя все мялся, думал, спрашивать или нет о том самом. Но промолчать не мог:



— Май, а Кирилл... Он знает?

Майя стояла лицом к окну, наблюдала за летней разноцветницей, за речными «барашками», за своим блеклым отражением в стекле. Кирилл...

— Нет. И не должен. Ты ведь понимаешь?

Брат кивнул.

О господи, Кирилл! Стоит ли рассказывать, как Майя металась последние месяцы, как истязала себя. Валериана уже не помогала — так, слону дробина; она перешла на адаптол, потом в ход пошел амитриптилин, хотя его она побаивалась. И ощущение абсолютной оторванности от реальности страшило, и не хотелось возвращаться. В какой-то момент Майя испугалась, что подседа на лекарства. Надо было бороться самой.

С той поры, как она застала милейшую семейную сцену, они с Кириллом были вместе один раз. Он приехал с цветами, совершенно счастливый, красивый, легкий.

— Я страшно соскучился по тебе! — говорил он. — Ты же мое солнце.

Майя, против обыкновения, много говорила в тот вечер. Она как будто хотела ему сказать все, что не успела за прошедшие годы. Вспомнила какие-то почти забытые случаи из своего детства, рассказала про деда, показала, наконец, стул, на котором сидела возле его гроба, поплакала. Потом включила Кириллу свои любимые песни, попросила потанцевать с ней.

— Ты никогда не танцевала со мной. И никогда не говорила так много. Что-то случилось?

— Я просто очень люблю тебя.

Никогда еще Майя не взлетала с ним так высоко и так круто не падала в неизвестность. Но там он ловил ее, казалось, в последний момент, но ловил. Подхватывал и снова поднимал... И в полете Майя совсем забыла, что вот именно этот вечер она увезет с собой, увезет с собой именно такого Кирилла — и постарается не сойти с ума.

— Ты знаешь, Май, мне так хорошо еще никогда и ни с кем не было. И это чистая правда.

Он был светел и легок. Целовал ее в висок, и в родинку на плече, и в шею, и наблюдал, как поднимается и шевелится персиковый пушок на ее теле. И воспарял вместе с ней, и благодарил ее за то, что в свои пятьдесят может так, как не мог в двадцать пять. И не сможет уже никогда и ни с кем.

— Ты моя греческая богиня, — шептал он на границе земных и небесных ощущений.

А ее горло сдавливал спазм. Хотелось орать и умолять, чтобы не отпускал, чтобы пришел навсегда, и тогда она все бросит: всю эту Грецию, и Санторини, и главную улицу...

«Все брошу, только будь рядом. Будь у меня не “в командировке”, а постоянно, всегда!»

Но он ушел. А она легла в прихожей и лежала так всю ночь, не могла даже пошевелиться. Ей хотелось спросить у кого-нибудь: за что? За что



эта нестерпимая мука, это стихийное бедствие, которое сносит крепкую Майю вглубь неизвестного ей континента, к чему этот крах и страх? Но спросить было не у кого, и она старалась просто благодарить за все. Ведь было счастье, на которое она согласилась совершенно добровольно. Только вдуматься: добровольно согласилась на *счастье*. А ведь знала, куда голову толкала. Вот и нехрен сейчас скулить. Жопу в горсть и пошла.

И она пошла — утром на работу, чтобы тут же с нее уволиться.

Руководитель ее департамента открыл рот:

— Мажар, ты с ума сошла! Я тебя не уволю. Кого брать? Ты видела этих переводчиков?!

— Видела. Более того, училась с ними. Нормальные ребята.

— Вот именно — нормальные! Нормальные — это значит никакие.

А мне лучшая нужна! Все, иди, не беси меня!

Борис Борисович, или, как называла его Майя, Бэбэ, взмахнул рукой: мол, все, пошла отсюда, работы много. Но Майя спокойно положила перед ним заявление. Оно плавно опустилось на стол, как кленовый лист на сентябрьский асфальт. Бэбэ поднял на Майю гневный взгляд и пошел красными пятнами, но его любимая Мажар была спокойна, как скала.

— Борис Борисыч, вы очень классный, я с вами уже почти восемь лет. Но я все решила. И две недели я отрабатывать не буду.

— Ну ты и свинья! Что у тебя случилось? Месячные? Возьми отгулы, передохни, спусти пар! Не девочка уже такие фортели выкидывать. Я ж тебя люблю, Мажар. Ну что стряслось-то? Ну хочешь, я тебе зарплату подниму?

Борис Борисыч с доброй жалостью и надеждой посмотрел на Майю, а Майя на свое заявление. Он не выдержал, швырнул на стол ручку, та весело отскочила и улетела куда-то в угол.

— Я так и знал! — шеф ударил кулаком по столу. Кофейная чашка перед ним подпрыгнула. — Я так и знал, что эти ваши страсти до добра не доведут! Ни тебя, ни его понять не могу. Ты девка молодая, вся жизнь впереди, а он старый хрен, уже внучка родилась, и туда же!

У Майи онемели руки и ноги. Ужас! Какой ужас! То есть...

— Ну что ты так на меня смотришь? А ты думала, никто не знает? Да между вами искрит — слепой заметит! Вот уж не думал я, что вы... — Он запнулся. — Ах ты какая! Выбрала время, когда он уехал в Кувейт, и сама сматываешься? А так не можешь, чтоб в глаза ему...

Последние слова он уже выкрикивал, потому что Майя была в дверях. Лифт не вызывала, бежала по лестнице, два раза упала и, чуть кубарем не скатившись со ступеней, выскочила из здания. Полушла-полубежала по улице Республики, сшибая людей, в сторону Семакова, но не домой. Домой нельзя, а то, не ровен час, что-нибудь натворит, идиотка психованная... Свернула на Урицкого, в какой-то замшелый двор. В частном секторе взорвались лаем собаки. Майя отпрянула, рванула в сторону Красина. Ноги подкашивались из-за высоких каблуков. И тут, как гром, как сирена, откуда-то сзади выстрелило в спину:

— Стоять!



Майя замерла, боясь обернуться. Кто это? Что это? Голос женский, но какой-то похмельный, злой:

— Я сказала: стоять! Твою мать!

Майя резко развернулась и ахнула. Почти вплотную к ней подбежала собака размером с небольшого динозавра. Хозяйка псины, та самая, с похмельным голосом, бежала следом и продолжала орать:

— Девушка, не бойтесь! Повалить может, но не укусит! Он просто играть любит... — Потом переключилась на собаку: — Гумберт, едрить твою через коромысло! Ко мне!

Собака послушно затрусила к хозяйке. Как будто лохматая гора двигалась, помахивая ушами и хвостом.

Гумберт. Что-то знакомое... Из книжки, что ли, какой-то? Ах да, «Лолита»... А при чем тут этот пес? Он что, тоже с нимфетками... Что за бред! Майе было нехорошо. От нелогичных мыслей, от разговора с Бэбэ, вообще от всего. Искрит, между ними искрит. Все знают. А кто — все? И его жена? Все это уже не важно... Или, наоборот, именно сейчас все и обретает смысл — когда смотришь на картинку не взглядом, затуманенным химией человеческих страстей, а трезвыми бесстыжими глазами, без пелены и этих самых искр?

Майя прислонилась к стене какого-то недостроенного дома, постояла одна в тени, почти в покое. Через сто пятьдесят метров шумела, орала, грохотала улица Ленина, а тут, в деревенских декорациях, даже машины почти не ездили. Майя огляделась, вспомнила, что как-то гуляла здесь еще в студенчестве. Правда, кирпичных домов тогда не было, этот долгострой образовался, кажется, лет семь назад. Тут раньше было хорошо. И сейчас хорошо, но новомодные городские поветрия вытесняли старую Тюмень, как она ни сопротивлялась.

«Хоть бы подольше сохранилась! — подумала Майя. — Хоть бы подольше...»

Через неделю она уехала. Перед отъездом попросила прощения у Маши, Витиной жены, еще раз призналась брату в бесконечной любви, погладила Машин живот, который округлым полуостровом плыл впереди самой Маши, когда та шла. Ждали двойно: мальчика и девочку.

Майя напоследок прошла по квартире, коснулась каждой вещи, еще раз вспомнила жизнь, которую тут прожила. Остановилась возле книг:

— Не выбрасывайте, ладно?

— Да боже упаси! Ты же потом убьешь нас! Приедешь с мечом Афины и убьешь.

Было радостно и грустно. И непонятно, чего больше.

Из всех вещей она забрала только стул.

А в Греции все устроилось как-то легко и быстро. Дом оказался прекрасен, даже лучше, чем на фото. Все было другим: улицы, магазины, а главное — люди. Не читалось на их лицах ни загнанности, ни затравленности, ни обреченности. Никто не хамил в очередях, потому что и очередей-



то не было; никто никого не давил в переполненных автобусах, потому что при такой погоде ездить в автобусе было просто смешно, и Майя, кстати, ни одного и не видела. Синь неба и моря, белоснежность города, красота растительности, загорелость и дружелюбная легкость людей... Господи, это другая планета! Майе теперь казалось смертным грехом то, что она тридцать лет прожила в серой тухлятине и промозглости, в непроходимом хамстве, маразме и жадности. На своей родине, одним словом.

Майя быстро вышла на работу, но не в МИД. Ей страшно не хотелось в политику, ей хотелось легкости, игривости, простых и веселых людей. И она пошла в отель. Просто пришла в тот, что ближе к дому, и попросилась на работу. Ее легкий акцент вызвал восторг управляющего: это был прекрасный русский акцент, и Майя даже не стремилась его скрыть или избавиться от него. Ее взяли, раскрыв объятия, сразу в замы, благо вакансия была: предыдущая дама собралась в декрет. Майя быстро сообразила, что к чему, да и особых сложностей ей не встретилось. Она представила, через что бы ей пришлось пройти, окажись она в аналогичной ситуации в России, и здешняя жизнь снова показалась ей раем.

А еще через две недели она стала замечать, что ее мутит от любой еды, от запахов, хорошо идет только газировка и мятные жвачки. Ее женский организм вел себя странно. Майя, не будучи душой, сразу купила тест на беременность... Чудо или наказание? Беременность была.

Она вышла на крыльцо дома, села на ступеньку и призадумалась. Мимо по улице проплывала пожилая семейная чета — Майины соседи. Они радостно улыбнулись и поприветствовали «молодую даму из России, весьма сдержанную и приличную». А «приличная дама» сидела и обдумывала свою образовавшуюся внебрачную беременность от женатого, простите, мужчины.

То, что Кириллу она ничего не скажет, было ясно как божий день. А зачем? «Привет, я от тебя беременна». И дальше что?.. Нет, однозначно нет. И себе счастья не прибавишь, и его семью взбаламутишь. Маме? Конечно! Не обсуждается. И Вите. А больше и говорить-то некому... Ну и замечательно.

Майя ждала ребенка, но никак не ожидала, что их будет двое. Мальчик и девочка. Вот это да! Они с Мариной ахнули: Майя от радости, Марина от ужаса.

— Что ж мы с ними двумя-то делать будем?! — будущая бабушка все никак не могла смириться. — Скажи врачихе, пусть еще раз проверит!

Марина, надо отдать ей должное, прилетела тут же. Она была так взбудоражена этой новостью, что все мысли о родине отошли на восемнадцатый план. У ребенка будет ребенок, все остальное не имеет значения! А потом, когда отдышалась, успокоилась, привыкла к этой мысли, — начала оглядываться вокруг и ахать от каждого куста и дома. Иногда она буквально не замолкала: все восторгалась, сокрушалась, что мама и папа не дожили до счастливых дней, вот бы радовались... А временами просто сидела с Майей на берегу моря и молчала. Вспоминала свою молодость



и удивлялась Божьему промыслу и чудесам. Через тридцать лет, но она приехала к своему Байону. Где-то он сейчас...

Вопрос об отце Майиных младенцев не поднимался. Может, в другой семье, с ветхозаветными принципами, и началась бы истерика, но поскольку безотцовщина у Мажаров была скорее нормой, чем исключением, то и речь «за папу» не заходила. Волновало другое: надо было рожать и растить детей — главных действующих лиц этой истории.

Вызвались помочь пожилые соседи. Их дочь, одинокая сорокалетняя Марита, которой на роду была написана бездетность, как раз страшно любила возиться с ребятишками. Была она больше похожа на еврейку, чем на гречанку: шумная, веселая, основательная, гребла всю работу как трактор и со всем справлялась. Она аж взвизгнула, когда узнала, что русская соседка ждет двойняшек. Неистово тряся руки Марине и Майе, она заявила, что хоть сейчас готова стать нянькой. И ей необходимо начать учить русский, а как же иначе?

Эта Марита была просто послана им Богом, она буквально расплещивала вокруг себя доброту и энтузиазм. Марина сначала даже ревновала, но потом поняла, что греческая няня — это спасение. Дети, когда чуть подросли, были похожи на банду, маленькую, но успевавшую всем поддать и жарку, и парку. Тут и трое бы с ног сбились, а одна Марина сошла бы с ума!

Незадолго до родов Майя сидела на крыльце дома. Она очень любила это занятие — сидение на крыльце. Мимо проходят разные люди: местные, туристы, что-то говорят на разных языках, восторгаются пейзажами. А Майя смотрит. Она выносила стул, садилась на него и мысленно разговаривала с дедом, который, несомненно, наблюдал за ней *оттуда* и благословлял на добрые мысли и хорошие дела. Рядом с ним была бабушка.

В тот день «солдаты» в животе воевали круче обычного. Майя не знала, на кого положить руку и кого успокаивать. Имена она выбрала давно. Мальчик — конечно, Платон, это даже не обсуждалось. А вот с девочкой было сложнее. Прекрасное имя Нур совершенно не сочеталось с Майиной фамилией. «Нур Мажар» скорее подошло бы какому-нибудь средневековому мужику-полководцу гренадерского роста и со свирепой мордой. И Майя придумала назвать дочь Нури. Игриво, романтично, экзотично. И вот сейчас, сидя на крыльце, Майя прикладывала ладони то к одному боку, то к другому, смотря в каком месте на животе появлялся рельеф от пятки или от кулака.

В бликах апрельского солнца к Майе двигалась фигура с чемоданом. Походка показалась знакомой, растрепанная башка тоже. Когда человек подошел совсем близко и остановился, Майя сделала ладонь козырьком и разглядела. Это был Миша. Стоял и улыбался своей глуповатой улыбкой. Разглядывал Майю, как будто впервые увидел. Потом сел рядом, ничего не говоря. Майя тоже молчала, то ли от неожиданности, то ли от любопытства.

— Тебе идет, — Миша посмотрел на ее живот. — Не думал, что можно забеременеть от греческого воздуха.

— Нет, это я еще из России привезла, — Майя погладила живот и довольно улыбнулась. — Отечественного производства.

Миша улыбался, а потом перестал. Майя тоже перестала. Она его таким серьезным не помнила. Помнила только, как он не оставлял ее в Москве, когда на нее облизывались столичные шакалы, и как молниеносно помог с переездом. Помнила его чудовищный, но дико заразительный смех. И не хочешь, а будешь за компанию смеяться до колик в животе. А еще, конечно, Патриаршие, прощание в Домодедово, зарождавшуюся дружбу, которой они так и не дали подкрепления...

— Я, собственно, приехал жениться на тебе. Ну и, как полагается, жить с тобой долго и счастливо. Майя?.. — Миша с прищуром смотрел на Майю, такую молодую — и словно постаревшую за последнее время.

Идиот, конечно идиот! Где он и где она — шикарная и недоступная, невесомая и независимая... И ведь не дурак, не размазня, но спрятал голову, отступил и только наблюдал издалека за эфемерным образом Майи в какой-то Тюмени. Далась ей эта Тюмень! А ему — эта Москва... Наконец прижало по-настоящему: потерял аппетит, ходил худой и бледный, все порывался позвонить или написать. Сгрел волю в кулак и набрал номер. Майя ответила, искренне обрадовалась, даже пригласила в гости, тоже искренне, но потом тонко намекнула, что в данный момент не одна и говорить ей не совсем удобно. Но ты звони, дружочек, обязательно! И короткие гудки. Он опоздал. Если это был и не полный провал, то, скорее всего, бледное будущее без особых надежд и перспектив.

А потом она сама позвонила — и сразу к делу. Миша даже не сразу понял, что, собственно, происходит. Потом до него дошло — сначала то, что с тем, с кем Майя была, все закончено и она бежит. Это было понятно по ее голосу, нетерпеливому, взволнованному. Потом дошло, что в Грецию. Стало даже немножко смешно. Вроде он в шутку сказал, а оказывается, она решилась. Это его шанс? Или уже заткнуться и успокоиться? Он ей поможет, однозначно. Из штанов выпрыгнет, но сотворит для Майи любое чудо! И Миша сделал все, что мог, и был уверен, что поступает правильно. Но потом начались еще большие мучения: он в Москве, она где-то на другой стороне земли... Он был уверен, что теперь Майя одна. Так значит, надо сделать новую попытку!

И Миша поехал в Санторини. Адрес-то он знал.

Он был готов ко всему. Его могли развернуть, засмеять, осрамить. Могли, конечно, и в дом пустить, но это было, с его точки зрения, почти несбыточно. Поэтому Миша ехал как на Голгофу, хотя собирался бороться за царствие небесное. И если вернуться к ожиданиям, то, увидев Майю беременной, он замер, потрясенный, чувствуя себя так, словно ноги у него стоят в тазу с цементом, причем цемент быстро застывает. Как же это? Когда успела?!

Она сидела на грубоватом стуле старинного вида, положив руки на живот как на подставку, и, кажется, была в полудреме. В последнюю

встречу он запомнил ее другой. Тогда в ней было больше жизни, больше блеска и больше килограммов. Сейчас казалось, что она вся ушла в этот огромный живот. Но это была Майя, его Майя, жонглирующая не только семью языками, но и его, Мишиной, жизнью.

— Ты очень смешной с этими патлами на голове. И с этой бородой, — Майя с интересом разглядывала Мишу. Странно, что на его появление и предложение замужества она отреагировала так, будто это в порядке вещей, а вот патлы и борода ее волновали.

— А у тебя стул какой-то непростой.

— О-о-о! Это очень непростой стул! Волшебный. Я тебе расскажу про него. — Майя протянула Мише руку: — Помоги встать, моя команда меня отяжелела.

Миша смотрел непонимающе. А Майя подмигнула ему с видом опытного заговорщика, давая понять, что новостей будет еще много.

И сказала тихо, почти шепотом:

— Пойдем в дом, там мама лепит пельмени. А Марита сегодня утром принесла мусаки. Она вообще так готовит!.. — Потом спохватилась: — Ой, забери стул! Его обязательно надо занести. И чемодан, Миша!

И Миша, растерянный и счастливый, суматошно прыгал вокруг Майи, стула и чемодана и все не знал, за что схватиться. И ярко-розовая петуния колыбалась над их головами.

Господи, спасибо тебе...

## Эпилог

Дом на Деповской, 48 стоит до сих пор. С того момента, как умер Платон Мажар, в нем ни дня никто не жил, потому что после похорон Фаина сказала родственникам:

— Если вы, твари, подойдете к отцовскому дому, я его сожгу! И еще я сожгу ваши дома. И сделаю так, что вы сами в них сгорите.

Дом оброс мхом, палисадник, который сажал еще Платон, неизменно разросся, деревья дали побеги, а те, подростки, — еще побеги... Те же бревна, те же окна, та же калитка с запором «дерни за веревочку, дверь и откроется». Дом продолжает дышать, слушать и слышать. Заброшенное гнездо большой и странной семьи. Колыбель и усыпальница, тихий причал, куда приходили впервые и откуда отправлялись в последний путь.

К дому никто не приближается. История семьи Мажаров забыта: все свидетели тех лет давно ушли и рассказывать некому. Но таинственность и непоколебимость дома внушают окружающим страх, любопытство и невольное уважение к этому бревенчатому персонажу. И кажется, приди на это место через сто лет — все вокруг сгинет, а он останется. Все так же будет стоять и смотреть на эту ужасную и прекрасную жизнь.

Ирина РЫПКА

## ВРЕМЯ НАС

\* \* \*

переписать историю кляксами из чернил  
маленькую и хворую кто тебя сохранил  
девочку в шапке плюшевой в валенках с буквой ка  
музыка льется в уши с душного потолка  
руки висят на ниточках лебедем в такт плывут  
кто тебя славно выточил и обрядил в лоскут  
детского королевства — матовый крепдешин  
кто на какие средства дожил здесь до седин  
до кожи — сухой пергамент  
до выцветших серых глаз  
это ли все о маме что зажигает газ  
спичкой в духовке старенькой в доме где был причал  
где леценко из динамика начало начал кричал  
где остывали блинчики и к службе гудел собор  
и доносилось издали возьми и меня с собой

\* \* \*

из детства запомнились две девочки  
хаврошечка и козетта  
две тоненькие веточки господнего лета  
я смотрела на них не мигая и думала вот же вот  
ленточка голубая и девочка у ворот  
веселая танцовщица нырнет в коровье ушко  
и чем ей там поживиться — отваром из корешков  
шелковой пестрой тканью солнечным калачом  
я тебя милая знаю все тебе нипочем

снег заметет дорожки  
выйдешь в пургу одна  
худенькие сапожки в локонах рыжина  
встретит чернородый заледенелый лес  
вот она несвобода нищенок и принцесс  
то принеси подснежник то принеси воды  
в садике белоснежном яблоня даст плоды  
август минут на сорок девочку в плен возьмет  
будет тебе и хворост и терпкий гречишный мед

## Бошетунмай

Не ешь, девочка, морковку по-корейски,  
а то родится у тебя корейский мальчик,  
будет пить и петь в подвальчике.  
Лучше сходи с авоськой до бакалеи,

купи заварку и сахар, оставь пятерку со сдачи  
на черный день, на развод, на заячью шубку,  
чтобы было чем укрываться, когда зябко да жутко.  
И не верь тому, кто скажет, что мех у нее собачий.

Чуешь, как росток пробивается сквозь асфальт?  
Это не серебряная ива, не черный брат тополь,  
а корейский мальчик пробивается сквозь строфы,  
настраивает струны что твою печаль.

Вот он родился и вырос, вот свет погас.  
За футбольным полем, за чертовым колесом  
старый дом панельный поволокли на слом,  
отключив электричество, газ.  
Вот и кончилось время нас.

\* \* \*

где они горячие поцелуи  
подушечки пальцев твоих алилуйя  
листаю по памяти стань моим навсегда  
а на сердце зима — ледостав  
последним вагоном поезд размахивает как хвостом  
обь вздрагивает под мостом  
скрипят за окном снега  
я засыпаю в твоих руках тиха и нага  
вот же они утренние мотыльки первых лучей  
на твоём плече  
их успеваю прочесть заставаю на букве че —  
оказываюсь вновь в ночной черноте  
где мы за чертой прошлого года  
внутри праздничного хоровода  
прижимаемся животами под одеялом  
а на губах послевкусие сладких яблок



Мария КОСОВСКАЯ

## ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Р а с с к а з

Бежишь и смотришь на свои коленки, на загорелые пальцы ног, торчащие на сантиметр из сандалий, на мелькание травы, камешков, на трещины в асфальте, срывающиеся с одуванчиков парашютики, летящие вверх.

— Настена, Настя!

Настя любила бегать. Это весело, когда все летит и упругий воздух податливо расступается навстречу. Желтое пятно от сломанной песочницы, вывернутые качели, ржавая, изогнувшаяся кобылицей горка.

— Настена! Настя!

На полинявшей пятиэтажке их балкон был единственный незастекленный — просто покрашенный в синий цвет, с провисшими веревками для белья. Мать стояла и махала ладонью.

— Ма, ты откуда? — крикнула Настена, задрав голову.

— Зайди домой!

— Иду!

Привычные надписи на стенах, кошачий запах и пыльный подъездный холодок. Она взбежала на третий этаж и толкнула дверь.

— Мам, а ты чего так рано?

— Билет поменяла и приехала. Не рада?

— Рада, почему? Боюсь только, ты меня сейчас припашешь.

— Настя, что за выражения? «Припашешь». Это Танька твоя может так говорить, а ты из интеллигентной семьи. Обедать будешь?

— Смотря что.

— Макароны по-флотски. Сварганила на скорую руку.

— «Сварганила»? Мама, что за выражения?

— Стараюсь быть на одной волне. Пошли. Я икру привезла.

— Баклажанную?

— Красную, как ты любишь.

Настена села за стол и осмотрелась. Раковина, где почти неделю лежала грязная посуда, была пустая и чистая. Вернулась мама — и на кухне опять стало уютно.



- Как вы тут без меня, не скучали?
- Некогда было. Отец с утра на дом уходил. Или там ночевал. Я с Танькой на карьере каждый день купаюсь.
- Ясно. Морковку не прополола?
- Прополола, почему? Я ж люблю полоть.
- Знаю. — Мама погладила ее по голове. — Что на лето задали, читаешь?
- Блин, мам, я еще в прошлом году прочла.
- Ты моя умница! Горжусь тобой.
- Издеваешься?
- Ни в коем случае. Восхищаюсь.
- Ну ладно, говори, что надо.
- Отцу поесть отнесешь? Голодный, наверное, сидит. Заодно скажи, что я раньше приехала.
- А что мне за это будет?
- Давай уже, иди. Испеку что-нибудь к вашему возвращению. Чего бы ты хотела?
- Торт-суфле из крем-брюле.
- Губа не треснет? «Зебру» испеку.

Настена тащила вниз по лестнице велосипед «Салют» с привязанным к багажнику лотком, в который мать положила макароны с мясом и кетчупом, соленый огурец и три куска хлеба, завернутые отдельно в пакет. Отец даже макароны ел с хлебом.

Выйдя из подъезда, Настена опять остро ощутила лето. Запрыгнула на велик и понеслась, чувствуя лицом ветер, вдыхая запах истомленных на солнце трав. Теплая, разогретая даль расступалась, разворачивалась полями, холмами, уходила в горизонт, в салатную дымку, в высокий небесный свод. Вдали торчала полуразрушенная колокольня, нестерпимо поблескивали на солнце перламутровые купола. Кроны далеких деревьев были похожи на брокколи, которую мама выращивала на грядках, хотя ее никто не ел.

Через несколько минут красота перестала занимать Настену. Она задумалась о школе. Начало занятий было далеко, однако мысли о них уже заставляли тосковать по лету. Оно же когда-нибудь кончится, и уедет новый сосед, который приехал сюда на каникулы. Димка. Такой классный! На гитаре умеет играть. Увлекается космонавтикой. Рассказывал во дворе, как самому сделать ракету: фюзеляж из бумаги, целлюлозная стружка и сердечник от лампочки. Танька ей вчера гадала на картах, выпало: «будете целоваться, но он не любит тебя». У Настены даже слезы навернулись. Не любит. Но будете целоваться. Она еще не целовалась ни с кем. Вот бы поцеловаться с Димкой! От мыслей об этом приятно заныло в груди, словно там стоял радиопередатчик и рассылал в пространство волны любви.

Интересно, подумала Настена, действительно ли есть любовь? Или ее придумали как романтическое оправдание, чтобы без стыда думать про



секс? Настена уже знала про секс. О нем все ее друзья говорили. Она иногда рассматривала себя голую в зеркале, представляя, как бы это происходило с ней. Тело казалось неказистым: сутулая спина, грудь торчит острыми холмиками, ноги в икрах не сходятся. Танька говорила, что в икрах обязательно соприкасаться должны, иначе кривые.

Наверное, нет никакой любви, думала Настена. Димку, например, она любит или это только воображение? Или мама. Всегда такая усталая. Или отец. Маму как будто совсем не любит, обнимает редко, не говорит нежных слов.

Ей опять захотелось заплакать. Она бы и расплакалась, если бы не увидела на тротуаре Таньку.

— Эй! Ты куда? — крикнула Настена.

— За хлебом. А ты?

— Папе обед везу. Поехали со мной? На обратном пути за хлебом заедем.

— Ладно.

— Садись на багажник.

— Увезешь?

— Ты, конечно, растолстела за лето.

— Дура! Это гормоны.

— Да шучу я, шучу.

Велосипед медленно набирал скорость. Везти Таньку оказалось сложно. «А как бы ты раненого друга на себе несла?» — думала Настена и изо всех сил давила на педали. Два раза руль вильнул, девчонки завизжали, едва не врезались в камень, съехали на грунтовку и дальше с горки легко понеслись, шурша колесами о гравий. Ряд гаражей, болото с зеленой водой, утки, торчащая из ряски кабина трактора.

— Тэ-сорок, — показала на кабину Танька.

— Что?

— Я говорю, трактор Т-40. Отец работает на таком! — крикнула подруга.

— Понятно.

С разгона они добрались до середины крутого подъема, дальше стало медленно и тяжело.

— Слезай. Не увезу.

Пассажирка слезла, и они пошли рядом. Настена, запыхавшись, пару минут молчала. Танька тоже молчала и смотрела по сторонам.

— Как дела? — отдышавшись, спросила Настя.

— Нормально. Мать запила.

— Опять? Почему она пьет?

— Кто ж ее знает? Хочется, вот и пьет. Ей на всех плевать.

— Блин, жаль тебя.

— Ой, да ладно. А то я сама не справлюсь? Выросла уже.

Танька, действительно, выросла. Грудь второго размера, лифчики настоящие. Это казалось Настене удивительным, и она слегка перед подругой робела.



— Прочла «Айвенго»? — спросила.

— Это че?

— На лето задали.

— Не-а.

— А Грина «Алые паруса»?

— Даже не бралась. О чем там хоть?

— Про Ассоль.

— Фасоль? Про Золушку, что ли?

— При чем тут Золушка?

— Ну помнишь, мачеха заставляла перебирать рис и фасоль. Или гречку. Не помню. Моя мать меня гречку заставляет перебирать.

— Нет, Ассоль — это про другое. Про девушку, которая принца ждала.

— Я и говорю, про Золушку.

— Да, похоже, но по-другому. Она была фантазерка. Город ее не любил, потому что она странная, не такая, как все. И ее отец...

— Пил?

— Почему — пил?

— Не знаю, все отцы пьют.

— Мой не пьет. Иногда только выпивает.

— А мой не просыхает. Но самое страшное, когда мать бухать начинает. Я к бабке тогда ухожу в бараки. Ну ты знаешь.

Настене стало неприятно. Она ревновала Таньку к баракам. В районе, который называли «бараки», у Тани была другая жизнь, с блатными пацанами, с сигаретами и пивом, с поцелуями взасос под железнодорожным мостом. Подруга не брала Настену в ту жизнь. «Это не для тебя: ты из интеллигентных. Тебе не понравится», — посмеивалась она. Настена обижалась и решала больше с Танькой не дружить. Однако дружить было не с кем и она мирилась.

Ей хотелось еще поговорить про Ассоль, про любовь, благородство, которое, если верить Грину, все же встречалось в людях. Но Танька бы ее не поняла. Настена молчала и думала, что она та самая Ассоль, которую сверстники считают дурочкой только из-за того, что она любит читать.

Когда шли по Загородной улице, залаяла из-под забора собака. Она высовывала острую морду, скалила розовую пасть и показывала мелкие острые зубы.

— Такая маленькая — и такая злая, — удивилась Настена.

— Фу! — крикнула Танька. — Тупая шавка.

Собака послушалась ее, спрятала морду.

Подошли к участку, обнесенному горбылем. Мама не любила высоких заборов и мечтала, чтобы их дом окружала живая изгородь из кустарника, который она подстригала бы в форме шаров и ромбов. Но с неогороженного участка воровали: кирпич, мешки с цементом, однажды пытались бетономешалку утащить, проволокли два метра и бросили —



тяжелая оказалась. Другая беда — козы: они забредали и съедали с грядок петрушку, капусту и салат. Пришлось отцу сделать этот уродливый горбыльный забор.

Просунув руку между досок, Настена повернула щеколду.

— Может, я здесь подожду? — спросила Танька.

— Да ладно, пошли. Дом покажу. Потом клубнику поищем. Может, еще осталось.

Она вкатила велик, бросила его на траву и дернула входную дверь дома. Закрыто.

— Надо с другого входа. Здесь отец иногда закрывает, когда в подвале работает. Чтобы чужие не вошли.

Они обогнули дом, облицованный светлым кирпичом, с грязноватыми, но уже застекленными окнами по первому этажу. Настена не любила дом: родители тратили на строительство все деньги, а ей хотелось иметь модную юбку, лосины перламутровые и куртку джинсовую, как у всех.

А вот огород, густо заросший сорняком, притягивал ее. Тонкие молодые яблоньки, на которых висели мелкие еще залепушки; аккуратно увязанные кусты малины с созревающими ягодами; большая неопрятная грядка клубники, листья которой местами пожухли, но еще можно было что-то найти. Она любила поживиться прямо с грядок, чтобы хрустела на зубах земля, чтобы ягоды были в легкой пуховой дымке, как бывает, когда только сорвешь. «Потом, — стойко решила про себя Настя. — Сначала обед отцу».

Другая дверь тоже оказалась заперта. Настена дергала и стучала.

— Нет никого. Пойдем, — сказала Танька.

— Да куда он мог деться-то?

— Может, уснул?

— Надо в окно заглянуть.

Взявшись с разных концов, они подтащили к окну лавку, заляпанную застывшим цементом. Высоты не хватало.

— Давай кирпичи класть, — решила Настена.

— Ну ты придумала.

Они таскали кирпичи и складывали в два ряда.

— На хрен я с тобой пошла? — бубнила Танька. — Могла бы дома тяжести потаскать.

Настена ее не слушала. Увлеклась. Ей почему-то показалось, что они сооружают космический корабль, который выведет их на околоземную орбиту. Первая ступень — стартовая, вторая — разгонная, третья — маршевая. Она смотрела вчера передачу про космос. Вот сейчас они построят свою ракету, и она понесет их в неизведанное космическое пространство.

Она влезла, придерживаясь за стену и осторожно покачиваясь, будто и правда была в невесомости, ухватилась пальцами за жестяной подоконник, подтянулась к окну, почти цепляясь за отлив подбородком, — и из темноты космического пространства выплыли две большие белые плане-



ты, испуганно качнулись и отпрянули, исчезая в сумраке. Перед тем как свалиться, она увидела над белыми шарами оторопелое женское лицо.

Кирпичи посыпались из-под ног, и Настена грохнулась, ударившись щиколоткой о лавку. Она отбила о землю себе весь бок, но боли не чувствовала, только задохнулась на пару секунд от какого-то понимания. Она лежала и не двигалась.

— Эй, ты че там? Убилась, что ль?

Настя молчала. Гудение заполнило голову и давило в уши.

— Баба у твоего отца. Пошли отсюда. Не откроют нам.

Она лежала и вглядывалась в траву, по которой ползла божья коровка. Захотелось сжать ее пальцами, чтобы хрустнул панцирь. Встала и взяла в руку ближайший кирпич.

— Разобью на хрен, — пригрозила она глухим голосом и отошла на два шага, замахиваясь, чтобы кинуть в окно.

Выглянул отец. Настя замерла с поднятым кирпичом и не знала, что делать. Она смотрела на отца. Он был другой, не ее родной и близкий, а какой-то чужой мужик, некрасивый, с мятым испуганным лицом, с неприятными складками вокруг рта, растрепанными короткими волосами. Но главное — выражение. Он смотрел на нее как на досадное насекомое, которое хочется раздавить. В его лице не было ни капли любви.

Мысль о том, что отец ее не любит, больно резанула Настю. Выступили слезы на глазах. Лицо отца исчезло из окна, и загремел отпираемый засов.

— Вы чего здесь? — спросил он, недовольно выглядывая из сумрака дома.

— Обед тебе привезли, — холодно сказала Настена. — Макароны по-флотски. С огурчиком. Держи!

Она кинула в него пластиковый лоток, но промахнулась. Лоток ударился о стену и открылся, макароны рассыпались по земле.

— Идите домой, — сказал отец.

— Мама приехала! — вся трясясь, крикнула Настена. — Что ей сказать — что не придешь? Что у тебя баба?

Отец растерялся. Лицо его расплзлось, как бесформенная половая тряпка.

«И как его можно любить?» — зло подумала Настена. — Он же урод!»

— Настька, это не то. Ты не понимаешь. Ты еще маленькая.

В голосе его была мольба и какая-то безнадежная усталость.

— А ты объясни!

— Я люблю вас с мамой. А это — другое, — тихо сказал он, и лицо его снова приобрело родные черты.

Они смотрели друг на друга. Дочь испепеляла отца взглядом. Но он не чувствовал или давно был испепелен.

— Уходите, — устало попросил он и закрыл дверь.

Настена оглянулась на Таньку.

— Ты же никому не расскажешь? — спросила она.

— Конечно нет.

— Ладно, пошли.

Всю обратную дорогу она молчала. Танька, наоборот, болтала без умолку. Видимо, ей и самой было неловко оказаться свидетельницей.

— Ладно тебе, ну подумаешь, другая баба! Мой вон дубасит мать. Я раз прихожу, а у нее вместо лица сплошная гематома. Так он даже не вспомнил на следующий день. Бывает, он ее бьет, бывает — она. Однажды табурет о его голову разбила, череп чуть не проломила, дура бешеная, как с цепи сорвалась. Так и живем. А у тебя что? Горе? Да ну, брось, смешно даже. Подумаешь! Все они кобели. Не один твой.

Настене хотелось толкнуть Таньку.

— Помолчи! — сдавленно попросила она.

Та обиделась и бубнила что-то невнятное. А Настена не замечала: она была как в невесомости, в открытом холодном космосе, которым вдруг обернулся взрослый мир.

Два дня Настя носила в себе тайну. Она измучилась, не могла есть, и сны снились какие-то дурацкие — будто она лежит в темноте и нечем дышать. Задыхаясь, она силится проснуться, но не может. И становится очень страшно от понимания, что она сейчас умрет.

Мама, видно, почувствовала, что с дочерью что-то не так. Во вторник вечером, придя с работы, она усадила Настену на диван, взяла за руки и спросила:

— Настена, доченька, что случилось? Расскажи мне. Я не буду тебя ругать.

Настена взглянула маме в лицо, расплакалась и все рассказала.

Мать с отцом долго спали в разных комнатах: мама — в детской, в спальне — отец. Настену он как бы не замечал и будто не чувствовал себя виноватым, даже, наоборот, винил в чем-то мать. Они часто ссорились на кухне, потом он уходил, хлопая дверью. Настена осторожно выбиралась из комнаты, садилась у маминых ног, обнимала ее колени и плакала вместе с ней, мысленно обещая себе, что никогда не позволит ни одному мужчине обращаться с ней так, как обращается с матерью отец. Она злорадно представляла, как отец летит в безвоздушном космосе, задыхаясь, и она может его спасти, нужно только протянуть руку. Но она отворачивается и думает: «Ты сам этого хотел».

Мысленная месть успокаивала Настену, а мама все плакала и плакала.

— Ну ты чего? Хватит уже реветь! — говорила Настена.

— А вдруг он не придет? — всхлипывая, отвечала мать.

Но отец всегда возвращался — как планета, летящая по орбите.

Александр ПИМЕНОВ

## ПОДЛЕ ВРАТ ОКОЛОЗЕМНЫХ

Один раз, лет десять тому назад, стихи Александра Пименова уже собирались напечатать в журнале «Сибирские огни», но как-то не срослось — в основном из-за вздорного характера автора. Досталось тогда и мне, как посреднику.

С Пименовым всегда было легко поцупаться на околопоэтической почве — даром, что ли, он тогда сам про себя написал в предисловии: «Литературными штудиями занимается с молодости, испытывая притом органическое отвращение ко всем творческим союзам и коммерческим игрищам вокруг русской словесности, самонадеянно полагая, что его собственные литературные произведения будут оценены по достоинству после смерти автора».

Вот, наконец, он и дождался. Взял да и умер год назад, как раз в день смерти Пушкина. Теперь, как это ни печально, стихи его можно оценить по достоинству.

...Формулируя языком Козьмы Пруткова, я бы сказал так: эволюцию некоторых держав уподоблю не растянутой, но сжатой пружине — каждый новый виток спирали плотно и удобно прилегает к предшествующему. Примерно по этой причине стихи русского поэта Пименова, которые были очень своевременны в 80-х и 90-х годах прошлого века, стали вновь весьма актуальными.

Его политические взгляды всегда были ядовитыми и пугающими, как клубок змей, запутавшихся в колючей проволоке. Но так называемая злободневность стихов Александра Пименова вовсе не в изоцирено рифмованной публицистике, на которую автор изредка сбивался и которая здорово отдаёт войлоком валенка. Дело тут, скорее, в схожести мироощущения разных поколений — старящихся людей конца прошлого века и представителей века нынешнего. Когда они, эти ощущения, начинают совпадать в области не добра, а зла, значит, вокруг нас снова происходит что-то не то. Собственно, разобраться в сути таких непростых явлений и пытался всю жизнь Александр Владимирович.

У большинства поэтов нетрудно восстановить процесс написания стихов просто по рифмам: вдруг в тексте выскакивает хо-



рошо рифмующееся, но совершенно чуждое слово, которое уводит творческого человека куда-то в другую сторону, к посторонним ассоциациям. Такие примеры трудно найти у Пименова — у него все слова, мысли и чувства связаны друг с другом и находятся на своем месте. Именно поэтому поэтические конструкции, возведенные им еще сорок лет назад, стоят до сих пор вполне неколебимо и убедительно.

Он всегда отличался чрезвычайной эрудицией, нестандартным мышлением и тягой к литературным экспериментам. Иногда впадал в полное баловство, а иногда уходил в темные глубины, так сказать, философского метафоризма, выныривая из которых иронизировал над самим собой:

**...Но в этом нет золотой простоты  
моих экзерсисов бедных, послеобеденных,  
Четырехстопным хореем, в ля минор  
и, скорее всего, в ритме вальса.**

Отпетый адепт регулярного стиха в зрелом возрасте позволял себе и верлибры, тогда как «открытые» и «простые» тексты, написанные в первой половине жизни, он принципиально не публиковал, как бы подразумевая, что этот багаж за спиной все равно никуда не денется, и демонстрировать «всякое старье» незачем. Так что тем, кто незнаком с этим литературным пластом, а читал лишь позднего Пименова, увы, может показаться, что автор — занудноватый циник с набором довольно однообразных и многозначительных монологов.

Самым неподготовленным читателям сквозь пименовские шедевры и экзерсисы иногда просто не продраться — будто бы начинаешь смотреть «Игру престолов» с третьего сезона, пропустив всю предысторию. Ведь не каждый сходу догадается, что во фразе «Но Боже, со святым Андреем Критским / Я, честно, основательно рехнусь!» подразумевается знакомство с Великим покаянным канонам, в строчке «Не так ли понят Митя, а там и весь роман?» — с романом Достоевского, а в восклицании «Аннекатрин, даешь конкубинат!» — с римским правом и личной жизнью популярной в прошлом немецкой актрисы.

К концу жизни Пименов все чаще стал использовать и обценную лексику, ничуть не стесняясь пассажей, при знакомстве с которыми многие ценители прекрасного раздраженно морщились, а литературные издания тут же заворачивали стихи. Характерным примером тому могут послужить его «переводы Шекспира» — сонеты в жанре низкого стиля, подписанные диковатым именем Влияний Шигзпир.

Чтобы придать повествованию некую пафосную ноту, стоит сказать, что Александр Пименов еще лет тридцать назад сумел



сформулировать много очень важных для меня мыслей и подыскать слова для многих непростых человеческих чувств, по причине чего я не написал нескольких серьезных стихотворений — дабы не повторяться. Вполне вероятно, что это касается не только меня: автора, в отличие от Новосибирска, всегда считали культовым поэтом в Омске и — особенно — в Томске, где он когда-то учился в университете.

И все же широкой публике он по-прежнему малоизвестен. Две трети творческого наследия Александра Владимировича сохранились только в рукописном и машинописном виде, а несколько десятков песен — на магнитофонных бобинах тридцатилетней давности. «У меня всё в голове», — так не без раздражения реагировал создатель на полезные советы, касаемые сохранения его архивов. И имел на это полное право, безусловно.

Чужая душа — потемки, но, наверное, можно сказать с определенной уверенностью, что с годами А. В. Пименов перестал в кого-либо (кроме Бога) и во что-либо верить, поэтому и занял оборонительный рубеж в своей провинциальной нише, припав к социальным сетям как к источнику жизни, — такая позиция оказалась для него одновременно и баттхёртной, и вполне комфортной. Но со стороны это выглядело, надо признать, удручающе.

Эту новую для него реальность как будто бы предчувствовал сам автор — еще задолго до расцвета Рунета он, как всегда афористично, сформулировал:

**Мечты сбываются, но столь карикатурно,  
Что ты проходишь, будто с ними незнаком...**

Здесь так и подмывает продолжить: «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком...», но Пименов в подобных случаях всегда мог с показной серьезностью одернуть, объяснив, что не всегда уместно вести себя легкомысленно и цинично.

Врач из поликлиники, оказавшийся тоже со своеобразным чувством юмора, сказал родственникам напоследок: «Не беспокойтесь, нет у него никакого цирроза, у него и печени-то больше нет».

Александр Владимирович двенадцать лет назад сочинил предисловие к моей книжке. Предисловия к публикациям мертвого человека писать сложнее, так что закончить свою речь о его стихах хотелось бы именно этими словами, переадресовав их ныне покойному другу и поэту: «Так устроено собственно искусство: необъятная вещь, от каждой запятушки при внимательном чтении ответвляется невесть что, каждый раз читаешь, по сути, новое. Так вот, тут это есть, я вам гарантирую. То есть тому, кто понимает, могу солидно сказать, сопровождая жестом ладони: да. Здесь есть. Таки да. Оно».

**Александр АХАВЬЕВ**

## 22 июня

Уснули мы в июне  
Чего-то накануне,  
Да ангелы, заразы,  
Не дали отдохнуть.  
Они меня спросили:  
— Вы тоже из России?  
Сегодня столько ваших,  
Случилось что-нибудь?..

1978

## I'll be back

Я приду только к Новому году,  
Как приходят из плена с войны,  
Как ныряют в зеленую воду  
Понимания и тишины.

Свежевымытый пол, холодея,  
Я поглажу босою ногой,  
Как приходит в ночи приведенье,  
Содрогаясь душою нагой.

Я вернусь, как прощенный изгнанник,  
Полумальчик и полустарик,  
В жизни видевший столько изнанок,  
Что забыл Настоящего лик.

Я войду в эти двери, как только  
Входит странник в желанный покой, —  
С безрассудною верой католика,  
Со своей неизменной клюкой.

...Лишь соседка недремлющим оком  
Подсмотрит в дверную щель:  
Кто-то ищет ключи под порогом —  
Кто он, чей?

1979



\* \* \*

Быстро приехали что-то:  
Вышла и к нам на перрон  
Зрелость — шикарная тетья  
Со страусиным пером.  
Буквами сохнут чернила,  
Кроя листа белизну.  
Душное лето сменило  
Весну.

В лавке у тысячелетья  
Лишь разменяй пятак —  
Вяжущий вкус сожаленья  
По языку потечет.  
И уходящая мода  
Нас овекает крылом,  
И продаются два дома  
На слом.

Слишком легко сожалая,  
Что отгорел фейерверк,  
В парке на главной аллее  
Мы разминемся в четверг.  
Что-то сродни ностальгии:  
Дескать, и юность была —  
Как говорится, такие  
Дела.

1989

\* \* \*

Архистратиг интеллигентов  
Живет на свалке монументов.  
Он скуп по части комплиментов  
И устрашающе рогат.  
Гостей встречая спертым духом,  
Аэропортом служит мухам  
И ловит запотевшим ухом  
Камнеподобный русский мат.

Кто доползет к его вертепу  
В тоске по думе там, по нэпу,  
Глядит, как Мотря на Мазепу,  
И ждет, когда архистратиг  
Насущную укажет книгу  
И в рифму ей покажет фигу,

Ковригу, иго и веригу  
Для начинающих расстриг.

Интеллигенты величавы.  
Они хотят любви и славы,  
Они уходят от облавы,  
Они играют на трубе,  
Они питаются невкусным,  
Они рыдают над искусством,  
Они блюют над кратким курсом  
Истории ВКП(б).

Верховный дух же этой банды,  
Помятый танком пропаганды,  
Хлебнувший спирта и баланды,  
Как не боится ни хрена:  
Клоками рвя седые власья,  
Вещает, во все дыры влазя,  
Что на обломках самовластья  
Напишут, дескать, имена.

Иной достойнейший мужчина  
Сидит высоко в нимбе чина,  
И торжествует дисциплина,  
И недовольные молчат.  
А пацанята, лет по сорок,  
Тая анархию во взорах,  
Решат под кресло сыпать порох —  
Бабах, и нету пацанят.

Или старейшину ошпарит  
Слюной подкравшийся очкарик  
И, очень может быть, отчалит  
В эквивалент сибирских руд.  
Чему их учат в институтах? —  
Идей немало есть и дутых!  
Пусть критикуют проституток  
За то, что дорого берут.

В борьбе с архангелом рогатым  
«Слуга царю, отец солдатам»  
Змеевиковым аппаратом  
Взогнал брожение идей,  
Вкусил продукт — и вышло глупо:  
Напился вытяжки из трупа.  
...На гладь пруда спустилась группа  
Отменно белых лебедей.

\* \* \*

В нас дремлют рабов эмбрионы,  
 Зачатые клеточкой страха,  
 Посланицей пятой колонны  
 Из мрака, из краха, из праха.

Под сердцем ворочаясь глухо,  
 Плод рабства растет — и с годами  
 Брюшком выпирает из брюха  
 И криком «ура» из гортани.

В тебе и во мне для опоры  
 Отыщут того человечка  
 Империи ржавые шпоры,  
 Республики талая свечка.

На горке лукуллы пируют,  
 Под горкой ландскнехты гуляют —  
 Тот факт, что рабы существуют,  
 На подвиги их вдохновляет.

Мы жмемся и думаем: цезарь  
 Грозит ущемлением прав —  
 А это наш собственный цензор,  
 Откормленный внутренний раб.

Уже продиктован планете  
 Неглупый спасительный метод —  
 А вы, извиняюсь, как эти!..  
 И я, извиняюсь, как этот...

1990-е

\* \* \*

Да был ли корабль? — не только как символ стихов,  
 Плохих, разумеется, тех, что бывают во сне лишь  
 Кошмарном, где, книжку свою покупая, краснеешь,  
 Где негром ступаешь на сходни с одним из тюков,  
 Где память чужая в тебе, посвященном, брамине,  
 Про год до зачатья... Возможно, он был «дураков»,  
 Поскольку, во-первых, во сне абсолютно прямые  
 Сцепления слов (то есть отдых большого ума),  
 Поскольку, в-четвертых, бесстыжая эта корма,  
 В которой дыру похотливые волны промыли...

Да был ли корабль, чьи трубы или паруса  
 Неискренне радовали пассажиров салона,  
 Где те времена возвышали свои голоса,  
 Которые только вчера еще были «сегодня»?

Да был ли тот айсберг на суше, и птицы в гробу,  
 И красным обитый салон, и его старожилы,  
 И тот материк, на который сошли пассажиры,  
 Чья вшивая кладь улетела в большую трубу?

Да был ли когда вообще на Земле Океан?  
 Скелеты судов догорают в глуши континента,  
 Давно населенного призраками россиян...  
 Ах, черное, красное море — тоска абстинента...

За годы до года рожденья — детали точны:  
 Знакомый район без меня и без нашего дома.  
 Река? океан? кашалот? осетры? пристипома?  
 Пяти- ли, шести- ли, семи- ли десятые сны?

Марксизм-феминизм, заседание муз во плоти:  
 Как сладко исполнены тупости, лжи и коварства  
 Суровые губки, в которые жгуче войти  
 Так хочется здесь же, на празднике Карлика Маркса...

Да был ли корабль, туан? Каннибальская знать  
 Поедет в европы, свои предлагая порядки,  
 А тем, кто остался на суше, уместно принять  
 По порции Конрада с тоником от лихорадки.

1990-е

\* \* \*

Пройдясь по жизненному гребню  
 И подуставши от основ,  
 Поэт спускается в деревню,  
 Ища отменно жирных слов.

Он чаёт освежить подкорку,  
 Обрести забвение обид...  
 А параллельно с ним под горку  
 Автобус драненький катит;

Не помышляя об удое,  
Бредут коровы под уклон,  
И все слои земной юдоли  
Лежат, как торт наполеон.

Увы! в деревне столько грубых:  
И мужики, и пацаны...  
А девки? Вместо русских юбок  
На них нерусские штаны.

Ползет на дерево железо,  
Тайгу по-своему кроит,  
Торчат наружу корни леса —  
И содрогается пиит.

Он издает подобье стона,  
В нутро нейдет ему еда,  
А рядом каркает ворона  
Свое шестое «никогда».

1990-е

\* \* \*

Старые люди, заложники радостных детств —  
Так это вышло — не нажили денежных средств.  
А молодые живут в ожиданьи тюрьмы.  
Скифы не скифы, но жители Азии мы.  
Скупой текущей из крана холодной водой  
Моются в очередь старенький и молодой,  
Каждое утро сморкаются, в дырку плюют  
И под гармошку дурацкие песни поют.  
И молодой отбирает у старого хлеб  
В кухне, где мух собралось, как в сортир или склеп.  
Старый согласен: он сам эту жизнь изобрел,  
Он выбирает привычно одно из двух зол.  
Связаны помыслы юного и старика  
Общим хотением женщины лет сорока,  
Общим почтением к вору, боязнь мента,  
Ну и т. п., в чем славянской души широта.  
Вымытый холодом, голодом, как на парад,  
Старый ведет молодого куда-нибудь в ад.

1991



\* \* \*

На вратах околземных  
Нет отлаженных приборов,  
Ни хрена сивиллизаций,  
Ни бренд-имиджа компании —  
Три-четыре измеренья  
Лишь да сопли метеоров —  
Только краешек пустыни,  
Непонимной доступанью.

Ни разученное в школах,  
Ни размученное в семьях  
Не относится к вопросу,  
Где тут верх и где тут мир;  
Человеку неча делать  
Подле врат околземных:  
У него на этот случай —  
Никакой ориентир.

Вся тоска причин и следствий  
В неразъемных сроду звеньях  
Заграждает влеты в гавань  
И приковывает к почве —  
И вратарь стоит серьезный  
Во вратах околземных:  
То ль при Царствии апостол,  
То ли Цербер на цепочке.

При вратах околземных  
Только солнца амплитуда:  
Раскаленный ходит маятник,  
Разрезывая мрак.  
Души щелкают, как воши,  
Все — туда, никто — оттуда.  
Ибо непреодолимо.  
Потому что с печки бряк.

А в тумане рабовластья,  
На манеже коллизейном  
Все вокрут меня петляет  
Злая острая звезда,  
И она меня возносит  
Ко вратам околземным  
Временами. Постепенно.  
Чаще, чаще... навсегда.

Вячеслав ЛЯМКИН

## ОТПУСТИ ЕГО НА НЕБО, ДУША...

П о в е с т ь

Поселок приютился меж двух полосок соснового бора, на краю райцентра. Построенный в начале восьмидесятых для работников рыбхоза, тянулся он последними домами к свалке, скрытой между пригорком и поймой реки.

В былые времена здешний рыбхоз гремел в округе. Но от прежнего здорового кипения жизни не осталось и следа: некогда прибыльное хозяйство во время неразберихи девяностых развалили, растащили на куски. Людей оставили без дела, землю сдали в аренду фермерам, пруды спустили, технику распродали.

Тихое болото рутины затянуло поселок. Будоражили однообразную жизнь только редкие свадьбы да похороны...

Первой почувяла недоброе бабка Илясиха, по старости лет не ходившая дальше своей лавочки. Приснился ей сон: березка склонила ветки к речке Фунтовке, а с листьев, словно слезы, потекли капельки воды.

Начали соседки гадать — хороший сон или плохой, а Илясиха шепнула:

— Ждите вдову.

Эхом разлетелось бабкино пророчество по поселку, а через неделю увезли на погост Михаила «Дороги»...

### 1.

Прозвище Михаилу дали мужики: во время гулянок он брал в руки гармошку и, склонив голову к мехам, прищурив один глаз, начинал наигрывать и тихо петь:

— Эх, дороги...  
Пыль да туман,  
Холода, тревоги  
Да степной бурьян.  
Знать не можешь  
Доли своей:  
Может, крылья сложишь  
Посреди степей...

Песня наполняла сердца людей грустью.

На звук гармошки приходила Мария, пыталась увести мужа домой. Пальцы Михаила быстрее начинали бегать по кнопочкам, и он проникновенно затягивал:

— Ох ты Маша, ох Петровна —  
Васильковые глаза!  
Далека к тебе дорога,  
Жаль, пешком прийти нельзя...

Мария, уперев руки в бока, на это отвечала:

— Что, коня тебе привезть? Щас, разбежалась! Подымайся, пошли! Михаил нехотя вставал, долго прощался. А после, следуя за женой, снова начинал насвистывать любимую мелодию, иногда выкрикивая: «Эх, дороги!..»

После сокращения в рыбхозе Михаил, отказавшись от предложения устроиться шофером в райпо, купил гнедую кобылу и весной пошел пасти коров.

Осенью или в зимние месяцы он чувствовал настойчивое внутреннее побуждение устроить на душе праздник. Выпьет и с улыбочкой, грудь нараспашку, пойдет по поселку. Без приглашения забредет в чужой двор, присядет на крыльцо, закурит сигарету, заведет беседу...

Кто-то относился к визитам Михаила снисходительно, иногда угощал его стопкой самогонки, а вот соседка Татьяна Дымова, боясь загулов мужа, прогоняла гостя веником, приговаривая:

— Мишка, паразит! Чего приперся? Иди лучше делом займись!

Жил Михаил бескорыстно. В детстве познав нужду, не стремился к накопительству, мог отдать последнее первому встречному.

Часы командирские — память об отце-фронтовике — подарил парню, что остановился помочь ему в морозный зимний вечер поменять проколотое заднее колесо на груженом ГАЗ-52. Отблагодарил так за помощь, сказав:

— Держи-держи, я знаю, они достались хорошему человеку!

В обновках Михаил чувствовал себя неловко и с нетерпением ждал момента, чтобы облачиться в привычную робу. А новой одеждой мог распорядиться по воле сердца.

Многие его осуждали, говоря, что в нынешнее время надо «бежать за рублем», а кто-то завидовал широте его души, умению легко отдавать, не оглядываясь назад, не задумываясь о завтрашнем дне.

Так и жил Михаил — неугомонный, со «своей философией», пока вдруг не начал по ночам задыхаться.

По настоянию жены пришлось ездить по больницам. Реже стали слышны «Эх, дороги!», а «Татарская» в его исполнении звучала с грустинкой. Да и не могло быть по-другому, ведь всю живность свел со двора: сил управлять уже не хватало.

Продал и лошадь с жеребенком. Когда приехали покупатели, долго гладил гнедую по белой звездочке на лбу, стараясь не смотреть в ее полные слез глаза. Сколько раз она выручала! Порой в пьяном бреду заснет Михаил в саних в лютый мороз, а лошадь, зная дорогу, привезет его домой. Один год, когда сломалась машина, пришлось запрягать кобылу в телегу и доставлять на ней солому с полей, чтобы зимой прокормить коров...

Проводив гнедую со двора, Михаил неделю заливал печаль хмельным зельем.

Потом его долго не видели. Бабка Илясиха, знающая все последние местные новости, говорила, вроде в больнице лежит.

Появился он на Успение, веселый, бравый. Полдня бегал по поселку, со многими поговорил. А вечером направился к соседу Ивану Дымову — тот как раз пришел с работы — и, не дойдя до калитки, упал на землю...

Проводить Михаила в последний путь пришло немало народа: и кто с ним работал, и кто жил рядом, и кто любил, и кто осуждал. Илясиха, приведенная под руки, долго покряхтывала, наконец потрогала покойного за ноги, чтобы не снился, и сказала:

— Мишка добрый был.

По обычаю гроб пронесли по улице, загрузили в пассажирскую «газель» и увезли на кладбище.

Поминальный обед устроили в столовой: меньше хлопот. В городах теперь зачастую и домой покойного уже не везут, а прощаются в специальных залах. От новых веяний незаметно угасает искорка таинства, исчезают те значимость и основательность, что веками сохранялись в традициях погребения и поминания. Село, деревня держат последний рубеж в сохранении душевности, хотя и здесь уже засматриваются на город. Но пока еще найдется тот, кто шепнет на ушко: «Родственникам гроб нельзя нести» или: «Стойте, вынесут из дома, после пойдете». И отыщется не боящаяся суеверий женщина, которая помоем пол после выноса.

С кладбища родные и близкие приехали к Марии домой. Долго сидели за столом в дальнем углу ограды, поминая Михаила. Заходили и те, кто не ездил на кладбище и не был в столовой: сосед Толик Куприянов, Ростик, одно время пасший с Михаилом коров...

Поселок прощался с человеком.

На следующий день дети разъехались. На прощание дочка пообещала приехать на полгода отцу. Мария понимала: с Севера далеко добираться.

На сороковинах к Марии подошла соседка Татьяна.

Накануне видела она во сне покойного Мишу и Андрюху Валенка, сгоревшего полгода назад от спирта.

— Вижу я, Маша, Мишка твой на гармошке играет, а Андрюха Валенок рядом вытанцовывает. Валенок машет мне рукой и говорит: «Танюха, иди сюда, с нами потанцуешь!» А я, не поверишь, оцепенела — ни ру-

кой ни ногой пошевелить не могу. Потом отпустило, я им говорю: «Ладно, ребятки, вы тут сидите, а у меня корова не доена!» — и проснулась.

— А я Мишу, Тань, вообще не вижу. Приснился бы, улыбнулся или пошутил... Изнывает душа! Покоя не могу найти.

Разбередив Марии душу, Татьяна ушла домой, а той полночи слез не утереть.

Поутру, решив развеяться, пришла Мария к бабкам на лавку. Принесла блинов.

— Садись, сердешная! — встретила ее Илясиха. — Ну, рассказывай про твое житье-бытье. Гостей проводила?

— Вчера уехали. Одна, баб Ань, осталась, реву белугой. Глаз сомкнуть не могу. Тяжко!

— Маяться прекрати! — дала совет Илясиха. — Хорош покойника слезами заливать. Держишь ты его, Машка, не отпускаешь. Отвлечься тебе надо. Поезжай к сыну в город, поживи!

— Думаешь? — засомневалась Мария. — Чего я им там мешать буду...

— Не к дядьке чужому поедешь — к сыну родному. Чай, не выгонит!

Поразмыслив над словами Илясихи, Мария решилась. Позвонила сыну и попросилась в гости. Не предупреждала о приезде, а спрашивала разрешения:

— Коленька, я к вам приеду? Попошу немножко?

— Мам, мы целыми днями на работе, Ритка в школе, а вечером у нее плавание... Будешь сидеть в трех комнатах и в телик пялиться! Ну, если горишь желанием, приезжай. А то скажешь — отговариваю...

И Мария начала готовиться к отъезду. Первым делом пристроила к соседям собаку Тяпку, единственную оставшуюся уличную живность. Татьяне Дымовой наказала поглядывать за домом и кормить иногда кошку.

Слила воду из труб, чтобы не заморозить систему: зиму обещали раннюю. Обвела взглядом покосившийся забор, обвитый хмелем, баньку в конце огорода с прохудившейся крышей — так и не дошли руки у Михаила до нее. Сыну Мария сколько раз говорила покрыть баню профлистом, а то совсем сгниет, но и ему все некогда — на работе аврал. Сарайки старые разобрать бы... Сдуру попробовала сама, да только ногу гвоздем пропорола.

Как ни крути, а мужская рука необходима. Первое время звала помогать Сергея, мужа сестры Нины. Сперва кран потек — приезжал менял, потом розетку на кухне починил, а затем Марии неудобно стало надоедать по пустякам. Знала — не откажут, но Сергею и в своем доме дел хватает. Наняла двух мужичков старые доски перепилить, да они в первый же день бензопилу угробили — заводиться перестала...

В ночь перед отъездом не смогла сомкнуть глаз. В одиночестве четко проявилось ее желание ощущать себя нужной, востребованной. Хотелось посвятить себя детям и внукам.



Ветер то стихал, унося свою неумную силу в поля, то снова неистовыми порывами гонял опавшие листья по улице, гулко ударял по старым воротам, терялся в вершинах деревьев, переходя в тихий шепот.

Постукивал по крыше дождь, приберегая свою мощь для пашни и пастбищ, раскинувшихся за околицей.

А Мария думала, правильно ли поступает... Надо ли ехать...

Иконка Божьей Матери из переднего угла безмолвно подсказывала: смирение — сильное лекарство.

Мария зажгла перед образами свечку, прочитала молитву за усопшего мужа. Но успокоение не пришло.

Кошка, заслышав шорох, оставила нагретое место за печкой.

— Ты чего соскочила? — бросила ей вслед Мария, накидывая на плечи пуховую шаль.

Спугнув мелкого мышонка, любимица Симка юркнула в подполье и оттуда пару раз мяукнула.

Свеча горела, и Марии казалось, сейчас загорит на кухне посудой Михаил, заваривая крепкий чай...

Вздрыгнула — действительно брякнуло на кухне. Не сразу дошло: кошка залезла на стол...

Мария достала из шкафа кофту, в которой последнее время ходил муж, и, уловив родной запах, уткнулась лицом в шерстяную ткань и разрыдалась.

— Сложно мне жить без тебя, Миша! — в отчаянии шептала она. — Что ты наделал? Бросил!.. Оставил одну на старости лет!..

## 2.

На сей раз калитка ударила по-другому. Точно, не ветер.

Звякнула защелка.

Соседка Татьяна, подоив коров, пришла проводить Марию на первый автобус. Присели на дорожку.

— Колька-то как поживает?

— Потихоньку. Сейчас на заводе при хорошей должности. Сноха Маринка там же трудится, только в бухгалтерии. Она его туда и пристроила.

— Дружно живут?

— Я шибко к ним не лезу. Самостоятельные. Нужды не знают — трехкомнатную квартиру в центре купили. Машину за полмиллиона себе позволили. Маринка в шубе ходит. И отдыхать раз в год за границу ездят. Хорошо все у сына, хорошо!..

— Ну и слава богу! А мой Андрюха — голь перекатная, опять на Север собрался. Я ему говорю, устройся в лесхоз — и при деле будешь!

В робком утреннем свете вышли из дому.

— Ты, Петровна, звони! За дом не беспокойся, приглядим. А то и вправду приживешься на новом месте... В городе-то чего не жить!

— Спасибо, Танюша! Приеду — обязательно позвоню. Не переживай, справлюсь. Ты про кошку, главное, не забудь!..

— Бог с тобой! Иди уж... — перекрестилась Татьяна и помахала рукой.

Еще раз взглянув в сторону дома, Мария горько вздохнула, смахнула непрошеную слезу и быстрым шагом направилась в сторону автобусной остановки.

Очертания промоченных и потемневших от влаги домов, бань, неуклюжих сараюшек, огородов, окаймленных зарослями ивы, казались расплывчатыми и, растворяясь в пугающей осенней мгле, превращались в безмолвных чудовищ.

У дамбы, соединяющей две улицы, ветер цеплялся за заброшенную контору; старенькую водонапорную башню, с перебоями снабжающую поселок водой; детский садик, проданный акционерами под квартиры; полуразрушенные гаражи и кочегарку; клуб с разобранной крышей — следы былого процветания.

Ржавую остановку осветили фары. Автобус, скрипнув тормозами, остановился. Дверь открылась.

Мария вошла и устроилась недалеко от входа. Поставив в ноги дорожную сумку, поправила на голове легкий беретик. От поселка до районного автовокзала минут двадцать езды.

— Теть Маш, далеко собрались? — окликнул ее шофер.

— К сыну, Леша, еду. В город...

— Надолго?

— Не знаю еще! — ответила Мария.

Народу на вокзале было мало. Ждать автобус до города оставалось недолго.

Поодаль стояли две иномарки: бомбилы набирали пассажиров.

— Место есть до города! Поехали! — предложил водитель в серенькой куртке.

Мария покачала головой. Бомбила, состроив недовольную мину, отошел, не стал настаивать.

Села на проходящий рейс из Романова. Кондуктор резким движением надорвала билет и указала в конец автобуса:

— К окошку садитесь!

Умостив сумку в проходе, Мария с трудом добралась до места. Полная бабенка в зеленом драповом пальто, явно ей маловатом, с ярким макияжем и со стертым на ногтях лаком, пропуская ее к окну, буркнула:

— По ногам аккуратней!

Автобус тронулся. Бабенка, широко расставив ноги, не оставив Марии пространства, разговаривала с женщиной, сидящей впереди.

Мария смотрела в окно. Проехали гостиницу, двухэтажки, заправку, замелькали деревья, и, как эти сосны, пронеслись перед глазами дни молодости...

Когда не стало мамы, Марии исполнилось четыре годика. Мама умерла после кесарева: врачи оставили в утробе кусок марли и начался абсцесс. Новорожденную сестренку назвали в память родительницы — Нина.

Отец Петр Петрович, мужчина видный, начал обустраивать личную жизнь. Женщинам он нравился. Семь мачех побывали у них в доме, но подолгу не задерживались.

Первая мачеха очень старалась упечь ребятишек в детдом.

Петр Петрович вышвырнул ее вместе с вещами на улицу, не прожив с ней и года, на прощанье обозначив свою позицию: «Детей никогда не брошу!»

Последнюю мачеху Мария невзлюбила пуще остальных: каждый раз, поругавшись с отцом, вздорная Анисья бежала и снимала с девочек ею сшитые платья.

После в их дом переехала баба Лена, теща Петра Петровича, и посвятила всю оставшуюся жизнь трем внукам: Маше, Рае и Нине.

Отец запомнился строгим и справедливым. Учил Марию отвечать за свои поступки.

— Ты старшая! С тебя спрос вдвойне! — говорил он ей. — Но главное — сестер береги.

Раз ей досталось ремня. По учебе нахватала двоек. Не хотела показывать отцу дневник с плохими оценками, завела новый, только с пятерками. Хороший дневник получился: по математике пятерки, по русскому пятерки, по остальным предметам пятерки. Отец смотрел и нарадоваться не мог, говорил:

— Учись, дочка! В институт неучей не берут! Неучи коровам хвосты крутят.

Может, ее проделка и осталась бы в тайне, но она перепутала дневники. Сдала классному руководителю на подпись поддельный экземпляр.

Отца вызвали в школу. Придя домой, он молча вытащил ремень из штанов и выпорол дочь, навсегда отбив охоту обманывать.

Петр Петрович работал главным инженером на ремзаводе. Как-то под конец года он сломал ногу и лег в больницу. Дело близилось к выздоровлению, когда позвонил директор и слезно попросил выйти на несколько дней — доделать отчетность. Петр Петрович согласился: он уже потихоньку мог ходить на костылях.

В обед, решив развеяться от бумажных дел и заодно проверить отгрузку угля детскому дому, вышел «прогуляться» по территории.

Декабрь выдался студёный, и туман от долго стоявших морозов в тот день, казалось, сгустился еще сильнее. Тракторист Иванчук, замерзший в накалившейся от холода кабине, потянулся за «сугревом», припрятанным за сиденьем, и не заметил Петра Петровича. Спихнулся поздно. Не смог остановить технику...



Казалось, протяни руку — и почерневшая от времени береза у окна снова станет молоденькой и стройной, а в жизнь Марии вернутся школа, замужество, рождение детей...

Но прошло время.

Вместо девчушки с осиной талией, звонким голоском и озорным взглядом в дребезжащем стекле пропавшего соляркой старенького автобуса отражалась женщина шестидесяти лет, угловатая, неказистая, с потухшим взглядом.

Сколько Мария себя помнила, она никогда не сидела в праздности. Возвращалась в поздний час из магазина, где работала, и дома находила занятия: готовила ужин, спешила подоить коров, напоить телят, полола грядки, стирала. Отдавая последние силы семье, не заметила, как ускользнула молодость.

За внешним видом, конечно, следила. Даже корову Жданку встретить пойдет — на скорую руку карандашом глаза намалует, ресницы подкрасит, в галоши прыгнет — и на дамбу, где пастух гонит стадо. В район-центр редко выбиралась, так хоть в поселке ходить не зачуханкой...

Отодвинув занавеску, Мария рассматривала проплывавшие мимо многоэтажные дома, торговые центры, автомобильные салоны, горожан, спешащих по делам. Давно не ездила в город, а он изменился...

— Эй, женщина, вы меня слышите? — бабенка в зеленом пальто толкала ее в плечо. — Конечная! С вами ничего не случилось? А то бледная вы какая-то... Вам помочь?

— Задремала, видно. Спасибо! Не беспокойтесь.

Бабенка, подхватив два тяжеленных баула, почти выпала из автобуса. В сумках звякнули банки. Мария вышла следом. Несколько мгновений обе стояли молча, определяя дальнейший путь.

— Вам куда? — машинально спросила Мария.

— На улицу Крупской. К общагам.

— Нам немного по пути. Давайте вашу сумку. Я с одной стороны возьмусь, а вы с другой.

Город встретил их шумом, непривычной суетой, ревом автомобилей. Накапывал дождь.

Поравнялись с киоском, где продавали беляши и чебуреки.

— Меня Люда зовут! — новая знакомая поставила сумки на тротуар.

Мария тоже представилась.

— Слушай, постой минутку. Покарауль, я мигом! — попросила Люда и направилась к киоску.

Марию сзади окликнули.

Она обернулась — перед ней, выставив руки лодочкой, стоял мальчишка-цыганенок:

— Тетенька, дайте сколько не жалко, на хлебушек не хватает!

Жалостливый голосок тронул душу. Мария покопалась в карманах плаща, сыпанула мелочи в протянутые ладони, и мальчишка исчез в толпе.



— Шныряют тут всякие! — бурчала вернувшаяся Люда, держа в руках горячий чебурек и пластиковый стаканчик с кофе «три в одном». — Пускай идут работать! Лоботрясы.

— На хлеб не жалко! — попыталась оправдаться Мария, но сама уже раскаивалась в поступке: на убывающую луну не подают.

— Нечего их поваживать. Ты думаешь, он хлебушек купит? Фигу с маслом! Вон побежал, сигареты в киоске поштучно возьмет или чупа-чупс — сосалку эту нехристианскую! — Люда примостилась на сумки и впиалась зубами в чебурек.

Заметив неодобрительный взгляд спутницы, пояснила:

— Диабет у меня. Иной раз ниче, а иногда как затрясет, в глазах потемнеет, хоть стой, хоть падай! Обязательно надо что-нибудь перекусить. Тетка моя вообще с аппаратом ходит, которым сахар в крови меряют. Упал уровень — сразу за стол, а иначе не выжить!

— На Крупской-то кто у тебя? — поинтересовалась Мария.

Жирный сок капнул Люде на штаны, тесно облегающие полные ляжки.

— Дочка старшая в педу учится, — она попробовала затереть следы от капель салфеткой. — На учителя начальных классов. Провиант ей везу да денжат маленько. А то аж в середине августа уехала и домой больше не показывалась. Только по телефону говорим... Их у меня, вообще, четверо. Еще две девчонки и пацан...

Люда зашвыркала, обжигаясь горячим напитком.

— А ты че тут?

— Родных приехала навестить.

— Хорошее дело. С родными нужно связь держать. А то вдруг деньги занимать придется... Ха-ха! Че смотришь? Смех смехом, а шуба кверху мехом. Вон у Васьки, мужа моего, брат в Новосибирске живет, у него свой бизнес. Два раза — на день рожденья и на Новый год — созвонятся, и то ладно. А я говорила: звони, в гости зови, общайся — вдруг пригодится! И что ты думаешь? Верке поступать, а у нее балл по ЕГЭ средний. Я и говорю своему: звони брату, у него связи в комитете образования. Ну и завертелось! Нам потом из районной администрации позвонили, говорят, приходите, мы вам целевое направление предоставим...

— Трудно с четырьмя-то? — спросила Мария. — Время сейчас такое...

— Ничего, справляемся. Скотиной обзавелись. Хорошо, мой на тракторе работает. Всегда сена привезет, соломы. В лето кормим, в зиму колем. Кого на еду, кого на продажу... Слушай, подожди еще минутку, я в кустики отлучусь, а то не дойду! — вдруг засуетилась Люда и, вручив Марии недопитый кофе, нырнула в проулок.

Мария разглядывала мемориал воинской славы на площади у автовокзала, когда к ней подошла цыганка.

— Ай, дорогуша, вижу, горе у тебя! За пятьсот рублей всю правду скажу!

Смуглая девица сверлила ее острым взглядом.

Розовая бумажка сама собой оказалась в руках Марии и тут же скрылась в черной куртке гадалки.

Цыганка взяла Марию за руку и потянула к себе.

— Вижу, дальняя дорога тебя ждет. Неприятностей много! Дом ты продала... Денег заняла мужчине... Высокий такой. Возвращать не хочет... Пятьсот рублей надо! Сделаю так, что завтра же принесет обратно!

Марии чудилось, что ворожея рассказывает ей про ее Мишу. «Надо же, какая сердобольная женщина! — думала она. — Сразу увидела, что у меня на душе!»

Еще одна розовая купюра с изображением Архангельска скрылась в кармане кожаной куртки.

Цыганка водила своей шершавой рукой по ладони Марии, продолжая смотреть той в глаза.

— Будет тебе туз козырный! — вещала она. — Удача тебя ждет. Самое главное — не спугнуть ее! Ждет тебя прибыль в конце недели. Приманить надо. Для этого тысячу не пожалей! Троекратно вернется тебе твоя щедрость.

Купюра с изображением Ярославля перекочевала в руки цыганки.

Но вдруг лицо гадалки исказилось неприятной гримасой.

До Марии, словно издали, донесся голос Люды, которая громко бранилась.

— Ах ты, чума страшная! — Люда еще издали увидела картину выживания денег, на ходу скинула пальто и, подбежав, начала хлестать им цыганку. — Подзаработать решила?! Как-нибудь проживем без твоих гаданий! Изыди, нечистая!

Ворожея отскочила в сторону и зашипела:

— Прокляну! Порчу наведу!

— Я те наведу! Я тебе сейчас такое наведу... — И Люда обеими руками вцепилась в волосы мошенницы.

Мария, стоявшая до этого словно в оцепенении, кинулась разнимать рычаще-кричащий клубок из двух женщин, забыв о правиле: двое дерутся — третий лишний. В этой неразберихе ей досталось по макушке, слетел беретик...

Кое-как Марии удалось оттащить Люду в сторону. Цыганка, плюясь и посылая им проклятия, ретировалась в сторону привокзального рынка.

— Чего ты с ней сцепилась? А вдруг, и правда, наведет порчу какую!

— Думаешь, я ее боюсь? У нас в соседях цыгане живут. Два раза коней со двора сводили! Натерпелись мы от них, пока я вилами Яшку к стенке не приперла. Его баба мне с тех пор каждый день сулит всякие гадости. Ничего, жива, как видишь!.. А ты чего уши развесила? Много она из тебя вытащила?

— Пустяки. Пойдем, не стоит с ними связываться...



— А улица Крупской отсюда недалеко? — спросила Люда. — Верка вроде объясняла. Говорит, от вокзала прямо, дорогу перейти, в сторону танка повернуть и на проспект... Красногвардейский, кажется...

— Красноармейский, — поправила ее Мария. — Потом направо. Следующая после Молодежной.

— Верка у меня самостоятельная! — похвасталась Люда. — С детства к труду приучена. Поступать собралась, я ей сразу сказала: «Доча, езжай! Мы с отцом вытянем твою учебу. Хоть кто-то у нас с образованием в семье будет!» Младшенькие детки сейчас на нее смотрят и тоже начали к учебе интерес проявлять...

В кармане у Марии зазвонил «сотик». Голос сына звучал гулко, взволнованно:

— Мам, ты доехала? Встретить не могу, на работе занят... Возьми такси.

— Коленька, не беспокойся! Адрес знаю, доберусь. Не переживай, делай свои дела.

— Кто звонил? Сын? Учится? — поинтересовалась Люда.

— Сынок. Он у меня взрослый, у него семья, работа. Отучился уже. Тоже, помню, баулы ему собирала!

За разговорами и дорога показалась короче, и тяжесть сумок почти не чувствовалась. У общежития Люда спохватилась:

— Слушай, я тебя задерживаю? А то иди, я уж тут сама справлюсь!

Мария ее успокоила:

— Да брось ты! Тут осталось-то...

С новой знакомой она немного отвлеклась. Если честно, не хотелось ей, приехав к сыну, оказаться одной в четырех стенах. Николай с Мариной на работе, внучка, наверное, уже ушла на учебу, поэтому Мария, как могла, тянула время. Да и с Людой было легко общаться, хотя на первый взгляд та ей не понравилась.

— Надо позвонить, спросить. Кажется, первый корпус, — сказала Люда.

Она достала телефон.

— Не отвечает! На парах, наверное. Пойдем спросим на вахте. Может, и без нее пустят?

На улице стоять было зябко. Хоть дождик и перестал капать, но от сырости по коже бегали мурашки.

Вахтерша пила чай.

— Извините! Скажите, дорогуша... Заботину Веру нам надо увидеть! — выдохнула Люда, тяжело опустив сумки на кафедру.

— А вы кто? — в голосе женщины, на вид немного помладше Марии, проскользнуло недовольство. Ее оторвали от приятного занятия.

— Мать я ее родная! Может, поднимусь, подожду ее, супчик сварю? А то прибежит с учебы голодная...

— Сейчас гляну. Заботина... Вера Заботина, — вахтерша водила ручкой по журналу и вдруг, подняв глаза, сказала: — А она еще в начале месяца съехала.

— Да я же с ней на днях разговаривала! Как такое может быть?

Вахтерша пожала плечами:

— Без понятия.

— Адрес не оставила? А причину хоть сказала? Почему не выяснили?! У вас ребенок пропал, а вы «без понятия»! — возмутилась Люда.

— Женщина, не шумите! Это для вас она ребенок, а к нам взрослые люди приезжают, — вахтерша нахмурилась, готовая принять бой. — Подождите, видите вон ту девушку? Вроде они в одной комнате жили... — И она окликнула худенькую девчонку, проходившую мимо: — Настя, постой минутку! Где сейчас Вера Заботина?

У девчушки оказалось доброе, открытое лицо в конопушках. Она сразу отвела глаза в сторону, замялась, покраснела. Видно, врать еще не научилась.

— Они с подружкой на квартиру съехали, — залепетала сбивчиво. — Живут в районе вагоноремонтного завода. Вера на работу устроилась — торгует сотовыми телефонами на Старом базаре...

— В смысле, она учебу бросила?! — Люда обомлела. — Ох, я ей задам! Мне бы только до нее добраться! А мне чесала: «Мама, дела идут хорошо, педагогика уж так нравится!» Ах ты...

Люда не совладала с эмоциями — выругалась смачно, иной мужик постесняется подобное сказать. Но сразу извинилась. Немного успокоившись, попросила:

— Можно мы сумки у вас здесь на время оставим? Сегодня или завтра заберем.

Вахтерша, подумав, согласилась, но предупредила:

— Моя смена кончается в двадцать ноль-ноль. Если не успеете, то спросите потом у напарницы. Я ее предупрежу.

На улице Люда опять разбушевалась:

— Ну и где ее искать? Поехали на базар. Вот как она могла?! В голове не укладывается... Может, случилось что? А? Скажи свое мнение!

Мария растерянно пожала плечами.

На Старом базаре многое изменилось. Мария вспомнила, как в девяностых они приезжали сюда с детьми покупать одежду и обувь к школе. Прохаживались между торговых палаток. Мария приценивалась, всегда торговалась:

— Если будем брать, двести скинете?..

До сих пор живы ощущения от этих путешествий в город — сродни праздничным. Особенно радовались ребятишки: не каждый день ездили за обновкой, а если родителям удавалось хорошо поторговаться, то еще и на мороженое деньги оставались.

Сейчас Мария оглядывалась по сторонам и удивлялась. Повсюду модные магазинчики с яркими витринами.

Люда с трудом поспевала за спутницей, то и дело останавливалась, прикладывала руку к боку. Дышала тяжело, будто загнанная лошадь, но продолжала путь.



В дальнем закутке наткнулись на вывеску: «Сотовые телефоны и аксесуары. Ремонт. Обмен».

Зашли в помещение, где в ряд тянулись отделы: в первом продавалась канцелярия, во втором — посуда, в третьем по счету — телефоны... Дальше Мария уже не смотрела. Она обернулась к спутнице, которая заметила дочь еще от входа, и успела негромко сказать:

— Люда, не горячись!

Но тут же была отодвинута в сторону.

Вера — полная противоположность матери: высокая, статная, — точно не ожидала увидеть ту перед собой:

— Мамуль! Ты?!

— А то кто ж! — Люда, подбоченясь, встала напротив прилавка. — Ничего не хочешь объяснить, красотуля? Значит, я с полными сумарями за столько верст еду к дочери родненькой, а она даже на телефон ответить не соизволит! Чего молчишь?!

Вера поначалу растерялась, но быстро оценила ситуацию и сказала:

— Идите на улицу. Я сейчас.

Закрыв отдел и повесив табличку «Перерыв тридцать минут», она вышла за ними.

— Ты сумки в общаге оставила или на вокзале? — спросила у матери.

— В общаге. Хорошо, Мария помогла! Одна бы я сроду не нашла — город не знаю.

— Поехали, заберем. У меня переночуешь, завтра уедешь.

— Может, объяснишь наконец, что случилось? Правду вахтерша сказала — ты учебу бросила?

— Мам... — Вера посмотрела на Марию.

— Да говори уже! Не таись! — Люда остановилась в ожидании ответа. — Ну!

— Я беременна.

Марии было неловко оттого, что она стала свидетельницей такого откровенного разговора. Поэтому и шла поодаль от спутниц, намеренно замедляя шаг. Но Люда то и дело останавливалась, и расстояние снова сокращалось. Если бы не сумка, за которой нужно было вернуться в общежитие, Мария давно бы оставила новых знакомых наедине.

— Калганом своим надо было думать, а не энным местом, когда в койку ложилась. Презервативы-то знаешь для чего придумали...

Мария смотрела на Веру и переживала вместе с ней. Девчонка, одетая в легкую курточку, то и дело оголявшую поясницу, шла молча. «Так и почки недолго простудить», — думала Мария, невольно слушая не унижающуюся Люду.

Остановились на трамвайной остановке.

— Кто отец, спрашиваю? Что молчишь?

— Матвей... Мы с ним в клубе познакомились... У него иномарка, он делом занимается...

— Тоже мне, нашла перед кем ноги... А Толик как же? Что соседи скажут...

— Мама!..

— Что «мама»?! Мама, значит, из последних сил бьется, дочку в городе учит, а она...

— Я работать буду! Матвей обещал помочь...

— А жениться он не обещал?!

— Если ты переживаешь, что я сяду вам на шею, то не беспокойся. Мне от вас ничего не надо, сама справлюсь! Как-нибудь подниму ребеночка на ноги.

— Сейчас без образования даже полы не берут мыть!

— Я на заочное перевелась...

— Мать честная, и в кого ты у меня уродилась!..

Забрав сумку и распрощавшись с Людой и Верой, Мария дошла до остановки, долго сидела на потертой, изрисованной скамейке, ожидая автобус, и размышляла, как много таких наивных девчонок, как Вера, приезжают из деревни в город и у них начинается кружиться голова от свободы. Она искренне надеялась, что Люда с ее взрывным характером простит дочь и станет ей помогать. И что все у них будет хорошо.

Потом Мария переключилась на себя и думала, чего же ей надо — одиночества, или общения, или чего-то другого... Невольно заметила: прохожим никакого дела до нее, их не волнует ее облик и тем более состояние души. Безразличие горожан было ей в диковинку.

Снова позвонил сын. Сказала, подъезжает.

К автобусной остановке подошла женщина с двумя ребятами: девочкой лет одиннадцати и мальчиком, которому на вид было годика четыре. Дети держались за руки. Мальш, не переставая, капризничал, пытался вырвать свою руку у сестры. Девочка его одергивала, морщила носик, крепко держала брата и не отпускала.

«Возраст, когда дети больше всего нуждаются в маме!» — пронеслось у Марии в голове, и она представила своего взрослого сына и дочь, уехавшую жить на Север. Оставила доченька ее одну, свила гнездышко где-то в чужих краях, видятся они редко, в лучшем случае раз в год. А может, Марии вернулись теперешним одиночеством слова, неоднократно повторявшиеся ею при детях: «Вот выучим вас и для себя с отцом проживем, а то все на вас тратимся!» Так и получилось: дети выросли, обзавелись своими семьями, и они с Михаилом большую часть времени проводили вдвоем. Живя для себя, стали больше ценить путь, пройденный вместе, но нет-нет да замечала Мария, что с нетерпением ждет звонка дочери или когда приедет сын и привезет внучку. И вспоминались эти, сейчас казавшиеся глупыми, слова, и думалось, как такое могло прийти в голову. Если, не дай бог, случится какое несчастье, то она последнее отдаст, чтобы помочь детям!



### 3.

Дверь открыла Рита, держа в руках мобильник, в наушниках — слушала музыку. Обняла бабушку:

— Бабуль, располагайся! — Взяла у Марии сумку и поставила на тумбочку в прихожей. — Есть чего вкусенького?

— Я там тебе конфеток собрала, яблочки.

— Чай поставить? Будешь?

— Попозже. Ты уже из школы?

— А? — Рита освободила одно ухо.

— Вы что, уже отучились? — повторила Мария.

Рита отмахнулась:

— Нет, сегодня конференция, мы не учились. Сейчас девчонки придут. Уроки сделаем, потом на треньку поедем. Родители к семи вернутся. Давай я тебе телик включу?

— Не надо, я просто посижу. Пообвыкнусь. Как там отец с мамой?

— У отца завал на работе. Проверка на проверке. У мамы отчеты.

Короче, я сама по себе.

— Бедная моя девочка!

— Чего, бабуль, я бедная? Наоборот — в кайф! А то сейчас немного освободятся — и начнется: учи то, учи это! А то ты их не знаешь! Все хотят, чтобы их дочь профессором стала. Репетитора наняли по английскому.

Немного поболтав с бабушкой, Рита ушла в комнату заниматься своими делами.

Мария начала разбирать сумку.

У сына в квартире хорошо. Печку топить не надо. Рита сказала — евроремонт, а кажется — комната в музее.

Когда сын и сноха пришли с работы, все вместе сели ужинать.

Сноха Маринка приняла свекровь любезно, но без энтузиазма.

— Мария Петровна, крепитесь! Не вы первая, не вы последняя.

— В доме воду слили? — спросил сын.

— Слила. Ведрами потихонечку вытаскала, — ответила Мария, разглядывая морщинки на лице сына.

Заметила на висках седые волосы, в точности как у отца. Повзрослел Коля.

— Про памятник не узнавала?

— Заходила, смотрела. Стоят и по десять тысяч, и по двадцать. К весне закажем, ко дню Мишиного рождения. И земля успеет осесть.

— Можно здесь взять. В выходные съездим, дом проверю. Вещи теплые заберем, телевизор со стиралкой...

— Ты помнишь, папа просил ему помочь забор на даче поправить! — вставила Маринка. В ее голосе прозвучала претензия. — Уже вторую неделю ждет...

Мария поспешила ее поддержать:





— Сынок, да мне не к спеху. Лучше съезди помоги свату. У меня плащ теплый, на первое время хватит. Успеем еще!

Марии хотели постелить в комнате, где спали сын со снохой, но она воспротивилась, изъявив желание лечь в зале на диване.

— Что я вас буду стеснять!

Угловой диван был немного жестковатым, и она долго не могла к нему привыкнуть.

Мария взяла на себя готовку. К приходу домочадцев обед или ужин старалась подать горячим. Маринке, как выяснилось, не угодишь. Та еще фифа — то ей салат крупно порезан, то котлеты кажутся не прожаренными. И во всем так. К машинке стиральной лучше не подходить: автомат какой-то. Потом Маринка и вовсе стала говорить:

— Мама, ничего не готовьте, не надо. Я приду с работы, заранее закажу пиццу, роллы и суши. Сразу с доставкой на дом. Вам обязательно понравится! Ритка обожает!

Или еще хуже: придет с работы, принесет с собой шаверму какую-то. «Тьфу, гадость!» — отплевывалась Мария.

Она первое время обижалась на сноху, а потом успокоилась. Пусть живут как хотят.

Николай старался не спорить с женой. Маринка им правила, и он чаще всего молчал, зная строптивый характер супруги.

Да и Мария чувствовала, что оказалась обузой. Сыну хватало забот на работе, оттого и матери времени уделял мало. «Жизнь такая, не мы такие», — повторяла про себя Мария. Все бегом, бегом в погоне за копеечкой. И оглянуться некогда — боязно: вдруг потеряешь возможность заработать. Все это она понимала.

Вскоре Маринка начала заводиться по пустякам. Начали они ссориться с Николаем на ровном месте.

Мария переживала. Попыталась поговорить с сыном.

— Пройдет, мам, не беспокойся!

«Мне бы крайней не остаться», — думала Мария, но к молодым не лезла. Пусть сами разбираются.

Николай возвращался с работы поздно, принимал душ, ужинал и уходил к себе в комнату. То ли избегал общения с матерью из боязни заговорить об отце и разбередить ее душу, то ли действительно уставал и ложился спать.

Марии интересно было следить за Ритой. Вспоминала себя в этом возрасте. Присматривалась к внучке и все больше убеждалась: не в их породу пошла, видно, Маринкина захлестнула.

У Риты одно занятие — от «нокии» взгляд не поднимает, и только и слышно: «Эйвон» помаду да тени выпустил. У Марии в ее годы другие заботы были...

После смерти отца забот сестрам досталось поровну. Первокласснице Нине строгая баба Лена поручила приносить дров на три печи: на русскую, на голландку и на контрамарку — высокую круглую печь, обернутую железом, посреди дальней комнаты. Рае досталась работа по кухне.

Ремзавод обязательства по отношению к сиротам выполнял вовремя. Когда завозили уголь и дрова, приходил работник и стаскивал все в углярку. Корм для коров и овец сваливали перед оградой. Но даже при этой помощи работы по хозяйству, возложенной на Марию, оставалось изрядно: вычистить из стайки назем, задать скотине сена на ночь, по ведру жома поднести. Иной раз бабка Потаниха жалела сиротку и отправляла своего сына Серьгу, Марииного одногодка, помочь вывозить навоз. А потом Мария шла и помогала Серьге.

У Потаниных огород спускался под уклон. Нагрузят ребята полный капот от «зилка», приспособленный под возку помета, сверху бычью шкуру постелют — и большей радости, чем на назем под горку скатываться, не найти.

Однажды весной баба Лена уехала в Кучук\* к родственникам. Разыгралась метель, и она припозднилась. Тогда Марии в первый раз пришлось самой доить корову. Рыжий телок с белой звездочкой на лбу, с тупыми рожками, жалобно и надрывно мычал в загоне. Мария взяла литровую эмалированную кружку и подступилась к строптивой Зорьке...

Учились понемногу хозяйничать. Баба Лена по выходным затевала стряпню. Налепит булочек, а когда теста останется немного, вдруг взмахнет руками:

— Меня ж Потаниха звала, давление ей смерить нужно! Я мигом. Если задержусь, достряпайте. Яичком смажьте — и в печку. Да смотрите в оба, а то пригорит! Переворачивайте противень.

Уже тогда в маленькой Маше зарождалась взрослая, родительская любовь, недополученная ею самой, заставлявшая ее крепко обнимать младшенькую Нину и петь колыбельные, учить сестру выговаривать букву «р». Произносить не «улиса» и «кулиса», а нормально — «улица» и «курица». И радоваться, и смеяться вместе, когда Нина, завидев друга отца — Сергача, кричала ему:

— Дядя Сер-р-режа! Тр-р-рактор-р-р!

И это «р» раскатисто летело по улице, звонким детским голоском врывалось в уши и получалось таким длинным, что на лицах у всех присутствующих широко растягивалась улыбка.

На школьные собрания к Рае и Нине ходила тоже Мария. Напускала строгий вид, хмурила брови, внимательно слушала наставления и замечания и по дороге от школы до дома старалась их не забыть, чтобы передать слово в слово бабе Лене...

\* Кучук — село в Алтайском крае.

— Бабуль, нам тут древо семьи задали сделать! — Рита, жуя жвачку, дула на недавно покрашенные ногти. — Не поможешь?

— Чего еще выдумали?

— Ну, надо рассказать о предках. Вкратце. Год рождения, чем занимался... Ну ты поняла.

— Кто вас так мучает?

— Училка по обществознанию. Вторая с начала учебы пришла!

— Чего это они у вас как штаны на глисте?

— В смысле?

— Говорю, почему не задерживаются?

Внучка пожала плечами:

— А я почему знаю! Говорят, денег мало платят... Первая, Лариса Анатольевна, в торговый центр устроилась трусами торговать, а говорила, уезжает в другой город.

— Ладно, с кого начнем?

— Про дедов я немного знаю. Давай с прадедов!

Мария вдруг улыбнулась.

— Ты чего, баб? — спросила Рита.

— Вспомнила. Когда папаня твой родился, Наталье, нашей старшей, пять лет исполнилось. Она с дядей Васей приехала на сенокос за отцом и, пока бежала к нему, кричала: «Папка, братишка Гришка родился!»

— Братишка Гришка? Забавно! — улыбнулась Рита. — Отцу бы пошло!

— Ты записывать будешь или запомнишь? — спросила внучку Мария. И продолжила: — По отцовской линии прабабушка Анастасия Тимофеевна и прадед Иван Яковлевич... Они из Рогозихи. Баба Тася работала поваром, дед Ваня — мастером леса. После войны дед Ваня окончил Бийский лесхозтехникум. По распределению его направили на работу за Обь, в поселок Партизанский. Баба Тася однажды призналась: Мишу тяжело рожала. Говорила: «Неправильно пошел». Дед Ваня посадил ее в лодку, и они поплыли к повитухе в ближайшую деревню. Надорвалась она тогда, но, слава богу, родила. А когда обратно плыли, как потом каялась, хотела грех на душу взять — утопить сына в реке. Думала, не нужен четвертый мальчишка, девочку ждали. Но дед Иван Яковлевич не дал, прикрикнул на нее. Чувствовал, что доброе сердце в маленьком комочке, да и нагледелся он за войну этих смертей — долго во снах убитые снились. А случись тот грех — и вы бы не родились. На берегу Ини\* несколько кордонов лесничих стояло. Миша рассказывал, без света жили. По нужде в траву, говорит, присядешь — обязательно ужонка спугнешь, а Иван Яковлевич однажды рано утром на работу встал — а на печи гадюка греется. Хорошо, ребяташки еще спали. Он их по одному с печи снял, в комнату перенес на руках...

\* Иня — река в Кемеровской и Новосибирской областях России, правый приток Оби.

— Бабуль! Бабуль! Ты расскажи, вы с дедом долго дружили? — Рита записала несколько предложений в тетрадь.

— Да какой там дружили! Я Натальей забеременела, а его в армию взяли. Перед родами вызвали. Ивану Яковлевичу, как фронтовику, в военкомате на уступку пошли. Летом свадьбу сыграли.

— А дальше?

В голосе Марии, увлеченной рассказом, зазвучали грустные нотки.

— После свадьбы у свекра осталась жить. Михаил в армии. Наталью родила. В новой семье большой любви не чувствовала. Не раз просилась к бабе Лене обратно. Но бабушка не жалела, назад отправляла: «Живи у свекра! Будь на виду! А то начнут говорить...»

Дом у Поповых холодный оказался. Вместо фундамента — завалинка из опилок. Печка одна, русская, без водяного отопления. За печкой в маленькой комнате спали Иван Яковлевич с Анастасией Тимофеевной — в ней теплынь. В зале их другой сын Сергей с женой Любой и годовалым Женей разместились, а я с Натальей — в дальней комнате. В валенках по дому ходили, обогреватели не спасали. Забот хватало: меня оставляли с детьми, а еще мужики на обед придут — накормить надо, прибраться, пеленки постирать... Раз, когда все разошлись, я дочку унесла за печку погреться, повозиться с распеленатой. Тут вернулся Иван Яковлевич: документы дома оставил. Увидел Наталью в их запечье, ничего не сказал. А вечером заявил Анастасии Тимофеевне, что спать они будут отныне в дальней комнате. А меня с дочкой переселили в маленькую. Ох, и противилась же тогда свекровь!..

Рита внимательно слушала.

— Запоминай, внученька! По отцовской линии закаленные судьбы — до сих пор от них жар идет, кажется, только из кузнечной печи достали. Дотронешься — обожжешься! И за землю родную они боролись, ухо приложишь — до сих пор стонет.

— Дед Ваня мне прадед. А прапрадед кто?

— Поповы — пришлые казаки с Урала. Яков — деда Вани отец, четырежды георгиевский кавалер, бежал от большевиков на Алтай. Но и здесь его нашли. В тридцатых годах, отобрав заслуженные регалии, именную шашку, отправили в ссылку в Приморье, на угольные шахты. Осталась Лукерья, жена его, с пятью малыми детьми. Говорят, Яков писал жене из ссылки, звал ее ехать на поселение. Но Лукерья — женщина малограмотная, но по-женски рассудительная — пожалела малых деток и осталась на прежнем месте.

— Ну а потом? Яков вернулся?

— Сгинул в чужой земле. Дед Ваня — старший из детей. Помощь матери во многом легла на его плечи. Потом случилась война. Ранение, контузия, долго мыкался по госпиталям, но домой возвратился.

— А по баб-Тасиной линии?

— Только про деда Тимоху знаю. Это Анастасии Тимофеевны отец. Про него в газете районной писали. Их, семерых зажиточных кулаков, в

лагеря под Магадан отправили. Он рассказывал: дочка начальника лагеря на него глаз положила и определила работником на кухню. Он картофельные очистки воровал и ел. Если бы не она, говорит, помер бы. В пятьдесят третьем, после смерти Сталина, вернулся. А в девяносто первом, при Ельцине, приказ пришел — реабилитация.

Бабка Серафима с пятью ребятишками осталась, когда его репрессировали. Тяжело одной! Сошлась с одним мужичком, дочку от него родила. А когда дед Тимоха вернулся — ему уже под шестьдесят стукнуло, — родили еще двоих. Мы часто к деду ездили. Помню, выйдет он с костылем, на лавочку присядет... Перед смертью уже многих не узнавал.

— А по твоей, бабуль, линии, кто у нас?

— Ну про прадеда Петра ты знаешь: его трактором придавило... Мать его старенькая, Домна, коротала деньки на соседней улице. Я бегала к ней с горки отогреться, она угощала меня горячим чаем с конфетами. С трудом передвигалась по избе, рассказывала про свою нелегкую долю и уговаривала остаться на ночь. Я оставалась: конфет-то еще целый кулек. А раз прибежала, а она конфет не успела купить, — и не стала у нее ночевать. Она сильно обиделась.

У Домны сыновья как на подбор — красавцы. Фотографии у меня лежат. Старший смуглый, в фуражке с красной звездой, в кожаной тулупе. Домна говорила, комиссаром служил. Второй — летчик, третий — танкист. Отец наш — самый младший. Домне на трех сыновей в один день похоронки пришли. Ноги сразу отказались ее слушаться. Зубы выпали. А волосы остались черные, ни один не поседел. После войны мужики, отправляясь на работу, уносили Домну за деревню, закапывали в горячих песках — она отогревалась, — а вечером откапывали обратно. И ей помогло, поднялась на ноги. А потом ее в Павловск перевезли... До сих пор стоит в памяти — с черной как смоль косой, плохо ходившая, с грустью в глазах. Видно, небеса над ней смилоствивились: прибрал Бог за год до гибели последнего сына...

К Рите пришли подружки. Они закрылись в комнате, громко разговаривали и смеялись. Мария же прилегла на свой диванчик и окунулась в прошлое, воскрешая в памяти светлые луга, дни страды, когда тело ломало от усталости, а душа летела...

Перед ней возник высокий костер\*, жмующийся к мелким озеркам на левой стороне Касмалы. В затянутых тиной и ряской болотинах, окруженных раскидистым ветляком, плещется то ли рыба, то ли выдра, сразу и не разберешь. Маша вздрагивает, резко оборачивается на звонкий всплеск воды — и замечает расходящиеся в разные стороны круги. Зато в реке, точно, есть рыба: чебак сверкнул чешуей, щука, подобно субмарине, бороздя прибрежные воды, оставила на поверхности пересекающие следы, разогнав водомерок. Рядом в густой сочной траве мелькнуло чер-

\* Костер — дикорастущий злак.

ное пятно — и тут же кровь прилила к голове, подумалось: «Гадюка!» Их на сенокосе видимо-невидимо. Одна уже красуется, висит без башки, перерубленная острой литовкой, на кустах калины, напоминая: «Сапоги резиновые обула?» Но, заметив желтое пятнышко у ползущего гада, Мария успокоенно выдыхает: ужюнок прорывается к воде. Чуть горьковатый аромат пижмы и тысячелистника висит в воздухе, словно застывшая дымка, опустившаяся на сенокосные поля.

Свекра, Ивана Яковлевича, усаживают в резиновую лодку, и вместе с едой, котелками, литовками и всяким другим скарбом сыновья, все четверо, переправляют отца на ту сторону. Приходит черед женщин. Они визжат, смеются, брызгают водой. Мужчины, раздевшись, втягивая жи votы от прохладной водицы, преодолевают препятствие вброд.

Белый в черную крапину конь отмахивается хвостом от надоедливо го овода, бьет копытом о землю, мотает головой вверх-вниз, недовольно фыркает, обнажая ряд крепких желтых зубов — ждет своей очереди. В воду идет неохотно, упирается, но, подстегиваемый Михаилом, сдается. От крупа коня вверх поднимается темное облако гнуса, продолжает следовать за ним и снова атакует беднягу на другом берегу.

Копны подвозят к стогу. Женщины скирдуют. Валю и Любу спускают на землю, остается Мария — у нее лучше других получается вершить стога. Главное — не забыть подсолить середку и верхушку, а то сыроватое сено начнет преть и весь труд насмарку. Еще придавить бастрыками, связав их веревкой, а то ветер иной раз проказничает.

К обеду один стог сметан. Иван Яковлевич зовет обедать. В котелке дымится каша. Марии нравилась именно пшенная каша на молоке, с картошкой и сливочным маслом, приготовленная свекром на костре.

Пот льется градом. Косынка прилипает ко лбу. Тело, наколотое сухим сеном, зудит, и отчаянно хочется окунуться в теплую Касмалу, смыть усталость. Но купания будут позже, а сейчас свекор торопит...

Рискуя пропороть тяжелое брюхо рифами высоченных сосен, над рекой нависла сизая туча, чуть светлей приобской ежевики, похожая на зубастую акулу.

Иван Яковлевич и рад бы сам взяться за вилы. Но в Великую Отечественную войну он получил сквозное ранение в грудь осколком, оставившим в его теле дырку глубиной и шириной в два пальца. Из-за этого правая рука у свекра теперь еле поднимается и не работают два пальца — указательный и большой.

— С правой стороны закругли, торчит! — командует Иван Яковлевич. — Серега, соль неси! Давай быстрее, сейчас ливанет! Бастрык крепи!

Из зубастой облачной пасти вырываются рокочущие раскаты грома. Туча натывает на острый риф — сосну, и ливень встает сплошной стеной.

— Мишка, иди снимай ее!

За шумом дождя голос свекра еле слышен. Кофта и трико вмиг промокают до нитки. Мария скатывается вниз и попадает в крепкие объятия мужа...

#### 4.

По утрам, проводив сына и сноху на работу, а Ритку в школу, Мария выходила на улицу погулять. Завела знакомство с дворничихой, жившей в их подъезде, только этажом ниже. Раз излила ей душу и вроде бы немного успокоилась, но искреннего человеческого сострадания в собеседнице не почувствовала.

— Ты веришь, Надь, ему в последнее время ничего не хотелось. Верно подмечали, непутевый он мне достался. Но добрый. И справедливый. Не наживной, правда. Из ценных вещей оставил рубанок да бензопилу. Можно подумать, знал: в другой мир ничего не взять. Железки берег, говорил, может в хозяйстве пригодятся, а вещи всякие мог потерять или подарить. Окна заказала пластиковые — взъерепенился! Говорит, деревянные еще лет пять продюжат. Через них, считал, дышать легче. А кухонный гарнитур ему понравился. Без спора взяли.

Дворничиха Надька, в меру пьющая бабенка чуть помладше Марии, с вечно накрашенными алой помадой губами, хмыкнула, орудуя метлой:

— Какой-то он у тебя инфантильный! Ниче не надо... Пил, поди?

— Дак попивал, не без греха. Мужик на селе постоянно пьет: кто с устатку, кто от безделья, кто для праздника на душе...

— А твой?

— Да мой Миша больше с устатку. Ну и для праздника тоже случилось. С братьями умаются на сенокосе, а потом еще нагрузи да скидай... Мы постоянно скотину держали. У него здоровья мало стало, оттого живность и свели. А дома все его руками сделано!

— Мирно жили? — спросила Надька.

— Всякое случалось. В любом состоянии мог быть, но домой приходил ночевать. В два, в три часа ночи слышу, лошадь заржала — значит, Миша мой дома. А то пса выпущу, он мне его найдет...

— Бил, поди? — допытывалась Надька. — Я третьего, только руку поднял на меня, сразу выпроводила!

— Третьего? — удивилась Мария.

— Да, представь! Мы с ним два года хорошо жили, а потом началось. Первый-то, Серега, от меня ушел. Зараза, до сих пор его не забыла!

— А мы с Мишей до сорока лет чуть-чуть не дотянули... Нет, бить не бил. Поедет травку подкосить лошади на вечер, таволги мне полевой нарвет. Знаешь, хоть и не розы, а приятно!

Надька в ответ то ли разозлилась, то ли позавидовала — с первого взгляда не разобрать:

— С одним и сорок лет проживешь — хорошего не увидишь, а с кем-то и два года полные впечатлений. Мужики разные. А ты, Машенька, мой тебе совет, найди мужичка, не забывай о себе. Ты посмотри, мы с тобой еще ягодки! Нам еще жить да жить!

Горький осадок остался на душе у Марии после этой беседы. Вроде и выговорилась, успокоилась ненадолго, но тоска, скопившаяся в душе,



стала давить с новой силой. Глядя в окно на Надькины небрежные движения, Мария сказала тихо, словно та могла услышать:

— Нет, Мишу я не предам!

Разворошила в памяти случай, когда один-единственный раз Михаил не пришел домой ночевать.

...Мария встревожилась, когда муж не встретил ее с работы. Пришла домой — двери настежь (а дело было в конце зимы), лошади в стойке не видать. Протопив печь, заглянула к соседям, обежала поселок — не видели. По вещам на вешалке определила, в чем уехал. Нарядился в новое: тулуп, шапка из чернобурки, валенки на подошве, купленные специально на выход.

Ночью при каждом шорохе чудилось ей вдалеке: «Эх, дороги!..» Тогда, накинув поверх ночнушки фуфайку и наспех обувшись на босу ногу, Мария выходила за ворота, всматривалась в темноту, выискивая знакомый силуэт, и, не дождавшись, опять уходила в дом. Разные мысли ее одолевали: представляла мужа в объятиях чужой женщины, боялась, вдруг замерзнет или пырнут ножом в драке...

Утром раздался звонок. Долго не брала трубку. Наконец решилась. Звонила Люба, знакомая из соседней деревни: мол, видела во дворе у местных цыган лошадь Михаила. Предупредила сразу:

— Машка, если хочешь успеть, приезжай скорей, а то вчера они уже ходили по деревне — продавали.

Быстро собравшись, Мария пешком прошла до трассы добрых три километра и на попутке добралась до Жуковки. Плутала по улицам, пока ее не встретила Люба и не проводила до места, по пути рассказав о бардаке, который творился в доме у цыган: каждый день то поножовщина, то даже до стрельбы иногда доходит.

Свернули в глухой проулок. Длинный деревянный барак, разделенный на две половины, по окна вросший в землю, сразу отпугивал своим видом: одна половина нежилая, с разбитыми окнами, недавно горевшая. Лошадь Манька, понуриив голову, стояла, покрытая изморозью, в дальнем углу ограды. Мария толком не помнила, как оказалась в продымленной маленькой комнатке, как отыскала среди десятка бормочущих в пьяном угаре мужиков своего ненаглядного и как, выведя его на улицу и уложив в сани, благодарила сердобольную Любу.

Очнулась далеко за деревней, в полях. Сани кидало из стороны в сторону, и, бросив взгляд на круп лошади, Мария поняла: отсутствует сбруя, которую Михаил ползими украшал заклепками. Вожжи волочились по снегу, но Манькой можно было не управлять, — соскучившись по дому, гнедая бойко бежала по знакомой дороге, завернув голову вправо.

Оглядываясь назад, на спящего в санях мужа, Мария, не сразу это осознав, обнаружила в его облике изменения. Перед ней лежал вылитый цыган — в шляпе с широкими полями, в кожаной затертой куртке на молнии, а на ногах — стоптанные кирзовые сапоги.



Сначала плакала от счастья — живой! После накинулась в сердцах на мужа — за свои переживания, за бессонную ночь, жалея новые вещи... Михаил бессвязно пытался оправдываться: мол, погорельцы, захотел помочь, тулупчиком мальчишку малехонького накрыл — спать ему теплей будет. А с тезкой-цыганом, хозяином шалмана, по-братски обменялись головными уборами, на память. Несколько раз она останавливалась, чтобы согнать его с саней и отправить обратно — забрать вещи, но Михаил лишь виновато улыбался.

Когда приехали домой, Мария принялась нещадно гонять мужа: заставила управляться по хозяйству и топить баню. А потом оттаяла. Вечером мыла его, точно маленького ребенка, радуясь, что обошлось без крайностей, зная: счастье и несчастье за ручку рядом ходят.

Так и жили. Он раздавал, а она его караулила; боялась, загуляет, дом открытым оставит — вынесут последние вещи. При жизни ворчала на него, а сейчас, будь Михаил жив, обняла бы и рассказала ему многое.

«Мишенька, плохо, пусто и одиноко стало в доме! Вот я и бросила наш уголок. За сорок лет привыкла, что ты встречаешь меня из центра. Помню, возьмем бутылочку, я отолью тебе из нее половинку, остальное спрячу в сенцах. Боялась, вдруг сильно захмелеешь. А ты ее находил и “приговаривал”. Ходил по двору да посмеивался надо мной.

Газету теперь покупаю редко, уж извини, зрение никаким стало. Из гостей уже не спешу: некому оставлять двери настежь...»

## 5.

— Вы приезжая? — мужчина интеллигентного вида, с таксой на поводке, присел рядом на лавочку.

— Да, вы правы. К сыну приехала погостить.

— Борис Валерьевич, — представился мужчина. — Мы с Рудиком частенько выходим на прогулку в утренние часы. Говорят, это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Гуляем по кварталу, почти всех тут знаем. А вас я заметил недавно.

— Вы наблюдательны.

— Положение обязывает. У меня высшее педагогическое. Сейчас молодежь пошла — то и дело норовят обхитрить. Приходится держать ухо востро. Кхе-хе!

Мария понимающе кивнула.

— Извините, можно задать вам вопрос личного характера? — продолжал Борис Валерьевич. — Ваши родные пенаты далеко?

— Павловск. Знаете?

— Павловск! Конечно! Назван в честь цесаревича Павла Петровича. Несостоявшаяся столица края. А грибные места у вас просто отменные!

— И хорошо, что несостоявшаяся! — поддержала разговор Мария. — А то бы не любовались мы сейчас чудной природой. И лес бы весь вырубил, и пруд бы в лужу превратили. Многоэтажек бы понастроили,

асфальтом дороги закатали и название бы придумали — Касмалинский микрорайон. И мы бы с вами сейчас сидели и ностальгировали по сосновому бору и теплой речушке...

— Да-да, вы правы. Очень приятно, когда человек защищает свою землю, а вы именно защищаете...

Подобные беседы стали происходить регулярно.

Надька, без долгих церемоний, поинтересовалась:

— Чего это Малюков на лавочку к тебе стал подсаживаться? Всю жизнь с матерью прожил. Ни ребенка, ни котенка. Хоть собаку завел на старости лет, и то ладно! Бабка год назад померла, скучно ему, наверное, стало. Теперь ищет, кто его обстирывать и кормить будет, а то кроме кефира, яблок и корма для собаки ничего в «стекляшке» не берет. Видно, в университетской столовой питается.

Марии ночью опять припомнились гулянки Михаила.

Раз она припугнула мужа:

— Пить будешь — к Бродькину уйду!

Бродькин — сосед, их огороды смотрели друг на дружку, визгливый мужик, постоянно ходивший со свисающей мотней на штанах, с вечно текущими по бороде соплями, все время подбирающий по дороге или на свалке всякий хлам.

Спустя несколько дней Мария с Михаилом возвращались из центра и по пути встретили Бродькина, который вытаскивал из лужи ржавую железяку. Михаил остановил Маньку напротив соседа и, повернувшись к Марии, сказал:

— Чего сидишь, вот он — Бродькин! Ссадить?

Долго еще потом они хохотали над этим.

Воспоминание как будто отрезвило Марию.

Утром, проводив домочадцев на работу, она, по обыкновению, вышла подышать свежим воздухом. Малюков встретил ее с букетом цветов.

— Мария Петровна, это вам. Не считите за... Мы взрослые люди, нам нечего таиться. Уже неплохо узнали друг дружку... Чувства появятся, поверьте! Переезжайте ко мне!

— Не стоило тратиться, Борис Валерьевич! — сказала она и даже не задержалась, прошла мимо.

Малюков, проводив ее грустным взглядом, положил цветы на скамейку, дернул таксу за поводок и скомандовал как ни в чем не бывало:

— Рудик, домой!

Цветы пролежали на лавочке до вечера, пока их не забрала Надька:

— Зачем добру зря пропадать? Вон красотища какая!

На следующий день Надька встретила Марию улыбкой:

— Ну, раз на кавалеров фартит, пойдем, я тебя с настоящим мужчиной познакомлю! Хоть развеешься, отвлечешься. А то сидишь, киснешь в своих воспоминаниях... Подожди минутку, дometу.

— Еще кавалеров не хватало!

— Пойдем хоть за столом посидим! День рождения у меня сегодня как-никак!

— Поздравляю, Надюш! Только без подарка неудобно.

— Да брось! Неудобно, Машка, на потолке спать — одеяло соскальзывает. А здесь я тебя приглашаю. — Надька потянула ее за руку, и Мария сдалась:

— Ну, разве ненадолго...

— Конечно! Посидим, поболтаем. По рюмашечке вмажем!

У Надьки была просторная двушка. Бардак в квартире соответствовал холерическому темпераменту хозяйки. На скорую руку сообразили стол: колбаски порезали, сыра, огурчиков. Пока накрывали, Надьке все кто-то названивал. Поговорить она выходила в коридор. До Марии через раз доносилось:

— В магазин зайди! Да хоть в нашу «стекляшку»! Давай скорей, мы уже накрыли...

— Это ты с кем? — поинтересовалась Мария.

— Да родственник сейчас придет в гости. Поздравит.

— Слушай, ну что я вам буду мешать? Я тогда пойду. Внучка скоро из школы вернется... — смуцалась Мария.

Но именинница настаивала на своем:

— Уйдешь — я обижусь! Буду считать, что ты мне испортила праздник.

Пришлось остаться.

Гость оказался примерно их возраста, с выпирающим животом, хиленькой грудью и тонкой шеей, с лицом неприятным, отекившим и красноватым. Над верхней губой выбриты полоской усики-ниточки. От него за километр несло туалетной водой. В руках мужчина держал увесистый пакет.

— Эдуард Витальевич! — представился он Марии. — Подполковник в отставке.

— Мария Петровна! — ответила она и почувствовала, как стыд хлынул жаром в лицо.

— Наденька, взял все по вашему желанию! — отчитался Эдуард, потряхивая содержимым пакета. — Водочка, пиво «Чешское», шоколадка «Россия — щедрая душа!», колбаса «Краковская».

Пока Надька выкладывала провиант на стол, гость начал распечатывать бутылку.

— Вы что будете? — спросил он у Марии. — Пиво, водочку?

— Конечно, водочку! — ответила за Марию Надька, крутясь у холодильника.

— Знаете, одному скучно! — разливая спиртное, говорил Эдуард. — Женщину я свою давно похоронил. Дети уже выросли, внуки подрастают. Найти интересного собеседника сейчас дорогого стоит. А женщину, я считаю, нужно сравнивать с красным вином — чем старше, тем ценнее.

Поэтому, Надежда Валерьевна, прием за вас, за ваше здоровье и женскую привлекательность!

Чокнулись, выпили.

— Видишь, Машка, не извелись еще мужики, ценящие нас! — сказала Надька и тут же спохватилась: — Блин, сока-то забыли взять!

У нее даже варенья не оказалось, чтобы сделать морс.

Пришлось запивать «Чешским».

То ли от намешанных пива с водкой, то ли оттого, что она, действительно, немного отвлеклась от грустных мыслей и расслабилась, — Марию развезло. И вскоре она уже на пару с дворничихой смеялась над пошлыми анекдотами, вставляемыми то и дело в разговор их новым знакомым.

Зазвонил Надькин мобильник. Она чертыхнулась и вышла разговаривать в коридор.

— В соседнем доме у кого-то трубы прорвало, — оповестила она, накидывая куртку. — А ключи от подвала у меня. Вы сидите, я мигом! Заодно в магазин заскочу, еще бутылочку возьму, а то, чувствую, мало нам будет!

— Наденька, и сигарет пачку захвати! «Бонд» синий, пожалуйста, — вдогонку ей крикнул Эдуард. — Я с тобой потом рассчитаюсь.

Мария сидела и улыбалась, думая о чем-то своем.

Дальнейшие события происходили будто в тумане.

Ей стало дурно, и вроде она попросила его отвести ее в спальню. Отвратительные усики отставного подполковника перед глазами, запах перегара (ее или его — уже неважно), губы в чем-то жирном и его холодное костлявое тело, лнущее к ней, торопливые руки, срывающие с нее одежду... Сон, что ли, страшный снится?

А потом кровь, текущая из раны на его голове. Разбитая хрустальная ваза, прежде стоявшая на тумбочке рядом с кроватью, испуганный взгляд Надьки — и наконец свежий воздух улицы, хлынувший Марии в лицо...

## 6.

Невыносимо, будто от изнурительного похмелья, только болит не голова, а душа...

Хорошо, обошлось без последствий, отставной офицер не особо пострадал. Дворничиха подросла вовремя: остановила кровь, обработала рану зеленой, обмотала голову подполковника бинтом.

Всю ночь Мария не спала — винила себя. Казалось, Михаил следит за ней и корит ее за проступок.

Перед глазами стояли последние деньки, проведенные с супругом...

За два года до этого Михаилу поставили стент в сосуд в области сердца. Врачи предупредили о серьезности положения: «Лекарства сильные, но готовьтесь — в любой момент состояние может ухудшиться».

И тогда Марии вспомнилось, как баба Лена водила ее в молодости к гадалке:

— Пойдем, Маша, к бабке Потанихе, она правду говорит.

Седая бабка Потаниха, разложив на столе старые, потрепанные карты, выдала будущее, открывшееся ей:

— До шестидесяти немного не доживет!

Молодым казалось: шестидесять наступят нескоро, но не успели оглянуться — а им уже далеко не по двадцать. Жили не оглядываясь назад, работали, воспитывали детей, не замечая стремительно бегущего времени. Опомнились, когда пенсия подоспела.

Михаил часто говорил:

— Бросай работу! Хватит бегать, не молодая. Знаешь, мне дома плохо одному. Ты пенсию получаешь, я получаю, вдвоем нам хватит. Хоть напоследок вместе побудем!

Чувствовал, что недолго осталось. Оттого и принимался за несколько дел сразу, хотел многое переделать. Наставления жене давал.

Когда его выписали из больницы (он проходил плановое обследование раз в полгода), явного улучшения он не ощутил.

Чаще стал просить выпить. Мария злилась на него, но шла навстречу, не в силах отказать: вдруг от ста граммов муж будет лучше себя чувствовать.

— Возьму тебе четок и ни капли больше! И за ограду ни ногой, поняла? — говорила она ему.

— Пивка еще полгорашечку... Схожу Ваньку угощу.

— Ага! Только Ванек мне не хватало! Танька мне потом за вас выдаст!

Утешалась мыслями: «Может, выпьет да ему полегчает?» А легче не стало.

Как-то сидели утром на кухне, пили чай, и Михаил ей сказал:

— Маша, пришла моя смерть!

Она не придавала значения этой фразе, ходила и еще подтрунивала над мужем, наблюдая, как он бегаёт со сберкнижкой в руках.

— И чего ты с ней носишься? — буркнула. — Положи на место, этих денег аккурат на похороны хватит!

— Мужики приедут и закопают.

— Закопают, жди! Закопать сейчас не меньше пятидесяти тысяч стоит.

— Меня не надо с почестями, по-простому...

— Ну-ка, стой! А ты чего лыбишься? Довольный! Дерябнул, поди?

Мария проследила за ним. Подозрительным показалось его шмыганье в бендейку\*. Проверила и сразу нашла трехлитровую банку с остатками мутной бражки. На днях сын приезжал в гости, сок березовый в

\* Бендейка — кладовка для инструмента на веранде.



колках собирали. Михаил, похоже, одну баночку и приберег. Вот и ходил с утра, глаз щурил.

Поход в магазин тоже восстановила в памяти подробно. Дорога шла через лес, и Михаил часто останавливался, опирался на сосну, пытался вдохнуть полной грудью, но не получалось. Мария видела его мучения и страдала вместе с ним.

— Давно мы, Маш, не ходили нашей дорогой! — говорил Михаил, пытаясь отвлечь ее. — Даже не узнать! Посмотри, лес-то помолодел!

— Старые деревья спиливают, другие их место занимают, оттого и молодеет.

— И у людей то же происходит, — заметил Михаил и долго потом о чем-то думал.

Пока шли, освежили в памяти молодость, друзей, дискотеки. И даже поцеловались. Разговор по душам оказался для них последним...

Время, когда умирает кто-то из близких людей, запоминается надолго. Мария чуть ли не поминутно могла пересказать трагический день.

С утра вышла на улицу, а Михаил лавочку новую у палисадника мастерит.

— Наконец снесла курица яйца! — всплеснула руками она.

— Не шуми! — забивая гвоздь в доску, ответил Михаил. — Вдруг гости придут. Хоть будет где посидеть людям!

И снова она не придавала значения его словам.

А Михаил готовился. Чувствовал, раз отправился прощаться по улице: добрый, безобидный, простой как три копейки.

Долго беседовал с узбеками, строившими неподалеку дом. Разговорился с бригадиром — молодым парнем. Рассказывал о многом из сорока лет, прожитых в поселке. (Мария потом узбека расспросила.)

Припомнил, что на соседней улице раньше дома стояли не так тесно и просторную полянку перед их воротами только недавно застроили. Поделился: крепкий асфальт в селе на их улице, он тоже принимал участие в укладке. Жаловался на сына, работающего в городе, хотел чаще его видеть, но не получалось. А напоследок сказал бригадиру, может, главное:

— Я слышал, Юрка, сосед вас чурками недоделанными называл. А ты, паря, не обращай внимания — все под Богом ходим! Люди мы, и поверь, на небе различия не будет.

Мария несколько раз выглядывала за ворота, проверяя мужа. Удостоверившись в нормальности его состояния (боялась, угощать его начнут), снова уходила хозяйничать по дому.

После разговора с бригадиром Михаил направился к Ивану Дымову. Она хотела остановить его, но он махнул на нее рукой:

— Опять выбежала! Иди, иди домой! Посижу с Ванькой немножко и приду.

Мимо пробежала ребятня, и он обратился к ним:

— Ух, мальцы! Ну, живы?

— Живы, дядь Миш, живы!

— Ну тогда и живите! — сказал он им вслед. — Место у нас хорошее — лес, речка... А я пошел...

У Марии до сих пор перед глазами стояло, как она делает мужу искусственное дыхание — вдыхает, вдыхает в него воздух, а он, зараза, выходит обратно... И как фельдшер запоздавшей скорой отстранил ее от мужа, а она не хотела отходить и кричала, цепляясь за рубаху, сшитую ею недавно по его просьбе:

— Мишенька, дыши! Дыши, родненький, дыши!..

## 7.

Утром Мария, надеясь не встретить Надьку, тихо спустилась по ступенькам и выскользнула из подъезда.

До Никольской церкви рукой подать, но она проехала несколько остановок на автобусе, затем сошла, решив прогуляться. Пока шла, вспоминала. И не заметила опасность — переходя на другую сторону проспекта, выскочила на проезжую часть прямо под колеса троллейбуса...

Под визг тормозов кто-то схватил Марию за рукав и вытянул обратно на тротуар.

— Ты что, мать, делаешь? Жить надоело? — ее держала за руку пожилая женщина.

Мария поблагодарила спасительницу, так и не поняв до конца, что могло произойти, и поспешила в храм.

На утреннее богослужение она опоздала. В церковной лавке купила две большие свечи, спросила, где ставят за упокой, и прошла вдоль стены в левую часть храма к указанному кануну с распятием.

Перекрестилась. Осторожно зажгла свечку.

Рядом стояли две женщины и тихо переговаривались.

— А некрещеных отпевают? — спросила одна.

— Говорят — нельзя.

Мария горько улыбнулась услышанному: ее Михаил некрещеный был. А в Бога верил! По-своему. Из календаря вырезал лик Николая Чудотворца и у печки на стенку приклеил...

Мария неотрывно глядела на горящий огонь, опять погружаясь в дорогие сердцу воспоминания.

...Стригла Мишу после бани. Он, смиренный, родной, то и дело шутил, а она читала ему нотации:

— Боролась с тобой, боролась, думала, человеком сделаю! А не получилось. Так непутевым и остался.

— Ты меня, непутевого, еще целовать будешь!

Накануне перед смертью выпросил у нее на бутылочку. И, когда уже легли спать, три раза приходил в спальню. Сначала постоял у кровати, взялся за руку Марии, подержал в мозолистых ладонях и ушел. Через не-



сколько минут опять тихо позвал: «Маша! Ты спишь?» Не дождавшись ответа, снова ушел в другую комнату. А в последний раз присел в ногах и долго сидел, глядя ее ступни.

Странными показались Марии его хождения. Выпивши, он прежде ни разу подобным образом себя не вел. Обычно ему поговорить надо было, пофилософствовать. На улицу выйти. Посвистеть, покричать: «Дороги!..» Или сядет на крылечке, гармошку в руки возьмет, меха рвет.

Поэтому Мария притворилась спящей: опасалась, что снова начнет на бутылку просить, потом пойдет за самогоном да завалится к Ваньке Дымову — и всю ночь Таньке, жене Ивана, не видать покоя... Лежала, не откликалась. А знала бы, поговорила бы с мужем. Может, и выспросила бы о плохом его состоянии. Он приходил прощаться, а она не поняла...

Горит свеча... Трепещет пламя перед образами. Святые внемлют мольбе Марии.

Лишь бы не погасла!.. Погаснет — плохой знак: не услышат на небесах просьбу...

Горит свеча — жива вера в лучшее, надежда на снисхождение Господа, на спасение души...

И вдруг... Мария увидела Михаила.

Руки у него зажаты в тисках железных, похожих на те, что дома в бендейке стоят. Тиски все сжимаются. Больно ему... Кинулась Мария на помощь, да кто-то не пускает, держит!.. И в сторону отводит от мужа...

— Нельзя вам туда, Мария. Суд Божий идет. Перед Богом он!

— Ему же больно! — захлебываясь слезами, пытается вырваться Мария. — Пустите! Господи Иисусе! Прости его, грешного!..

С трудом открыла глаза. Почувствовала себя нехорошо, присела на лавочку. Разрыдалась...

Перед глазами все кружилось, и шумело в голове.

Не помнила, как добралась домой. В квартире никого не было. Сын уехал с семьей помогать свекру на даче. Мария выпила таблетку и легла на диван. В неродных стенах с еще большей силой почувствовала одиночество.

Некому излить душу. Дочь далеко, и ведь по телефону не передать и малой толики того, что хочется сказать лицом к лицу. Думала, у сыночка обретет душевную теплоту, но Николай отдалился, с возрастом очерствел. Возможно, она виновата: недоласкала сына, уделяя больше внимания Михаилу. Может, недодала материнской любви, занятая насущными проблемами... Но старалась же! Следила, чтобы дети были сыты, одеты и обуты. Когда становилось тяжело с деньгами, даже прокручивала в магазине махинации с ломом печенья да со списанными конфетами, добавляя их в свежую партию. Лишь бы дети ни в чем не нуждались.



«Теперь ничего не исправить. Не нужна никому. Оттого и горько! Ой как горько!» — думала Мария. И вдруг в памяти всплыло, как уже не ходячая бабушка Лена просила:

— Доча, отвези меня домой! Слышишь? В родных стенах хочу умереть!

— Баб, кто там за тобой ходить будет? Нина учится, Рая работает, им некогда. А я не набегаюсь: далеко.

— Христа ради прошу! Отвези!..

Но она тогда даже не захотела слушать.

Сколько лет прошло, а до сих пор нехорошо от мысли, что бабушка не два месяца прожила бы после отъезда из родного дома, а дольше, если бы выполнили ее просьбу.

Мария не решилась тогда сказать ей о том, что на дом, построенный отцовскими руками, уже найден покупатель.

Тетка, смотревшая добротный пятистенок, ходила и охала: «Старый!» Еще не купив, намеревалась сломать перегородку между комнатами, планируя сделать просторную залу.

Речь покупательницы будто ножом резала по живой памяти об отце.

Мария не сдержалась:

— Ничего у вас не получится!

— Не поняла? — выпучила глаза тетка.

— Я вам не позволю! И вообще... Я... Я передумала! Дом не продается!

— Ну, знаете, милочка! — тетка дернулась и побагровела. — Вам тут не детский сад! — И вышла с шумом, запнувшись о пустое ведро на веранде.

Но рано или поздно всему приходит конец. Дом все же пришлось продать. Девчонки выросли, обзавелись семьями, разделили наследство. В довесок к деньгам Марии достался стол, до сих пор стоявший у нее в сенцах.

## 8.

Мария не слышала, как вернулись домочадцы. Ритка заглянула в комнату и, удостоверившись, что бабушка дома и спит, ушла к себе.

...Удивительная черта людей — заглушать тоску-печаль песней, превратившейся в исцеляющий бальзам.

«В полном разгаре страда деревенская... Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать...» — пела бабка Домна.

Голос старухи дребезжал, похожий на стекло, готовое от удара разлететься на мелкие кусочки. А удар тот — слово.

Бедная, так и не узнавшая, где могилы сыновей, читающая и перечитывающая последние их письма, пришедшие с фронта...

Воображение Марии рисует образ Домны, зарытой по голову в пески.



Ах, как хочется обнять бабушку, натереть скипидаром ее ставшие непослушными ноги, поговорить! Спросить:

— Ну как ты, Домна? Где взяла силы пережить лютое горе? А я ведь теперь понимаю, ох понимаю! Тяжко на душе... Может, ты знаешь способ избавиться от этой боли, что, подобно кислоте, выжигает нутро?

Мария наклоняется к Домне, подносит к беззубому рту стакан с водой. Домна шевелит пересохшими губами, хочет передать внучке важный завет. Но Мария его не слышит. Она пытается раскопать Домну, но та с головой исчезает в песке...

В квартире тихо, и только из комнаты сына доносятся голоса:

— Мир на этом не обрушился!

— Она мешает?

— Чего завелся? Коля, пойми, у нее еще не тот возраст, чтобы подле нас сидеть! Пусть на работу устроится, в конце-то концов. Ей же лучше будет.

— От чего лучше? От одиночества?

— Ей сейчас надо этим переболеть. И она не одна, мы будем приезжать на выходные. Или давай продадим дом. Купим малосемейку рядом с нами. Мать будет под присмотром.

— Да не поедет она в малосемейку. И дом продавать не согласится.

— А ты с ней поговори.

— Сама говори!..

Чтобы себя не выдать, Мария лежала не шевелясь и смотрела, как медленно идут часы... Тик... Так... Слышала, как сын ворочался с боку на бок. Он тоже долго не мог заснуть.

Отчего-то вспомнилось, как она выбирала рубашку, в которой мужа положили в гроб.

В «Ритуальных услугах» не оказалось немаркой, простой, как любил Михаил. Пришлось Марии побегать по магазинам, пока нашла нужного размера и цвета.

Потом перед ее глазами встал сосновый бор, защищающий поселок от ненастья, и Мария поняла, что хочет домой. Обрато — туда, где прошли лучшие годы. Представила безжалостный ветер, обрушивающийся на ее дом — одинокий, безмолвно принимающий удары стихии...

Сейчас, вдалеке от родных мест, пришло осознание, что в расставании есть сила — правдивая, искренняя и неподдельная, очищающая душу. Время дает человеку понять: чувства сильнее любви не найти. А вера помогает распознать — правда ли это любовь, не сорняк ли вырос.

Мария еще долго не спала, так и не привыкнув к неудобному дивану. Но главное — к ней пришла уверенность: за эту ночь она обрела истину.

Выпал первый снег. Сидя на кухне, Мария наблюдала с третьего этажа за непогодой. Хлесткий ветер, резвясь между пятиэтажек, тербил рябину, осенью посаженную под окнами, и покрывал дорогу скользкой наледью. По тротуару сновали люди, застигнутые ненастьем врасплох, кутались в легонькие курточки, прятали лица от ветра; и ей стало неуютно оттого, что неуютно прохожим на улице. Захотелось всех разом пожалеть, приласкать добрым словом, обогреть горячим чаем с малиной. Уподобилась Михаилу: он вечно старался утешить обездоленных, приводил их домой.

Когда родные разошлись по делам, Мария собрала вещи. Позвонить сыну не решилась: знала — Николай сорвется с работы, не хотела отвлекать. Написала короткую записку и отправилась на вокзал. Уезжая из города, вдруг поняла — возвращается домой свободной, сбросив груз, непомерной тяжестью лежавший на душе.

Выйдя в райцентре, не стала дожидаться «газели», ходившей до их поселка, а пошла пешком. Когда перешла мост, автобус, проезжавший мимо, тормознул у обочины. Дверь открылась, и Мария увидела махавшего ей шофера — Алексея Устинова.

— Теть Маш, вернулись! А я смотрю: вы, не вы? Даже сразу и не признал! Садитесь! Подброшу до лесхоза.

— Спасибо, Леш!..

— Нагостились? Быстро! Как у Кольки-то дела?

— Хорошо! На заводе работает, начальник цеха.

— Ясно. А вы слышали новость? У нас в поселке часовенку хотят ставить.

— Часовенку? — удивилась Мария.

— Ну да! Дядя Миша часто сетовал, что поселок наш на змеином саду построен. Несчастливое, мол, место, и даже церквушки никакой нет... А теперь участок на опушке у дамбы под часовню готовят. Поп приезжал, освящал территорию. Ходят слухи, что лесхоз уже дал добро — к весне выделят пятьдесят кубов бруса.

— Хорошее дело задумали! — ответила она.

От конторы пошла пешком через бор той дорожкой, по которой любили они с Михаилом ездить на лошади.

Лес встретил ее шепотом сосновых вершин. Принял под хвойный покров, направил в ее сторону слабое дуновение зимнего ветерка. Выпавший вчера первый снег почти сошел, но местами цеплялся из последних сил за пожухлую траву, за наломанные ветром ветки, за неглубокие ложки, открывая ей некий смысл, и, словно боясь больше не вернуться в эти места, старался задержаться, не догадываясь, что через короткое время снова вернется на долгие месяцы. Обласканная внезапной теплотой душа отогревалась, с каждым шагом, приближавшим к родному уголку, набиралась силенок и, когда Мария вышла на полянку перед до-



мом, — ожила, точно земля, за долгую зиму истосковавшаяся по весеннему солнцу.

Дом уже не выглядел большим. Он, казалось, осунулся, подобно сироте, врос в землю, сутулясь меж ивовыми зарослями и опушкой бора.

Кошка Симка, спрыгнув с навеса, бросилась Марии в ноги.

Та взяла ее на руки, приласкала, приговаривая:

— Заждалась? Пришла ваша непутевая хозяйка! Простите вы ее!

Остаток дня Мария провела в домашних хлопотах. Попросила Ивана Дымова залить воду в систему, после долго натапливала печь, загоняя тепло в дом, делала генеральную уборку. А ближе к вечеру, намывшись в бане, поймала себя на мысли, что безмерно рада оказаться снова в родном гнездышке, где жила — в труде, иногда в нужде, но с чистой душой, любя мужа, детей, радуясь малому, ценя дарованное Богом, — свою простую жизнь.

И когда от усталости провалилась в сон (со дня похорон толком не могла глаз сомкнуть), случилось то, чего ждала долгое время — приснился Миша.

— Тише, тише! — улыбаясь, шепчет Мария, вдыхая пряный аромат светлых лугов, наслаждаясь прохладой березового колка да застывшим румяным закатом. На дне ложка озерцо с парной водой. Рядом стоит перегревшийся старенький «Днепр» свекра, на котором они тайком уехали с сенокоса.

Натруженные, сильные руки Михаила пытаются заключить ее в крепкие объятия, а она, дразня его, вырывается, смеется:

— Погоди, Миша! Ты не сказал!.. Ну, говори!

— Чего говорить? — Михаил делает вид, что не знает, чего от него хотят.

— Признавайся, без кого тебе нет жизни!

— Без тебя!

— Имя назови! — властно требует она.

— Мария, — произносит Михаил.

— Еще! — не унимается она и снова отстраняет его руки.

— Мария! — повторяет муж.

Она бежит вниз к воде и, оглянувшись назад, кричит:

— Главного-то не сказал!

Михаил пытается догнать ее, но она уворачивается, улыбка не сходит с ее губ. Они отдаляются друг от друга, и она слышит его приглушенный голос:

— Люблю тебя, Маша!

Над утренней зорькой во сне летала душа Марии. Сквозь сонную тишину поселка бежала вперед дорога, а густые сосновые ветви шептали, заглядывая в темные проемы окон:

— Отпусти его на небо, душа... Отпусти!

Виктория САГДИЕВА

## КАЙЗЕР

Рассказ

### 1.

Леша ерзал на стальном стуле в приемном покое психиатрической больницы. Все его молодое тело так и зудело от навязчивого желания вскочить и бежать. Пару раз он даже невольно подскакивал, но здоровый санитар за его спиной клал тяжелую руку на плечо и припечатывал Лешу обратно к стулу.

Все здесь было холодным и неприветливым: молочно-белые жалюзи, голые подоконники без цветов, металлические стулья и, наконец, медсестра. Ее поджатые тонкие губы выдавали в ней твердость, присущую больше предметам, чем людям. Женщина-мебель оформляла бумаги, так ни разу и не взглянув на пациента. Чтобы перестать нервничать, парень стал рассматривать небольшой портрет, висевший на стене. Он выбивался из общей стерильно-больничной атмосферы. Голова мужчины на портрете почему-то была перевязана. Незнакомец с картины смотрел с печалью на собравшихся. Леше казалось, что это единственный живой человек в приемном покое.

Наконец появился врач. Он вяло окинул взглядом прибывших. У врача с утра ныли руки, их буквально выворачивало от боли. Мягко говоря, он был не в настроении.

— Докладывайте, Марья Ивановна, — нехотя обратился он к воспитательнице детского дома, приехавшей на скорой вместе со своим подопечным.

В больнице ее давно знали. Марья Ивановна поставляла детей в психушку с завидной регулярностью.

Воспитательница охотно начала:

— Кайзер Алексей. Шестнадцать лет. Из неблагополучной семьи. Отец не жил с ними. Мать погибла год назад в ДТП. Опекун оформила на себя бабушка. После смерти матери стал плохо учиться, был

оставлен на второй год. Имел привод в ПДН\*. Бабушка лишена опеки, так как не справлялась с ребенком. В детский дом попал в прошлый понедельник. За эту неделю конфликтовал с персоналом, пытался сбегать, разбил окно. Для госпитализации была вызвана бригада скорой помощи. Ребенок вел себя неадекватно — матерился, дрался. Ввиду девиантного поведения Алексея просим вас поставить его на учет и назначить лечение.

Подслеповатый врач снял очки и неспешно подвернул дужки. Ему хотелось хоть что-то делать руками, которые не давали ему в этот день ни минуты покоя. Сжав очки в кулаке, он откашлялся и попросил медсестру, глядя на безухого Ван Гога за ее спиной:

— Сопроводите Кайзера в детское отделение.

Так судьба Леша была решена. Его увели по внутренним коридорам больницы к месту нового заточения. Бригада скорой погрузилась в машину, чтобы ехать на очередной вызов. А Марья Ивановна звонила в детдом: ей не терпелось поделиться с коллегами радостной вестью.

## 2.

В Леше кипела молодость. Его отличала хорошо сложенная фигура и большая подвижность. И тем больше они шли вразрез с его болезненно твердым и серьезным лицом. Такие лица бывают только у ребят, живущих за чертой, но еще не начавших пить и колоться, а с неодурманенной головой день за днем сознающих всю тяжесть своего положения.

Кайзер застыл перед туалетом в коридоре детского отделения. В его глазах можно было прочесть вопрос: «Неужели то, что я вижу, правда?»

— Что, новенький, срать не пойдешь? Стесняешься? — хохотнул рослый парень.

Заходя в туалет, Дылда шоркнул Кайзера по плечу. Леша отвел глаза, чтобы не смотреть, как он мочится. Дверей в туалете, как и в палатах, не было. Дети в отделении находились под круглосуточным приглядом медперсонала.

К вечеру Леша обвыкся с новым положением. И после ужина рассказал мальчишкам в палате о своих злоключениях.

— Лучше бы я встретился с огнедышащим драконом, чем с этими, из опеки, — подытожил он.

Ребята сидели на кроватях, не включая света. Они глядели в освещенный больничный коридор, точно оттуда должно было приползти доброе чудовище, которое их спасет. Спасения от людей они уже давно перестали ждать.

Рыжий не любил тяжелых разговоров. Он сам ждал назначения в дом инвалидов — место смерти. Место, ниже которого живым невозможно упасть. Из-за врожденной болезни в свои шестнадцать лет Рыжий выглядел как десятилетка самого заморышного пошиба.

\* ПДН — подразделение по делам несовершеннолетних.

Он спросил:

— Прозвище-то у тебя какое-нибудь есть?

— Кайзер.

Все расхохотались над глупостью новичка.

— Фамилия не подходит, — просмеявшись, сказал Дылда.

— Но она переводится как Цезарь, — объяснил Леша.

— Цезарь — это что? — уточнил Рыжий.

— Так раньше правителей называли, в древности. А в Германии — королей. Кайзер Вильгельм, например.

— Ты ботан, в натуре, — восхищенно протянул Рыжий, мало что понявший из этих объяснений.

Дылда и Фунтик снова захохотали.

— Я Кайзер, а не ботан! — твердо сказал Леша.

— Ладно, как хошь, — согласился Рыжий.

### 3.

— Кайзер, в процедурный! — разбудил ребят крик медсестры.

— Ну что, Кайзер, готовь булки, — пробурчал Рыжий из-под одеяла.

— Укол? А что ставят? Витамины? — встревожился Леша, чувствуя, как у него внутри все болезненно жалось.

— Витамины, скажешь тоже, — фыркнул Фунтик.

Его даже взбесила Лешина наивность. Он-то лежал здесь дольше всех и был хорошо осведомлен в тонкостях больничной терапии.

— Галоперидол тут всем хреначат.

Фунтик был миловидным розовощеким парнишкой типичной славянской внешности. К двенадцати годам он успел побывать в пяти приемных семьях. Опекунов подкупала приятная наружность Фунтика. Но ни одна семья не выдержала с ним и полугода. У Фунтика часто бывали острые психические срывы. В такие моменты он катался по полу, хаотично загребал ногами и руками и орал до хрипоты. Приступы возникали без видимых причин и жутко пугали приемных родителей. Особенно когда он падал и начинал вопить посреди дороги или внезапно проснувшись глубокой ночью.

— Кайзер, в процедурный! — повторился призывный крик.

Леша понуро поплелся в кабинет.

Наталья Владимировна была совсем молоденькой, только закончившей колледж медсестрой. Когда Леша зашел, она набирала шприц.

— Спускай штаны, — скомандовала она звонким, больше детским, чем взрослым, голосом.

Ему было неловко оголяться перед этой хрупкой медсестричкой. Он воспринимал ее как сверстницу и жутко стеснялся.

— Кайзер, мне с тебя штаны снимать, что ли?

Леша густо покраснел и вынужден был подчиниться.

Кроме распирающей боли в ягодице лекарство вызывало в нем смешанное, непонятное чувство. Он ощущал, что становится тяжелым и неповоротливым, точно мешок с картошкой. И в то же время в голове начинала кружиться какая-то звенящая карусель.

— Прижми ватку, — говорила Наталья Владимировна.

Он смотрел на ее губы. Странно было видеть, что ее голос звучал отдельно, несвязанно с движением рта. Голос, казалось, звенел в воздухе и заполнял собой весь процедурный, всю больницу и даже больше больницы — как кузнечики летом пронизывают вибрацией пространство до самого неба. Леша хотел ей что-то сказать, но сумел только открыть рот.

— Кайзер, тебе плохо? Кайзер!

Медсестра начала понимать, что с ребенком что-то не так. В ее глазах появилась тревога. Словно через тысячу комнат он почувствовал ее прикосновение к плечу.

— Вы красивая, — едва выговорил он и тяжело бухнулся, потеряв сознание.

#### 4.

Резкий запах нашатырки привел Лешу в чувство.

— Очухался ваш больной. Дайте ему отлежаться, — говорила старшая медсестра Елена Давыдовна, успевшая спуститься со второго этажа.

Она предпочитала дежурить у девочек, а не у пацанов и уже мечтала о приближающейся пенсии — заветном времени покоя. От ежедневных воплей чужих детей Елена Давыдовна обросла толстой кожей равнодушия. Постоянные головные боли укрепили ее в мысли, что лучше было бы всю эту бездомную мелюзгу усыпить, чем содержать в госучреждениях. Впрочем, Елене Давыдовне хватало ума этой мыслью ни с кем не делиться.

— Обхвати меня за плечи. Я тебе встать помогу, — сказала Наталья Владимировна, стоя на коленях и склонившись над Лешей.

Если бы не галоперидол, он мог бы назвать эту сцену самой романтической в своей жизни.

Тем временем Елена Давыдовна поспешно уходила в сторону двери, ведущей на лестницу. В психушке все двери, начиная от входных и заканчивая дверями на этажах, запирались на ключ — это было неукоснительным правилом. Закрытая дверь не давала больному возможности сбежать. Ну или по меньшей мере усложняла эту задачу.

— Если что, звоните. Я на связи.

— Хорошо, — крикнула ей вслед Наталья Владимировна, уводя повисшего на ней Лешу в палату. — Ты как? Жив? — наконец спросила она.

— Да вроде... Что это было?





— Елена Давыдовна говорит, что это побочный эффект от лекарства. Такое часто бывает, когда препарат только что назначили.

— А потом привыкают, да? Привычка — страшная вещь! — попытался пошутить Леша, еще слабо ворочая языком.

Они дошли до его кровати, и он сразу завалился на койку. Остальные ребята были в игровой комнате. Днем их туда часто сгоняли со всех палат, чтобы санитаркам и медсестре было легче за ними следить.

— А ты не похож на дурака, — сказала Наталья Владимировна, засунув руки в карманы халата и задумчиво глядя на него.

— Я и не дурак, — заметил он.

— Ладно, отлежишься — приходи в игровую.

— Наталья Владимировна, мне шестнадцать лет. Что мне делать в вашей игровой? Разве что с ума сходить. Я лучше здесь до обеда полежу.

— Как хочешь, — сказала Наталья Владимировна и поспешила выйти из палаты.

За окном пошел дождь. Живая занавеска дождя шумела и колыхалась холодными, рыбными бликами. «В такую погоду драконы предпочитают отсиживаться у себя в пещерах и не мокнуть», — подумал Леша, перед тем как провалиться в отупляюще-тяжелый сон с примесью нейролептика.

## 5.

Наталья Владимировна работала в психиатрической лечебнице лишь вторую неделю, но у нее уже было много вопросов к организации досуга детей — постоянному сидению в игровой комнате и отсутствию прогулок. На второй день своего дежурства она хотела повести ребят на улицу. Как это и было предписано режимом на доске информации у входа, гордо оповещавшей родственников (а больше тетечек из разных надзорных органов), что дети ежедневно гуляют с 14:30 до 16:00. Санитарки разворчались и сказали, что никто такого давно не практикует. Дети разбегутся, с персонала снимут премии, а зарплата и так маленькая. «Наталья Владимировна, вам что, больше нечем заняться?»

По наивности она отправилась к заведующей просить разрешения на прогулку. Даже заявление написала, где объясняла, что детям, месяцами запертым в помещении, нужен свежий воздух. Но и заведующая посмотрела на нее как на дуру.

— Наталья Владимировна, вы молодая, неопытная. Я вам советую не менять сложившиеся уставы, проверенные годами. Ну зачем отделению такие проблемы? А если кто-нибудь сбежит? Нам потом главврач устроит встрепку. Давайте не будем рубить сплеча и оставим все как есть.

Теперь Наталья Владимировна читала в истории болезни Кайзера: «Диагноз: психопатия декомпенсированная. Лечение: галоперидол один раз утром внутримышечно...»

Что она могла сделать?

## 6.

Наталья Владимировна ждала в сестринской старшую сестру. Их смена кончилась, и они могли уходить. По телевизору начинался какой-то безумный артхаусный фильм. Развалины замка соседствовали со скотным двором, а голос за кадром заунывно вещал: «Это самое убогое королевство, где ночи такие же черные и безнадежные, как выключенный телевизор». Наталья Владимировна поморщилась. Она знала, что самое убогое королевство есть в любом городе, где-то на окраине за пустырем. Теперь она сама работала в таком королевстве с восьми утра до пяти вечера пять дней в неделю.

Психиатрическая лечебница вместе с тубдиспансером и моргом находилась на отшибе. Здесь не было жилой зоны. Между миром города и больничного городка пролегал пустырь. Пустырь, как некая пограничная зона, скрывал все самое неприятное от глаз горожан. Ходить по пустырю в одиночестве даже днем считалось рискованной затеей. Тропа была плохая, рытвины с грязью не просыхали даже в хорошую погоду. Репейник в человеческий рост оставлял на одежде колючки. Медицинские работники приносили их по утрам в свои отделения, словно пропускные талоны. Только для скорой проходила нормальная асфальтированная дорога к главному корпусу больницы. Ближайшая же автобусная остановка находилась в городе, и к ней приходилось пробираться, пролезая через дырку в ограде на задворках психдиспансера и далее через пустырь.

— Елена Давыдовна, вы считаете Кайзера психом? — спросила Наталья Владимировна старшую медсестру, шагая с ней через буераки на остановку.

— Это не мне решать, — попыталась та уклониться от ответа.

— Вы же читали его историю? Парень связался с плохой компанией и скатился в учебе после смерти матери. А тут еще и бабушку опеки лишили. Он же к ней сбежать хотел, вот окно и разбил. Ему помощь психолога нужна!

— Наталья Владимировна, голубушка! Если всем детям позволять себя вести как Кайзер и к психологам отправлять, то они детский дом за неделю развалят. Окна и двери повышибают, обои обдерут — камня на камне не оставят. Без дисциплины с ними не справишься!

— Вы правы, — попыталась как можно спокойнее ответить Наталья Владимировна. — Разбитые окна — это ужасно. Такое нельзя спускать.

— Вот я и говорю, — одобрительно закивала Елена Давыдовна.

Так вместе дошли они до остановки.

## 7.

Вечером в отделении мальчиков было шумно как никогда. Второй этаж ожидал капитальный ремонт, и девочки должны были перебраться

ся на первый. Всех парней укомплектовывали в пяти палатах вправо по коридору от игровой комнаты. Левую половину оставляли для девочек. К Рыжему, Дылде, Фунтику и Кайзеру подселась малышня из восьмой палаты. Старших заставили передвигать им кровати и помогать обустраиваться на новом месте.

— Шпана какая. Я в няньки не нанимался, — бурчал недовольно Рыжий, неся пакет пацана лет семи, который плелся следом.

В отделении мальчики старшего возраста были с развитой психикой, малышня же страдала выраженной умственной отсталостью и другими грубыми нарушениями. Болезни срубали их с самого раннего детства, не дав возможности развиваться. Теперь палата разделилась на две половины — старших мальчиков и «ссыкунов», как прозвал их Дылда. Койки у стен — по четыре с обеих сторон от входа — стояли так тесно, что Кайзеру казалось, что он с Фунтиком и Рыжим сидит на одной койке.

Ссыкуны не подкачали: почти сразу неказистый косоглазый мальчишка с вечно открытым ртом сел на кровать и сделал лужу.

— Вот черт! — завопил Рыжий, который заправлял кровать этому олигофрену. — Ты надо мной издеваешься? Я же только что все тебе сделал!

Олигофрен расхохотался очень скрипучим, неприятным смехом.

— Лучше бы он молчал, — заметил Фунтик, настроение которого тоже начинало портиться.

Рыжий сплюнул от злости на пол, растер харчок ногой и пошел за санитаркой. Через пять минут он вернулся с новым постельным комплектом в руках.

— Суки толстожопые! — ругнулся он.

Этот выкрик относился к санитаркам, велевшим ему перестелить постель, а грязное белье отнести в санитарную комнату. Ссыкун, весь в мокром, по-прежнему сидел на койке и продолжал скрипеть своим неприятным смехом.

— Еще и штаны переодеть сказали, — кипятился Рыжий, роясь в пакете в поисках сухого белья.

Глядя на красного от злости «волонтера», сидящего на корточках и не прекращающего бубнить проклятия в адрес санитарок и своего подопечного, Кайзер не выдержал и начал хохотать; за ним засмеялся и Фунтик. Их громкий нервный хохот имел мало общего со смехом радости. Но, к счастью, они этого не понимали.

— Че ржете, бараны?! — бурчал Рыжий, пытаясь натянуть на ногу пацана штанину, которая в его неумелых руках никак не хотела налезать.

— Не смешно, — вдруг подал голос забившийся в самый угол кровати у окна новичок лет восьми.

Дылда покосился на него недоброжелательно. В наступившей тишине даже главный виновник происшествия перестал смеяться.

Зловеще прозвучал голос Дылды:

— Ишь, кто заговорил! Ты еще и говорить умеешь?

— Я не дурак. Конечно, умею, — пытаюсь говорить смелее, ответил пацан.

Дылда в гневе был неуправляем. Его нос был свернут набок, как утверждал сам Дылда — в результате драки с ментами, руки украшали порезы от бритвы, а на плече даже имелась татуировка в виде скорпиона. Елена Давыдовна говорила про него: «Денис — тот еще экземпляр».

Он закатал рукава водолазки и подсел к новичку.

— Не дурак, значит. А с чем лежишь тогда?

— Эпилепсия, — уже намного тише ответил парнишка.

— Говори громче, я не услышала! — потребовал Дылда.

— Эпилепсия! — визгливо выкрикнул новичок.

— Да оставь ты... — попытался вмешаться Кайзер.

— Не лезь, — оборвал его разошедшийся детина. — Приступы, значит, у тебя, — продолжил он допрос. — Колотит тебя. Так?

— Так, — грустно повторил испуганный мальчуган.

И тут Дылда резко бросился в сторону эпилептика, громко рывкнув и оскалив желтые кривые зубы. Это было так неожиданно, что наблюдавшие за сценой Кайзер и Фунтик вздрогнули.

Пацан упал с койки, его начало колотить.

— Надо же, не соврал, — ехидно сказал Дылда и отошел.

Кайзер побелел от страха: он впервые видел эпилептический приступ. Но времени обдумывать свои переживания у него не было. Он ломанулся в коридор в сторону сестринской с криком:

— Помогите! Помогите!

— Че орешь? — показала из кабинета недовольная медсестра.

— Пацана колотит... — только и смог выдавить из себя Леша.

Ночью, лежа на кроватях, парни слышали, как санитарки обсуждали, что малолетку увезли в реанимацию. Его по-прежнему трясет, и он не приходит в себя. Когда санитарки ушли на ночной чай, ребята все еще не спали.

Дылда довольно сказал:

— Ну вот, на одного ссыкуна меньше.

— О тебе родители тоже, наверное, так сказали, когда в детдом отдали, — не сдержался Кайзер.

Он не успел даже вскочить с кровати, как на него накинулся Дылда и стал лупасить кулаками по лицу. На этот раз заорал Фунтик.

— Опять вторая палата! Да что у вас там происходит?! — раздался крик из сестринской.

## 8.

Утром Лешу поднял знакомый голос:

— Кайзер, в процедурный.

Едва разлепив заплывший от фингала глаз, он подумал: «Как хорошо, что Дылду перевели в отдельную надзорную палату».

В процедурном Наталья Владимировна как-то поторопилась закрыть за ним дверь. Леша удивился: казалось, она нервничала. Он подошел к окну, быстро снял штаны, не дожидаясь команды, и уперся руками в подоконник. Зажмурив глаза, вспомнил мамин ласковый голос: «Не бойся, комарик укусит. Раз — и все». Когда-то в далеком счастливом детстве мама всегда так его успокаивала перед прививкой.

И вот Леша почувствовал, как его укусил комарик — и все! Он не верил себе. Он почувствовал укол, но лекарство Наталья Владимировна ему не ввела. Как это вообще возможно? Надевая штаны, Кайзер вопросительно глядел на медсестру.

— Я дежурю всю неделю в первую смену. Я буду ставить тебе уколы по утрам.

— Хорошо, — сказал Леша.

Он хотел спросить Наталью Владимировну, почему она не поставила ему галоперидол. Но, кажется, уже догадался и сам.

— Спасибо, — сказал он, выходя из процедурного.

— Пожалуйста, — спокойно ответила она, заполняя какой-то журнал.

Так Леша понял, что у него появился друг.

## 9.

Подходило время обеда. Из пищеблока, стоявшего рядом с детским корпусом, потянуло тушеной капустой. Леша, открыв было в палате форточку, поспешил ее закрыть. Но было уже поздно — это был настоящий запах неволи. Казалось, он въедался в палатные стены. Тошнотворная вонь внезапно открыла Леше правду о психдиспансере. Он не был больницей — это был обман. Весь этот легкий таблеточный флер лишь сбивал с толку пациентов и посетителей. На самом деле это была газовая камера, в которой воняло тушеной капустой. Отсюда нельзя выйти, здесь нельзя кричать, паниковать, просить помощи. Нельзя быть ребенком. Можно только сидеть в углу и молчать. Надо быть удобным для врачей, медсестер, санитарок, чтобы не сгинуть бесследно в этой всепоглощающей вони.

К обеду девочки обустроились в отведенных им палатах. В столовой дети сидели все вместе и ждали еды. Рыжий, Фунтик и Кайзер разместились за одним столом.

Рыжий наклонился к друзьям и шепнул:

— Видите беленькую с сиськами?

Кайзер и Фунтик закивали. Девушку было сложно не заметить. У нее уже оформилась грудь, в отличие от остальных девочек отделения. Ее короткие джинсовые шортики красиво подчеркивали небольшую попку. Пожалуй, она была самой привлекательной из девчонок.

— Это Машка, красotka с автострады. Она из моего детдома. Постоянно сбегает, шлюхается с дальнoбoйщиками.

— Рыжий, я тебя тоже рада видеть, — подала голос красotka. — До сих пор сопли ешь? Или бросил?

Раздался общий гогот. Рыжий покраснел.

Тем временем Кайзер обратил внимание на девочку лет десяти. Спокойное лицо и не по-детски задумчивые глаза. Она была словно от всего отрешена. Все остальные девочки шумели, вертелись, разглядывали мальчиков. Кайзер захотел во что бы то ни стало с ней поговорить. Она наверняка такая же, как он, засунута в психушку по ошибке и равнодушию взрослых.

Наконец принесли еду. Санитарка подошла к этой приглянувшейся Кайзеру девочке и стала кормить ее супом с ложки. Леша оторопел: он не хотел верить, что девочка с такими удивительными глазами не умеет есть сама. Но это было правдой, и санитарка продолжала кормить ее куриным супом со звездочками, приговаривая:

— Ешь, Катерина, ешь.

Девочка вяло проглатывала суп. Она закрывала рот неспешно, так неспешно, что жижа успевала вытекать наружу, и на Катин подбородок прилипали разваренные звездочки.

## 10.

Прошла неделя пребывания Кайзера в больнице. Все складывалось удачно, насколько это могло быть в его ситуации. Наталья Владимировна ставила ему пустые уколы. Дылда по-прежнему находился в отдельной палате, из которой не имел права выходить даже в игровую.

Кайзер продолжал наблюдать за Катей. Целыми днями она молча ходила по отделению. Ей единственной разрешалось бродить где вздумается. Из разговоров санитарок Леша узнал, что у нее тяжелая умственная отсталость. Но как она была не похожа на других олигофренов отделения! Тонкая, статная, с правильным лицом. Она ходила будто наступая не на пол, а на воздух над ним. В ее задумчивых глазах, казалось, скрыта загадка ее молчания. Даже санитарки звали ее не Катей, а Катериной, придавая ей в глазах Леша еще более таинственный статус.

Игровая была небольшой комнаткой, особенно если учесть, что в нее теперь набивались все дети отделения, тридцать — сорок ребят. Пол был застелен сереньким ковровым покрытием, какое экономные хозяйки обычно стелют на кухнях. Главной достопримечательностью был телевизор с DVD-проигрывателем. Детям включали фильмы и мультики на два — четыре часа (время просмотра зависело от доброты дежурившей медсестры). В другие часы они тупо толклись в этой комнате с самыми простыми игрушками и кубиками, походившими на хлам. Драки происходили каждый день. Больше в игровой заняться было нечем.

Леша смотрел телевизор, когда к нему подошла Ира. Она всегда была взлохмаченной и взволнованной.

— Знаешь, мне недавно заливку делали, — говорила доверительным шепотом Ира, подсев поближе к нему.

Она с первого дня рассказывала эту историю всем ребятам, даже малышам.

— А что это такое — заливка? — спросил уже осведомленный Леша, чтобы поддержать разговор.

— Аборт. У меня уже пузо было. А воспитатели сказали, что я дуручка, раз в пятнадцать залетела. Отправили на аборт. Ну, я все бумаги подписала... Представляешь, я его живого видела!

— Правда?

— Да! Мне в пузо ввели какую-то жидкость. А потом укол в руку сделали. После укола ребенок и вывалился. Весь красный, ножками дрыгал.

— Ира, хватит мальчикам страшилки рассказывать! — прекратив болтать по телефону, недовольно крикнула санитарка.

Ира замолчала и отодвинулась от Кайзера.

Вдруг противно загудела пожарная тревога. Медперсонал засуетился.

— Смотри, что творит! — раздался визг санитарки из дальнего закутка столовой.

Ребята, никем не сдерживаемые, кинулись всей толпой на вопль. В столовой пахло дымом. Санитарка хлопала по столу ветхим полотенцем, пытаясь заглушить тлеющую кучу салфеток. Рядом стояла Катерина, в ее руках была зеленая зажигалка. Тут уже подросли вторая санитарка и Наталья Владимировна.

— Откуда у нее зажигалка? — удивилась Наталья Владимировна.

— Это моя зажигалка, — сказала санитарка Лида. — Наверное, обронила.

— Может, она у тебя из кармана украла? — предположила Вера, наконец перестав бить по столу полотенцем.

— Не может этого быть. Она же совсем отсталая, — возразила Наталья Владимировна. И, оглядев окруживших ее ребят, скомандовала твердым голосом: — Дети, в игровую, нечего здесь толпиться!

## 11.

Наталья Владимировна и санитарка Лида стояли на экстренной пятиминутке в кабинете завотделением. Заведующая, женщина крупных размеров, орала, не жалея прокуренного голоса:

— Лидия Пална!.. Теряете свои вещи!.. А если бы пожар? Сгорели бы тут все на хрен!

— Софья Андреевна, я случайно. Сама не заметила.

— У ребенка умственная отсталость. Мозгов совсем нет. Чирк-чирк зажигалкой — и спалила бы нас!

— Мозгов нет, а поджог устроила. Со столов салфетки собрала, скомкала и подожгла, — попыталась оправдаться санитарка.

— Лидия Пална, не фантазируйте. Катя даже «мама-папа» говорить не умеет. А вы пытаетесь убедить меня в том, что у нее был коварный план — поджечь наше отделение. — Отпив минералки из бутылки, она подвела черту: — Всё, идите! И лучше следите за своими вещами!

Тем временем столовую проветрили, вытерли со стола пепел и привезли обед. Катерину с ложки кормила санитарка Вера под пристальными взглядами и шушуканьем со всех сторон.

Фунтик тоже не утерпел и шепотом восхищенно заметил:

— Вот Катька огонь!

— Ага, а говорили, что дурочка, ничего не соображает, — согласился Рыжий.

— Да я б, если мог, тоже эту психушку поджег, — сказал Фунтик.

Кайзер тоже восхищался Катериной. В этой убогой обстановке с казарменной дисциплиной особенно хотелось верить в чудо. И в фантазиях Леша Катя стала принцессой. Принцессой, которая общается с драконами. Ее слушается пламя, и в один прекрасный день она освободит узников больницы. Хотя, успев трезво все взвесить, Леша отлично понимал, что бежать ему некуда. Если он будет жить с бабушкой, то к ней очень скоро опять нагрянет опека с полицией и его утащат в детский дом. Но желание побега в лучшую жизнь нарастало в нем наперекор реальности.

После обеда дети расходились в кабинеты на занятия. Брели с неохотой, не торопясь. Фунтик прислонился к стене и стал вытрясать резиновый тапок, точно туда попал камешек. После проверки тапка он начал было стягивать носок, чтобы и его проверить на наличие невидимого камешка. Санитарка подогнала всех неторопливых отборной бранью.

Учеба была совмещенная. Кайзер сидел на занятии для детей от тринадцати до семнадцати лет. В психушке давали только русский и математику. Преподавателям особо разжевывать темы было некогда, поэтому Леша справедливо считал, что тратит свое время даром.

Учительница раздала всем задания по математике.

— Кайзер, девятая тема, упражнения номер 8, 9, 10 и 11. Будут вопросы — подходи.

Леша записал номера упражнений и открыл учебник. Он хотел решать, но внимание его рассеивалось, и он смотрел все время сквозь книгу, мимо закорючек букв и цифр. Его состояние отстраненности развеяли громкие причитания учительницы.

— Как так можно? — расстраивалась она, подсев к Маше. — Ни одного правильного ответа!

— Ей мозги не нужны. Машка у нас красotka с автострады, — заметил Рыжий.

Девушка взглянула на него с вызовом:

— Может, и с автострады, только не тебе зубы показывать. Мясо для дома инвалидов!

— Дети, успокойтесь... — начала преподавательница.

Но Маша не хотела успокаиваться:





— Тебе и сбежать некуда. Так и будешь там жить. А я сама и еду достаю, и жильё.

— Это не заработок, — буркнул Рыжий, уже пожалев о том, что начал неприятный разговор и нарвался.

— Знаешь способ лучше? Поделись лайфхаком\*, — фыркнула Маша. Рыжий не стал отвечать. Способов лучше он не знал.

## 12.

«Галоперидол — антипсихотик, производное бутирофенона», — читала Наталья Владимировна в справочнике лекарственных препаратов. Применение его сулило: рост груди и выделение молока, независимо от пола пациента, аритмию, судороги, падение давления, обмороки, постоянную тряску рук и ног. Чтобы справиться с последним явлением, рекомендовалось принимать галоперидол совместно с циклодолом. Циклодол должен был уменьшить тряску, но дополнял побочный «букет». Подчеркивалось также, что галоперидол давно устарел и относится к грубым нейролептикам, поэтому лучше использовать современные, более мягкие препараты. Однако таковых, как хорошо знала Наталья Владимировна, в отделении не было.

Она закрыла справочник и убрала его подальше в недра шкафа. Укол Кайзеру был уже поставлен. Утренние таблетки дети получили. Ей надо было сделать раскладку таблеток на обед. У каждого ребенка был подписанный стаканчик, куда заранее клали назначенные препараты.

Не успела она начать раскладку, как завывла пожарная сигнализация. «Неужели опять Катерина?» — удивилась Наталья Владимировна и поспешила на поиски причин шума.

Девочка задумчиво стояла в столовой все с той же зеленой зажигалкой. На этот раз красиво тлели льняные занавески. Санитарка с Натальей Владимировной ободрали их вместе с гардиной и стали топтать ногами. Дети снова жались на входе в столовую и комментировали происходящее.

— Во Катька дает!

— Ага, прямо супергерой.

— Нашли супергероя! — раздался недовольный голос заведующей, перекрывавший вой сигнализации. — Она опять нас чуть к чертям не спалила!

## 13.

После новой встрепки, устроенной персоналу Софьей Андреевной, решено было следить за Катериной не спуская глаз. Но держать девочку рядом с остальными детьми было изматывающим трудом. Ведь она привыкла до самого отбоя ходить по коридорам. И теперь, игнорируя санитарок, пыталась вырваться из игровой.

\* Лайфхак — хитрости жизни (сленг).

— Куда идешь? Вернись в комнату! — кричала каждый раз Лидия Пална.

Катерина не реагировала на крик, и тучная санитарка преграждала ей выход.

— Иди обратно в игровую, кому говорят! — продолжала она кричать Катерине, а та стояла, уткнувшись носом в ее рыхлое тело.

Когда-то на всех окнах больницы были железные решетки. Потом пожарная инспекция приказала их снять. Детский корпус самого убогого королевства был теперь без решеток и даже перестал так откровенно походить на место принудительного заточения. Наглухо закрытые окошки с льняными занавесками и одно открытое окно в туалете на первом этаже...

— Сбежала, сбежала, в окно выпрыгнула! — заорала однажды Лидия Пална, облокотившись на подоконник и выглядывая во двор.

Однако нигде в обозримом пространстве Катерины не было видно. Больница точно сошла с ума. Приехала полиция. Медперсонал бежал по территории, заглядывая под каждый куст. Прочесали и пустырь, но беглянка исчезла бесследно. Дети прилипли к окнам в игровой, с любопытством следя за беготней.

— А может, и нам с Рыжим сбежать? — тихо спросил Кайзер, подойдя к Наталье Владимировне, единственной оставшейся сторожить детей в отделении.

— Да куда же вы побежите-то, Леша?

— А не все ли равно...

Они замолчали. Леша не отходил от медсестры. От нее веяло жизнью и свободой. Наталья Владимировна сидела, опустив глаза, ее густые ресницы красиво выделялись на молочно-бледном лице. Вдруг она внимательно посмотрела на Лешу.

— Я придумала! — прошептала она.

...В тот вечер из отделения пропали еще двое — Кайзер Леша и Чернышенко Ваня, известный детям по прозвищу Рыжий. На следующий день Наталья Владимировна подала на увольнение.

## 14.

Наталья Владимировна тряслась с мальчиками в «буханке» по бездорожью алтайского плоскогорья. Они уже давно съехали с трассы.

— Ну что, скоро будем! — сказал водитель.

Пассажиры сели в уазик в последнем селе, где еще было электричество и сносные дороги. Сейчас же они находились за чертой цивилизации.

Небольшая деревня, куда ехали, вся умещалась в одну улочку. Эта деревня старообрядцев была такой дальней, что даже иностранные туристы, в последние годы привыкшие шастать по алтайским селам, сюда не добирались.

Наталья Владимировна мечтала пристроить парней к своему дяде Аркадию Косачеву. И теперь она очень волновалась, думая о предстоящей встрече. Если дядя не согласится взять ребят к себе, это поставит их в безвыходное положение...

Они остановились у деревянного забора, причудливо размалеванного цветами и птицами. Наталья Владимировна от волнения закусил губу. Леша же определенно был настроен оптимистично. Он подумал, что за такой веселой оградой гостям всегда рады. Когда вошли в калитку, хозяин дома уже стоял на крыльце.

— Гляди-ка, жена! Наташка помощников навезла, — добродушно крикнул Аркадий своей супруге.

Косачевы жили в браке больше двадцати лет и все это время смешно кликали друг друга мужем и женой. Детей у них не было.

Навстречу гостям вышла и хозяйка.

— Наташка твоя что аист — детей нам в подоле притащила, — разглядывая притихших ребят, сказала она, и каждая морщинка ее лица улыбалась.

### Вместо эпилога

Через пару лет новенькие под руководством старожиллов отстроили себе домишко. Все было как нельзя лучше, но Кайзеру еще долго снился сон...

Детское отделение пылает. Языки пламени, будто огненные ладоши, расходятся и схлопываются — все чаще, все чаще. На громкие овации пожара отовсюду сбегаются дети. Все дети, которым за сорок лет существования отделения «посчастливилось» там полежать. Они водят хоровод вокруг горящего здания, точно у новогодней елки, и смеются. Наконец с третьего, административного этажа, снеся полстены, вылетает огромный дракон. На его спине сидит Катерина.

Она машет ребятам рукой и кричит:

— Свободны! Вы все свободны!

Ее голос слышно долго-долго, пока дракон не скрывается в розовом мареве нового дня, где-то за горизонтом...

Леша всегда просыпается от этого сна в слезах. К такому нельзя привыкнуть. В потемках он вытирает глаза, а потом зажигает свечу зеленой зажигалкой.



Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА

## ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРЕЦ ФЕДОР КУЗЬМИЧ В ТОМСКЕ

*Мозаика легенд и слухов*

### Феодор Томский — святой старец

В старых сибирских городах есть места, окутанные мистическими преданиями и слухами, есть сокровенные истории, которые рассказывают десятилетиями, есть и люди, чьи имена и судьбы даже после их смерти будоражат воображение целых поколений. Есть свои легенды и в старом Томске — там вы обязательно услышите о Феодоре Томском, праведнике и православном святом. В городских церквях есть иконы, на которых он изображен, а в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря на могиле святого старца стоит часовня.

Житие Феодора Томского (составленное, кстати, сравнительно недавно, хотя жил этот загадочный человек в середине XIX века) рассказывает о благих делах сибирского подвижника, о суровой жизни, наполненной «самопроизвольными лишениями, постом и молитвами», и поясняет, что старчество — это служение людям, которое должно «благодаря присущему старцу дару рассуждения, выявив силы и способности человека, направить его путем Божественного о нем промышления».

Старец Феодор принимал всех, кто приходил к нему за советом. Он бесплатно учил грамоте детей из бедных семей, давал щедрую милостыню арестантам и ссыльным, помогал крестьянам хозяйственными наставлениями.

Житие повествует и о прозорливости Феодора, и о даре исцеления, которым обладал старец; он лечил больных при жизни, а после смерти страждущим помогали его мощи.

Келья и могила Феодора Томского долгое время были местом паломничества, поэтому неудивительно, что с его именем связаны и явленные чудеса, из которых наибольший интерес представляет следующее: якобы в 1926 году монахи закрытого Богородице-Алексеевского монастыря, заключенные в его стенах в ожидании расстрела, зрели старца Феодора. Его полупрозрачная фигура плавно шествовала из часовни на монастырское кладбище и там таяла. Монахи считали это предзнаменованием своей смерти.

В 1984 году, после долгих лет антицерковной пропаганды, по благословению патриарха Пимена имя Феодора Томского внесли в состав Собора сибирских святых.

В 1995 году, после открытия Богородице-Алексеевского монастыря и реставрации переданного ему Казанского собора, мощи старца извлекли из могилы и перенесли в этот храм, а в 1998 году была восстановлена часовня на месте, где до тех пор покоился Федор Кузьмич. Таким образом, сегодня святой старец Феодор Томский — это прежде всего фигура памяти, актуальная для православных сибиряков.

Но так ли однозначна память об этом человеке? Какие сведения сообщают о его жизни и посмертных чудесах другие, не церковные источники? Насколько единодушны были томичи в оценках этого человека? Все ли верили в его святость? Была ли у Федора Кузьмича некая иная слава?

### Имперско-церковная легенда из сибирской глубинки

Житие Феодора Томского намекает (хотя, за неимением неоспоримых доказательств, и не утверждает), что его стоит признать императором Александром I Благословенным, который якобы вовсе не умер в 1825 г. в Таганроге, как официально сообщили народу, но тайно бежал на восток страны, где назвался простонародным именем Федора Кузьмича (Феодора Козьмича) и странствовал, выдавая себя за бедного человека. А вместо императора в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга будто бы похоронили безвестного солдата, внешне похожего на государя. Сам же Александр скончался в преклонном возрасте в Томске, где под именем Федора Кузьмича и упокоился на кладбище Алексеевского монастыря.

Эта, условно говоря, общеимперская легенда, широко распространившись в Томске и за его пределами к концу XIX века, стала достоянием местного фольклора, по сути своей предполагающего вариативность передаваемых из уст в уста историй, а в некоторых местах легенда имперская и вовсе срослась с церковной, бытование которой предшествовало официальной канонизации старца Феодора.

Рассмотрим же, на какой почве сформировались томские легенды, хотя докопаться до самых корней сегодня крайне сложно. Но в начале XX века эту задачу уже пытался решить выдающийся томский краевед А. В. Адрианов, чьи изыскания будут нам чрезвычайно полезны.

А. В. Адрианов выяснил, что человек, называвший себя Федором Кузьмичом, в 1836 году был задержан на Урале в Красноуфимске как бродяга, наказан плетьюми и сослан в Сибирь, где прожил последующие 27 лет. Из Енисейской губернии, куда он был изначально водворен, Федор Кузьмич попал в Боготольскую волость Мариинского уезда Томской губернии, а с 1858 года уже обосновался в Томске.

По сведениям А. В. Адрианова, перебираясь с места на место, Федор Кузьмич учил грамоте детей, за что получал временный приют. Местным жителям он запомнился добрыми житейскими советами, беседами и рассуждениями о вере, о событиях прошлого и настоящего...

Долее всего Федор Кузьмич прожил у купца Семена Феофантьевича Хромова, который даже выстроил для своего гостя две кельи — в собственной городской усадьбе и на заимке (так сибиряки называли загородные дачи). Собственно, Хромов и привез 75-летнего старика в Томск из Енисейской губернии, где уже поговаривали о царском происхождении этого человека: одни

признавали в нем императора Александра Павловича, а другие — цесаревича Константина Павловича.

Живя у Хромова, старец проявлял в быту поразительную скромность, даже аскетизм. Чего стоила только его деревянная подушка, лежавшая на твердой кровати!

Хромов боготворил старца, считал, будто у него есть чудесный дар предвидения будущего и исцеления больных, поэтому водил к нему гостей, чтобы те послушали мудрые речи. Именно благодаря Хромову вскоре у Федора Кузьмича в Томске появилось немало почитателей среди мещан и купцов, окружавших его вниманием вплоть до самой кончины, которая случилась 20 января 1864 года.

А как только Федор Кузьмич преставился, купец Хромов начал всюду рассказывать о том, что его бывший постоялец и государь император Александр I — одно лицо. Доводы купца в пользу такой версии были разнообразны, но, разумеется, несостоятельны с точки зрения здравого смысла.

Во-первых, якобы внешнее сходство — Хромову казалось, что и рост, и стать, и осанка у Федора Кузьмича были истинно царскими. Во-вторых — туманные намеки на бывшее высокое положение в обществе и видную роль в политике, ведь всем, кто беседовал со старцем, казалось, что он прекрасно знает высший петербургский свет и дворцовые интриги. В-третьих, живя в Томске благочестиво и богоугодно, старец никогда не исповедовался и не причащался, а на расспросы Семена Феофантьевича отвечал: «На исповеди врать нельзя, если я совру, не открою, кто я в действительности, то небо ужаснется, а если я скажу, кто я есть, то весь мир взволнуется». В-четвертых — Федор Кузьмич знал иностранные языки и историю, а как, спрашивается, бродяга осилил эти науки? В-пятых — якобы наш герой вел себя точно как Александр I, то есть при разговоре становился спиной к свету, держал одну руку у пояса, наконец, часто, как это подобает царю, менял чулки. В-шестых, по мнению Хромова, нужно было принять во внимание таинственные записи и рисунки старца, найденные после его смерти — ведь среди них была монограмма Александра Благословенного. И уж конечно, умы тревожили написанные рукой Федора Кузьмича странные слова «а крыют струфиан», которые трактовались по-разному, но чаще всего, разумеется, в пользу известной имперской версии.

...После смерти Федора Кузьмича «почтенным старцем» в определенных кругах называли уже самого Семена Хромова, который сделался истовым популяризатором деяний своего бывшего постояльца и, чтобы они не забылись, записал все, что вспомнил, в толстую тетрадь. Он повсюду рассказывал о трех чудесных звездах, мерцавших над могилой старца, а когда под полом бывшей кельи Федора Кузьмича забил родник, Хромов сразу приписал источнику целебные свойства. После этого вода из родника разливалась в бутылки и раздавалась всем страждущим.

Желание видеть в благочестивом старце и чудом спасшегося императора, и сибирского святого вполне понятно: выходец из крепостных крестьян, купивший свободу и сколотивший капитал, Семен Феофантьевич Хромов, распространяя слухи о старце, прежде всего повышал собственную значимость. А то, что небылицы обрели такую популярность, легко объясняется желанием сибиряков увидеть свою малую родину, на тот момент влачившую колониальное существование, благополучной и процветающей не хуже метрополии.

К тому же слухи и легенды о старце Федоре Кузьмиче распространялись как раз в период активизации движения «сибирских областников»: на рубеже

веков общественные деятели Сибири и местная интеллигенция боролись за то, чтобы власть перестала считать огромный и богатый ресурсами край только местом каторги и ссылки. Заявляя, что «Сибирь — та же Русь», они ратовали за развитие культуры и просвещения, за совершенствование судебной системы, за развитие промышленности и путей сообщения. На фоне этой борьбы и томский старец выглядел выдающимся сибиряком, несмотря на то что являлся бывшим каторжником. Согласно бытовавшей тогда легенде, этот высоко нравственный, духовный и, возможно, несправедливо осужденный человек, пользуясь дарами, данными ему Богом, безвозмездно исцелял больных, учил неграмотных, наставлял заблудших — иными словами, делал все то, чего не хотело делать для простых сибиряков государство. Кто же, кроме святого, будет так искренне и беззаветно служить простому народу?

Не случайно и то, что популярная в Сибири легенда о старце Феодоре не нашла понимания в Санкт-Петербурге, поскольку имела явный антиправительственный оттенок. Ведь согласие с такой версией означало, что, став нищим каторжником, император сделал для людей, пожалуй, больше, чем в те годы, когда восседал на троне в окружении министров.

Одновременно учтем и то, что эта легенда крепко связана с русскими простонародными утопическими преданиями о «чудом спасшихся» царях. При этом Федор Кузьмич не уподоблялся Лжедмитриям и Емельяну Пугачеву, пытавшимся захватить власть, поскольку он и царем-то себя не называл. Царем и более того — святым, защитником и наставником его хотели видеть простые православные сибиряки, вовсе не настроенные на революцию или бунт, но желавшие лучшей доли для своего заснеженного края, забытого центральной властью.

А. В. Адрианов отмечал, что Федор Кузьмич при жизни был куда менее известен, чем по смерти, когда легенды и слухи о нем расплозились по городу. Ни М. А. Бакунин, ни Д. Л. Кузнецов, ни Г. Н. Потанин, ни кто-либо другой из образованных людей и общественных деятелей, интересовавшихся любым сколько-нибудь заметным явлением местной жизни, даже не подозревали о существовании старца. Между тем в Томске уже к началу XX века сложился настоящий культ Феодора Томского и возникла устойчивая традиция его почитания.

Легенда о беглом царе трансформировалась в христианскую легенду, что свидетельствует о выраженном желании жителей обрести своего, так сказать, местного святого покровителя. Тогда как образованные люди требовали открытия в Томске мировых судов и учебных заведений, людям малограмотным хотелось томских чудес, которые для них обозначали насыщенность местной духовной жизни. С подачи купца Хромова келья и могила старца стали местами поклонения и, как говорил А. В. Адрианов, даже паломничества. В келье неугаσιμο горела лампада, по пятницам служились панихиды и собирались почитатели старца, со временем украсившие келью множеством икон, а на могиле совершались литии, во время которых безнадежно больные, по слухам, исцелялись.

После смерти Семена Хромова наиболее активным почитателем старца Феодора, по сообщению того же А. В. Адрианова, стал настоятель Богородице-Алексеевского монастыря архимандрит Иона. Не имея оснований обвинять настоятеля в сухом практицизме, все же, думаю, вполне очевидно, что он понимал, какую великую пользу монастырю может принести легенда и стихийно сложившийся культ, если признать старца святым официально.

Иона продолжил собирать слухи о чудесах Федора Кузьмича и добился возведения на его могиле капитальной часовни по проекту молодого архитектора В. Д. Оржешко. Изначально в этой часовне литии совершались ежедневно, но со временем это стало происходить реже. Иона всячески старался сбереечь останки старца, рассчитывая (по мысли А. В. Адрианова, с которым целесообразно согласиться), что в будущем мощи святого помогут повысить значимость Богородице-Алексеевского монастыря.

Конечно, не все в те годы поверили в святость пришедшего старика, жившего у купца Хромова. Звучали и публичные обвинения в самозванстве. Так, В. Долгорукий, автор одной из журнальных статей о томском «Александре I», еще не ведая, сколько проходимцев позднее будут выдавать себя за «чудом спасшихся» детей Николая II, признал Федора Кузьмича «замечательным» в том смысле, что он оказался «чуть ли не последним самозванцем на Руси».

### Советская власть и слухи о томских чудесах

Слухи и легенды живут своей, подчас очень долгой и насыщенной жизнью и часто уже не зависят от тех, кто их когда-то выдумал и распустил. Так и слухи о таинственном старце снова разошлись после Гражданской войны, когда молва буквально «подняла» Федора Кузьмича из могилы и отправила гулять по монастырскому погосту. Кое-кто в Томске и до сих пор охотно рассказывает о зловещих огоньках, мерцавших в то время на кладбище Богородице-Алексеевского монастыря, предвещая появление призрака. А вот зачем старец восставал из мертвых, к кому приходил и чем все закончилось, томичи уже почти не помнят, а между тем эта история притягивает не только своей готической романтикой. В ней, словно в зеркале, отражается лицо российского общества, стоявшего на историческом перепутье и искавшего выход из острого духовного кризиса, как и разруха, угнетавшего страну, едва вышедшую из Гражданской войны.

В 1920-х годах в Томске было еще много верующих, поэтому, когда в стране началась антирелигиозная пропаганда, поток паломников к часовне Федора Кузьмича не иссякал. Одновременно к ней потянулись и люди, которых влекли не религиозные чувства, а любопытство, были даже разные экскурсии — и краеведческие, и атеистические. Таким образом, Федор Кузьмич оставался для местных жителей хорошо известной фигурой, к которой, однако, томичи выражали самое разное отношение.

Но вернемся непосредственно к легендам. Жители Томска и его округи нередко рассказывали о явлениях старца, происходивших как во сне, так и наяву. Как было отмечено в начале статьи, самые яркие видения посещали в 1926 году монахов Богородице-Алексеевского монастыря, предвещая им гибель. В начале 2000-х годов, опираясь на документы, найденные в архивах контрразведки, историк М. М. Громько описала многократные появления белой фигуры старца в нескольких метрах над его могилой. Будучи религиозным человеком, М. М. Громько оценила свою находку как подтверждение христианского чуда, укреплявшего «людей в вере в обстановке разгула темных сил». Однако заметим, что источником описания чудес послужили слухи, в действительности гораздо более разнообразные, нежели краткая история, описанная в упоминавшемся тексте.

Слухи о Федоре Кузьмиче, поднявшемся из могилы, взбудоражили город еще в 1924 году, что отразилось в газетах, на которые М. М. Громько не обра-





тила внимания. Между тем о «гуляющем мертвце» писало и томское «Красное знамя», и главное региональное издание «Советская Сибирь». Знакомство с этими статьями заставляет признать, что в середине 1920-х годов легенды о Федоре Кузьмиче не являлись сугубо церковным достоянием.

Оценивая газетные публикации, я считаю возможным признать помимо комплекса легенд церковных и околоцерковных бытование в 1920-х годах томских легенд, основанных на суевериях и сказочном фольклоре, а также легенд, особенности которых связаны с мотивами так называемой готической литературы.

17 августа 1924 года газета «Красное знамя» сообщила, что в Томске говорят, будто бы ночами на кладбище бывшего мужского монастыря местные жители замечали привидение — неестественно высокую фигуру в белом, двуглавушая вдоль могил. Газета, конечно же, разоблачала «привидение», сообщая о поимке его, после которой выяснилось, что привидение изображал живой человек, используя кусок белого полотна на палке. Дополнением к этой заметке служило произведение местного поэта, подписавшегося псевдонимом «Бож», — сатирические стихи «Привидение»:

Как собаки, слухи рыщут,  
 Знать подстроил эдак черт,  
 Объявилось на кладбище  
 Привиденье — первый сорт.

Весь зеленый, как окрошка,  
 Целых три сажени рост.  
 И глаза горят, как плошки.  
 Кто-то видел даже хвост!

Врут повсюду без зазренья,  
 Слухи лепят точно ком:  
 Обратился в привиденье  
 Некрещеный военком.

Без попа он похоронен.  
 Как же так он оплошал?  
 Без покою теперь ходит  
 Комисарова душа.

Нет, не правда, это — барин,  
 Это — царь, не военком.  
 Жил-был в Томске такой старец,  
 Прозывался Кузьмичом.

И народ валит толпою,  
 Нетерпением горя,  
 Поглазеть порой ночью  
 Трехсаженного царя.

Тех, кто не был, — зависть гложет.  
 И растет толпа зевак.  
 Каждый вечер слухи множит,  
 Каждый верит им дурак.

«Красное знамя» так запутало эту историю, что отделить реальные события и слухи от лжи и антирелигиозной пропаганды почти невозможно. Однако обратим внимание на ряд моментов.

Прежде всего, интересен сам факт появления слухов о привидении на кладбище бывшего мужского монастыря, без которых не было бы повода для написания газетной статьи. К слову сказать, материал журналистам удался. Им удалось привлечь внимание читателя сенсацией и одновременно нанести идеологический удар по одной из самых популярных версий местной церковной легенды, дополненной в последнее время сюжетом о чудесных явлениях старца. Правда, опираясь на эту публикацию, нельзя ничего сказать точно... На самом ли деле кто-то видел фигуру на кладбище, правда ли, что привидение изображалось каким-то гражданином, и, наконец, действительно ли народная молва «оживила» Федора Кузьмича или это сделали сами газетчики, получив задание разрушить легенду?

Интересны и средства, которыми работники идеологического фронта пытались дискредитировать местную православную легенду и погасить интерес к таинственному старцу. «Фигура в белом» (в «поэтическом» варианте — «зеленая, как крошка») названа не «чудесным видением», а «привидением». «Чудесное видение» — это понятие из словаря верующих, которым являются святые, а вот с «привидением» все сложнее. Это слово ассоциируется со сказками о нечисти, с простонародными суевериями и готической литературой. Газетный «поэт» ернически выставил Федора Кузьмича в виде нечистого с хвостом и горящими глазами, тем самым лишив его легендарного ореола святости. Осмеянию подверглись также обывательские суеверия и наивность тех, кто верил слухам.

Публикация в «Красном знамени» на тему «гуляющего мертвеца» стала не единственной — 26 августа 1924 года региональное издание «Советская Сибирь» напечатало вторую статью о пресловутой «фигуре в белом». Сообщалось, что теперь повсюду обыватели это обсуждают: на станции, на пристани, на базаре, в бане и на улице. На этот раз уже без вариантов сообщалось: «всплывает в памяти населения полузабытая легенда» о Федоре Кузьмиче и Александре I, при этом автор статьи фальшиво сетовал, что никак нельзя найти реальных очевидцев явления белого старца со свечой в руках. Но призыв угомониться и прекратить ночные «паломничества» к бывшему монастырю, очевидно, не подействовал, и 9 сентября того же года «Советская Сибирь» вновь вернулась к пресловутым слухам. Газета насмешливо сообщала, что якобы на базаре шепчутся о «призраке батюшки Александра-ампиратора», который целый месяц ночью выходил в белом саване на могилу и плакал. Мол, один комсомолец «пытался взять его в обхват, да пал ниц, и сейчас оторвать его от земли не могут», а милиционер стрелял в привидение, но «рука-то у него и отнялась» и «начальник милиции после этого умер». В ответ на эти слухи журналисты снова предлагали уже знакомую разгадку: таинственное привидение является не чем иным, как подстроенной «мистификацией попов». По версии газетчиков, призрака старца изображал хулиган, бегавший по кладбищу в белых простынях и на ходулях.

Обратим внимание на подборку слухов, приведенную в газете, — ясно, что ажиотаж вокруг «фигуры в белом» в Томске действительно был. Едва ли эти слухи отражали одни только выдумки журналистов — они полностью соответствуют широко распространенным мотивам, присущим околорелигиозному фольклору. В частности, сюжет с комсомольцем, которого не могут оторвать от

земли, напоминает популярную и сегодня легенду советского времени о «стоянии Зои», непочтительно обращавшейся с иконой Николая Чудотворца. С другой стороны, на мой взгляд, эти газетные публикации дают возможность рассмотреть более сложную социально-психологическую и социально-культурную природу фольклорного образа Федора Кузьмича.

В чем была причина ажиотажа? Почему слухи о «гуляющем мертвеце» так сильно взбудоражили Томск? В чем вообще коммуникационная значимость слухов? Дело в том, что они способны серьезно помешать укоренению в общественном сознании информации, транслируемой властью. Слух, передаваемый из уст в уста, конкурирует с официальными источниками и версиями, а особенно возрастает его значение тогда, когда народ не удовлетворен формальными ответами на вопросы, волнующие массы, когда общество чувствует ложь и недосказанность со стороны государства. Слух несет в себе неформальную (а потому зачастую более искреннюю) оценку событий и актуальных для общества процессов. Более того, существующие со времен глубокой древности слухи создают у людей, которые их распространяют, чувство причастности к потаенному знанию.

Газетчики были вынуждены бороться со слухами о Федоре Кузьмиче, «восставшем из гроба», понимая, что базарным разговорам население верит больше, чем советской печати. Кроме того, эти слухи не только претендовали на роль истины — они угрожали ростом недоверия и неуважения к советской власти (в частности, к милиции) и комсомолу, которые якобы оказались неспособны противостоять силам тьмы. В неявном виде газетчики обвинили в распространении антисоветских слухов не только «обывателей», но и томскую интеллигенцию, которая с дореволюционных времен лелеяла память о «томской старине», собирала и фиксировала местные легенды, в том числе и религиозного содержания.

Из газетных материалов понятно, что к 1924 году, несмотря на радикальную антицерковную пропаганду большевиков, Федор Кузьмич (герой, однозначно подлежавший намеренной дискредитации) оставался живым коллективным воспоминанием для разных слоев городского сообщества. Автор сатирических стихов, как мы помним, лишь намекнул на легенду о старце, не раскрывая полного содержания, — это свидетельствует о том, что читательской аудитории «Красного знамени» Федор Кузьмич и его история были хорошо знакомы. Журналист «Советской Сибири» тоже не стал называть легенду о старце «забытой», выбрав выражение «полузабытая легенда». Вероятнее всего, Федор Кузьмич был вовсе не забытой фигурой, а сделать его хотя бы «полузабытым» стремилась как раз советская печать. Ведь Федор Кузьмич как герой местной истории был в некотором смысле конкурентом новым, «вечно живым в сердцах» героям революции и Гражданской войны. Чтобы превратить живую память о нем в «полузабытую легенду», православную и монархическую, журналисты пытались использовать прием высмеивания героя и разоблачения неких мистификаторов и хулиганов. А грубые выражения и оскорбления в адрес тех, кто верит слухам, должны были подействовать как угроза на людей, сомневавшихся в правоте газеты.

Но если с позиций советских газетчиков все более-менее ясно, то с реальным содержанием и значением самих слухов разобраться сложнее. Интересен вопрос, на который, пожалуй, нет однозначного ответа: назвали Федора Кузьмича, восставшего из гроба, «призраком» сами журналисты или народная молва сделала его «привидением», что совсем не одно и то же с «чудесным явлением»? В любом случае заметна связь между появлением этого сложного и неоднознач-

ного фольклорно-газетного образа и непростой на тот момент социально-культурной обстановкой, которая способствовала пробуждению глубинных архетипов общественного сознания. Попытаемся разобраться, какие обстоятельства «подняли из могилы» давно почившего в бозе старца.

### Суеверно-фольклорная версия легенды: Федор Кузьмич — «гуляющий мертвец»

Философ А. П. Назретян считает, что архетип «восставшего покойника» и сопряженный с ним иррациональный страх посмертного мщения старше, чем все другие человеческие страхи, связанные со смертью. Образ мертвеца с признаками произвольного поведения, по мнению Назретяна, уходит корнями в глубокую древность, когда механизмы духовной культуры только формировались. Основанное на древнем страхе стремление избегать мертвых, которые могут причинить вред живым, присуще всем культурам.

Одновременно с глубокой древности существует и культ предков — защитников и покровителей рода. Будет мертвый вредить или помогать живым — это зависит прежде всего от отношения живых к соблюдению социальных норм и запретов, защитниками (а зачастую и источником) которых считались предки (в прошлом) и их духи (в настоящем). Согласно этнографическим наблюдениям, в народном понимании русских «гуляющие мертвецы» начинают беспокоить своими появлениями живых в случае неверного исполнения культа мертвых, неуважения к их памяти.

В начале 1920-х годов на волне пропаганды безбожия и борьбы за новый социалистический быт в Томске вслед за монастырями были закрыты и монастырские кладбища, бывшие ранее, если можно так выразиться, элитными. Они приходили в запустение, зарастали травой и покрывались мусором, утрачивая свой благолепный вид, были случаи вандализма и разрушения могил. Древние суеверия необыкновенно живучи, поэтому, когда непочтительное отношение власти к памяти старца Федора Кузьмича и других, прежде высоко чтимых персон, покоившихся на закрытых большевиками кладбищах, стало очевидным для жителей Томска, коллективное бессознательное актуализировало архетип «восставшего покойника».

В результате распространились слухи о мщении «обиженного» мертвеца, которым по традиционной (дохристианской) логике чревато непочтительное отношение к памяти и могиле усопшего. Видимо, томичи опасались мистического отмщения, но при этом так или иначе ожидали и желали его. Как мы помним, зафиксированные «Советской Сибирью» слухи напрямую сообщают, что призрак «перешел к действиям», безжалостно наказав милиционера и комсомольца. Согласно традиционным представлениям, людям, бережно хранящим память предков, помогают их духи. Пожалуй, на заре советской эпохи такой защиты в глубине души желали многие люди, внутренне не принимавшие новую культурную политику и антирелигиозную пропаганду.

### Федор Кузьмич — готический призрак

Наряду с влиянием на малограмотных людей Томска слухи подействовали и на местную интеллигенцию — по крайней мере, на ту ее часть, которая увлека-



лась романтизмом и мистицизмом. В некотором смысле слухи о призраке отражают и отторжение томичами советского стремления объяснять с рациональной позиции необычное и неизвестное.

Городским легендам о привидениях и других мистических явлениях всегда найдется место в разговорах образованных людей. В доказательство тому, что и сегодня интеллигенция не прочь обсудить призраков, приведу пример одной хорошо запомнившейся мне беседы. Однажды я невзначай спросила у заведующей архивом томского краеведческого музея: «Ольга Петровна, а вы верите в привидения?» Слегка прищурившись и понизив голос, пожилая женщина ответила:

— Да, своими глазами видела, здесь, в нашем музее.

Музейное привидение! Этого я уж точно не ожидала!

— Убеждена, что это была жена Асташева — хозяйина дома, где мы с вами находимся, — продолжала Ольга Петровна. — Я как-то вечером сильно задержалась, все уже ушли с работы, а мне надо было закрыть хранилище, выключить свет и все такое... И я ее увидела! Прямо в хранилище! Тень женщины! Я обмерла, мороз по коже пробежал. А она обернулась и на меня посмотрела. Я мысленно стала за свое присутствие извиняться — ну, за столь позднее присутствие в ее доме. И поняла по взгляду, что она меня извинила, но просит больше не задерживаться. Не успела я опомниться, а тень уже растаяла. Жутко было. Точно, это была она. Не нравится ей, что в ее доме музей, люди чужие ходят, особенно по ночам...

Вот вам пример совершенно неожиданно услышанной мною томской истории о призраке жены золотопромышленника Ивана Дмитриевича Асташева — и ведь как достоверно звучит! Очевидно, что беседовать о потустороннем томские интеллигенты любили и сто лет назад.

Даже тот факт, что в бесплатной библиотеке известного томского просветителя П. И. Макушина хранилась отличная подборка мистических произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Скотта и Ч. Диккенса, свидетельствует о наличии среди местных любителей чтения романтически настроенных субъектов, которым слухи о загадочном привидении пришлись бы по вкусу. Бурное развитие готической литературы, главными героями которой являются призраки, в XIX веке выражало стихийный протест романтиков против чрезмерной рассудочности и нормативности классической эстетики. Можно предположить, что любители готических романов пополнили и ряды «паломников», посещавших ночами старое кладбище в поисках подтверждения существования сверхъестественных сил, отрицаемых советской властью. Не стану утверждать, что интеллигенты пробирались меж могил в надежде действительно встретить привидение, но такие походы вполне могли восприниматься как забавное приключение, как игра в готику.

Кстати, сибирские журналисты середины 1920-х годов тоже были людьми образованными, потому что созданный ими в газете образ призрака выдает знакомство с русскими сказками и некоторыми произведениями классической литературы. Нельзя сказать точно, пересказывали газетчики слухи или больше их сочиняли; понятно, что у них была задача показать призрак нелепым и смешным. Но за потусторонним газетным персонажем все же угадывается оттенок обывательского страха и некоторое сочувствие к старцу, а это дает основание полагать, что слухи брались из жизни и по большому счету журналисты лишь фиксировали то, о чем шептались томичи.

Если встать на позицию неверия в чудесные явления святого Феодора Томского, то придется ответить на вопрос о материале, почве возникших слухов. Таким материалом, помимо «околоправославных» легенд, послужили сказочные и литературные образы, в разной степени известные томичам.

Существует много известных еще в начале XX века русских народных сказок о восставших из гроба мертвецах — в частности, среди тех, что были собраны, записаны и опубликованы А. Н. Афанасьевым и В. И. Далем. Образ «гуляющего мертвеца» в сказках типичен: он неизменно появляется в полночь на кладбище, облаченный в белый саван, также характерна и регулярность появления — из ночи в ночь. Восставшие из гробов мертвецы в этих сказках злы и опасны для живых; даже если при жизни умерший был добрым человеком, встреча с ним после его кончины не сулит ничего хорошего. К примеру, мертвец может наброситься на живого и съесть его, а если этого и не произойдет, то встретившему ожившего мертвеца грозит оцепенение (окаменение) или таинственная смерть утром.

В слухах, пересказанных томскими газетчиками, Федор Кузьмич предстает во многом типичным сказочным «ожившим мертвецом», ведь он появляется в полночь на кладбище в белом саване и карает тех, кто осмеливается к нему приблизиться. Но при этом все-таки газетный образ «гуляющего мертвеца» сложнее фольклорного: ожившие мертвецы из народных сказок телесны, их не называют ни призраками, ни привидениями, в газетах же наш герой именуется именно «привидением». Уже само это слово переадресовывает нас к литературной традиции, в той или иной мере знакомой томским журналистам и другим любителям чтения.

Именно с классической литературой ассоциируются такие черты образа призрака старца, описанные в газетах, как его неестественно высокий рост, горящие глаза, зеленый цвет фигуры, непомерная физическая сила. Страдания и плач призрака на могиле тоже скорее литературный, нежели фольклорный мотив. Плачущий, а значит, страдающий герой — это уже не примитивное злобное чудовище из сказок, а личность, наделенная разумом и человеческими чувствами. В русской литературной традиции многие из «оживших мертвецов» — это «лишние люди» своей эпохи и кающиеся после смерти грешники. Литературный характер мстительности томского призрака виден в его избирательности в отношении объектов мщения, жертв — в их числе лишь представители советской власти. Выходит, что направленность мистической агрессии «гуляющего мертвеца» — классовая?

Во многих русских литературных произведениях о призраках присутствует мифологема мести, причины которой обычно сложнее, чем в фольклоре. Мечь мертвецов в классических русских литературных произведениях А. С. Пушкина («Пиковая дама», «Русалка», «Каменный гость») и Н. В. Гоголя («Страшная мечь», «Шинель», «Вий») вершится вовсе не по причине непочтительного отношения к могилам. Важным мотивом мести могут стать личные счеы и, что особенно важно, — социальная несправедливость.

### Федор Кузьмич — Феодор Томский

Я думаю, что не только социально-политическая напряженность начала 1920-х годов и духовный кризис того времени спровоцировали появление и распространение слухов о восставшем из гроба старце. Как мы поняли, к его



личности и судьбе у томичей сохранялся активный интерес, что не в последнюю очередь было обусловлено расцветом в Томске краеведения с упором на местную историю и местный фольклор. Размышления об особенностях биографии царя, легендой связанного с Томском, переплетались в народном сознании с традиционными представлениями об условиях, необходимых для упокоения души умершего. Считалось, что если человек не решил своих моральных, духовных и даже материальных проблем и затруднений при жизни, то он едва ли обретет покой и после кончины, а значит, вероятнее всего, «застрянет» между жизнью и смертью, влача призрачное существование. Поскольку многие томичи верили в тождество Федора Кузьмича и Александра I, царя-«отцеубийцы», фантазии на тему страшного греха императора, видимо, дополнительно провоцировали мысли о «неупокоенности» его души.

Смею предположить, что призрак неупокоенного государя воспринимался любителями старины как самая крупная жемчужина в ожерелье томских легенд, как украшение сибирской истории, богатой сюжетами о каторге и разбойниках, но бедной романтическими преданиями.

На глазах жителей города закрывались монастыри и старые кладбища, которые воспринимались не только как святые, но и как памятные места. Если для томского духовенства и верующих Федор Кузьмич был святыней, то краеведами и любителями томской старины история царя-старца воспринималась как красивая легенда, облагораживавшая культурный ландшафт Томска. Коренные горожане, для которых и старые кладбища, и Федор Кузьмич были частью образа малой родины, болезненно переживали грубое уничтожение мест, связанных с их живой коллективной памятью.

Любовь томских краеведов и музейщиков к Федору Кузьмичу стоит отметить особо — еще в начале 1920-х годов, когда страну охватил процесс музеефикации памятников старины, томичи поставили под охрану здание закрытого Богородице-Алексеевского монастыря (как «ценное в художественном смысле»), старые монастырские кладбища, а также келью старца Федора Кузьмича, признанную памятником местной истории.

Сохранилось одно из романтических описаний кладбища и могилы старца середины 1920-х, принадлежащее перу архитектора и краеведа А. М. Прибытковой-Фроловой: «К церкви с восточной стороны примыкает кладбище со старинными памятниками 1807, 1812 годов, заросшее деревьями и травой. Есть там интересная, полуразвалившаяся часовня, деревянная, но оштукатуренная, есть и каменная часовня над могилой загадочного старца, известного под именем Федора Кузьмича...»

Однако вскоре лояльное отношение местных властей к деятельности музейщиков и краеведов сменилось жесткой политикой в отношении истории. Памятным местам, связанным с Федором Кузьмичом, был нанесен ущерб, а в середине второго десятилетия XX века его келью, находившуюся под охраной губмузея, кто-то разграбил. Директор музея М. Б. Шатилов слышал, что деревянная кровать старца попала в помещение общежития рабфака, а иконы, кiotы и стулья из комнаты Федора Кузьмича вообще пропали бесследно. Памятное место было утрачено, та же участь постигла могилу и часовню...

В 1929—1930 годах М. Б. Шатилов неоднократно делал запросы в Главнауку Народного комиссариата просвещения и Томский городской отдел коммунального хозяйства по поводу сохранения могилы Федора Кузьмича и часовни,

которая ее украшала. Однако на свои письма директор музея получил категорический отказ, мотивированный отсутствием исторической ценности этих объектов.

Итак, образ призрака, запечатленный в сибирских газетах того времени, сложен и собирателен. Видно, что журналисты соединили и описали разные по происхождению слухи, которые распространяли и необразованные, и малограмотные, и интеллигентные, читающие люди, знакомые как с русской классикой, так и с готической литературой Европы.

Забавно, кстати, что газетчиков, пытавшихся опровергнуть слухи, эти публикации сделали самыми активными их распространителями. Именно благодаря томским журналистам любопытные слухи о привидении старца вошли в историю и запечатлелись в культурной памяти сибиряков.

В 1925 году «Советская Сибирь» снова вернулась к сюжету о Федоре Кузьмиче — на этот раз история с видением (привидением) упоминалась в числе других признаков позорной «обывательщины», «гнилой старины», на многочисленных обломках которой все-таки восходят «ростки новой советской культуры». Журналист А. Кручина иронизировал в газете: «На монастырском кладбище поднимался из земли легендарный старец Федор Кузьмич (по преданию Александр I) и костлявым пальцем грозил безбожной Советской власти. Тогда к монастырскому кладбищу стекались люди, дежурили всю ночь, чтобы увидеть привидение».

В советской печати середины 1920-х годов вообще нередко появлялись аналогичные политизированные статьи, фельетоны и даже стихи о «безобразии» старых провинциальных городов и их долгожданном «культурном перерождении». Получается, что слухи о старце сохраняли в Томске актуальность, если «Советская Сибирь» все еще продолжала борьбу с «мракобесием», насмехаясь и над религиозной культурой, и над народными суевериями.

Но газетных фельетонов, разумеется, было недостаточно для разрушения коллективной памяти томичей о таинственном старце. По сведениям, собранным краеведом В. Д. Славниным, в конце 1920-х в Томске вновь заговорили о том, что Федор Кузьмич «является». Некоторые томичи посчитали, что эти слухи спровоцировали «органы», чтобы окончательно избавиться от надоевшей святыни.

...Разрушение часовни на могиле старца произошло в одну из ночей 1936 года, в дальнейшем могила была обращена в выгребную яму, однако сами мощи остались нетронутыми. Попытки инициировать научное исследование останков старца в советские годы натолкнулось на категорический отказ властей, не желавших привлечь внимание общественности к пресловутой легенде. Был ли Федор Кузьмич действительно императором Александром I — мы не знаем до сих пор.

Однако старец и сейчас не забыт — церковь возродила память о нем в 1980-х годах. В то время идейный и идеологический упадок привел к ослаблению мировоззренческого контроля со стороны властей и к компенсирующему его росту влияния на общественное сознание многих религиозных учений и организаций, включая Русскую православную церковь. Тогда РПЦ, возрождение которой лишь начиналось, нуждалась не только в актуализации уже сложившихся элементов культа, но и в создание новых точек культового, ритуального и идейного притяжения.



Еще не имея возможности «большой идейной игры», например с канонизацией монарших мучеников или иных жертв периода советской власти, церковь обращала свое внимание на имеющиеся региональные сюжеты, подобные легенде о томском старце Феодоре.

В его канонизации проявилось стремление обновления тематической повестки дня, определенный конфликт с советской идеологией, а также желание опереться на возрождающийся региональный патриотизм, противостоявший позиции Москвы в мировоззренческом поле выявления местной особенности или даже исключительности.

Многочисленные явления старца у часовни над стенами обители по сей день считаются среди верующих одной из ярчайших страниц истории сибирского монастыря, поскольку она сохраняет его славу как особенного, чудесного места. Монастырь в свою очередь нуждается и в мощах, и в святом, и в городской легенде, которую он себе присвоил. Между тем церковная история Федора Кузьмича — это только часть истории томского старца, легенды о котором имели разные смыслы.

Был ли Феодор Томский императором Александром Благословенным? Были или не были чудесные явления? Появлялся ли на старом кладбище призрак?

Эти вопросы не имеют ответов. Но именно потому так живуча легенда, рожденная культурными потребностями жителей Томска, одобренная фольклором, суевериями, литературными, церковными традициями и обильной пропагандой.

## Литература

Адрианов А. В. Прошлое Томска // Город Томск. — Томск: Сибирское товарищество печатного дела, 1912. — С. 101—183.

Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. — М., 1982.

Даль В. И. Упырь. Страшные легенды, предания и сказки. — СПб., 2010.

Назретян А. П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопросы философии. — 2002. — № 11. — С. 74—79.

Кручина А. Старый Томск // Советская Сибирь. — 1925. — 7 июля.

Новое в легенде о Федоре Кузьмиче // Томский вестник. — 1912. — 17 ноября.

Народная легенда об Александре Отшельнике // Русская старина. — 1880. — № 11. — С. 742—745.

Прибыткова-Фролова А. М. Памятники архитектуры XVIII—XIX вв. в Томске // Труды Томского краевого музея. — Томск, 1929. — Т. 2. — С. 51—61.

Проделки шарлатанов и легковерие дураков // Красное знамя. — 1924. — 17 августа.

Славнин В. Д. Томск сокровенный. — Томск, 1991.

Слухи и обывательские ухи // Советская Сибирь. — 1924. — 9 сентября.

Старец Федор и его келья // Сибирский вестник. — 1891. — 28 августа.

Старец Феодор Козмич в 1837—1864 гг. // Русская старина. — 1892. — № 5. — С. 452—456.

Рабочий Иванов. Старая закваска // Рабочий путь. — 1923. — 4 февраля.



Александр ГОРДИН

## ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ

*Впечатления после прочтения повести  
Анатолия Байбородина «Утоли мои печали»*

### Река любви

Проза Анатолия Григорьевича Байбородина — не для суетливого ума, жаждущего авантюрных сюжетов. Она требует некой духовной цельности, неспешности мысли, основанной на ярко выраженных традиционных русских ценностях, к которым мы относим прежде всего человеколюбие и добролюбие, любовь к родному краю и Отчизне. Эти нравственные истоки находят свое продолжение в художественном языке писателя. Это качество творчества Анатолия Григорьевича тонко подметил в свое время Дмитрий Володихин: «Диалоги у Байбородина быстры и колючи, а описания текут плавно, словно большие равнинные реки, задавая до крайности неторопливый темп его прозе. Он, может быть, специально подчеркивает свой отказ от высокой скорости текста, любовно выводя длинные и сверхдлинные предложения».

Художественное пространство А. Байбородина интересно и с социокультурной точки зрения. Человечество еще не изобрело машину времени, поэтому проза А. Байбородина, как это и положено художественной и публицистической литературе, дает возможность «увидеть», «почувствовать», «почуять» исторический контекст описываемых им событий, мест, людей и их взаимоотношений «во времена былые». Из его книг мы узнаем, о чем думали эти люди, как общались друг с другом, о чем они мечтали, во что верили, как и почему любили и ненавидели, в общем, как они понимали в целом и в частности смысл своего бытия.

И наше «шиповатое» и для кого-то неприглядное сибирское бытие кажется некоторым, живущим в более «уютных» географических широтах, в более комфортабельных природных условиях, буквально ссылкой. И моего авторского преувеличения в этом нет. Удивительно и немного обидно, что и в XXI веке при слове «Сибирь» не то что у иностранцев, но и у наших соотечественников, проживающих где-нибудь в Центральной России, глаза округляются и на устах появляется сочувственная полуулыбка...

Да, край наш суров и не изобилует ни природными, ни бытовыми удобствами. С первым вообще ничего не поделаешь. О втором нельзя однозначно сказать, что это плохо...

Почему? Честно говоря, мне трудно представить себе зимовье и даже небольшой таежный поселок (заимку) таким комфортабельным оазисом.

Тепло от костра или буржуйки никогда не сравнится с теплом электрокамина или батареи, как вкус таежной смородины или малины — с садовыми сортами этих ягод. И дело не в том, что одно теплее, а другое вкуснее. Просто это разные явления, и душевные переживания и мысли от них возникают разные. Никогда не понять сугубо городскому жителю, зачем мерзнуть на рыбалке и охоте, мокнуть и «ломать кости» при сборе черники, голубики, клюквы, черники, груздей, рыжиков, кедрового ореха и черемши. Он прав по-своему в том, что все эти дары природы можно без таежных мытарств купить на местных рынках...

Но ни за какие деньги не купишь общения с природой и с людьми, находящимися под таинственным ее гипнозом. Это особого рода общение, в процессе которого человек преобразуется. К нему возвращается, а точнее, в нем просыпается нечто забытое, стертное цивилизацией: ощущение своей причастности к живой природе. И вновь дело вовсе не в том, что человек в это время становится лучше или хуже. Просто он совершенно по-другому раскрывается и перед собой, и перед людьми. Тайга, даже без трудных переходов, суровых ночевков, проверяет его на вшивость. Она не терпит нытья, неискренности, трусливости, а пуще всего — лени и гордыни. Словом, физической и духовной слабости. Но она же способствует возникновению милосердия: у нормального человека, находящегося среди ее суровой, но звеняще чистой красоты, возникает желание быть добрее и щедрее душой.

Анатолий Байбородин не приукрашивает ни своих земляков, ни суровую природу. Но не надо быть очень искушенным читателем, чтобы почувствовать и понять, что он как автор и как человек и то и другое по-сыновьи и по-отчески любит. Любит — несмотря на некрасивые поступки, которые неизбежно случаются в жизни каждого человека, несмотря на внешнюю суровость природы, окружающей его героев с самого детства.

Именно так мною прочитывались, например, душевные мытарства молодого Ивана, которые прорывали его сердце наподобие таежного родника, стылого, но очистительного, позволяющего, говоря словами писателя, *не спалиться дотла в ненависти к себе*. Уже в более зрелом возрасте Иван покаянно думает о том, что его память настырно показывает только лихо, которое когда-то исходило от отца. Как будто и не было, может быть, и неброской, немногословной, но важной близости его с отцом. Эта близость невольно рассматривается им как часть проникновенной близости с окружающей его в детстве природой.

Отец расстилает на песке войлочную попону — ей укрывали зимой Гнедучу, — сверху кидает брезент и, сходя на берег по нужде, глянув на озеро, укладывается спать. А Ванюша, возбужденный привалившим счастьем, боясь заспать счастье, не насытившись им в полную душеньку, подкладывает сухняка в оживленный костер и очарованно следит за синими, витыми листьями огня, трепетно играющими на жарких углях. Иногда парнишка поднимается, озирает набухшие ночью кусты, потом — озеро, устало и одышливо вздыхающее в темноте, бормочущее рябью в камышовых плесах; с озера, не давая задремать рыбацкому азарту, доносятся чавкающие всплески ночных рыб, слышен волнуемый запах тины, преющей на отмелях травы... Ванюшка не помнит, когда, сомлев у костра, забирается под брезент, прижимается к отцовской теплой спине и засыпает... плещутся во сне красноперые окуни, зеркально взблескивают чебаки; отец, сын чует спросонья, поворачивается, подгребаёт его к себе, и теперь они спят, будто не всяк сам по себе, а слившись в одно ласковое родное.

Иван, вспоминая отцовские скандалы, с горечью вопрошал себя:

Но отчего же... отчего недоброе заслоняет теплые ласковые видения... Немало же добра видел от отца... Худо-бедно, а восьмерых выкормил, выполнил, поставил на ноги... А может, и не в отце тут дело?.. — в душе моей, откуда вместе с любовью выветрилось детство?

Детство! Читая эти размышления героя повести «Утоли мои печали», я окончательно убеждаюсь в том, что детские видения чаще посещают людей добросердечных, которые наперекор лихomanке-судьбе не могут и не хотят научиться любить. Любовь всегда правит их сердцем. Она, не иссякая, перетекает из одного возраста в другой. От родителей — к любимому человеку. Затем из любви к любимому прорастает любовь к детям и внукам. И год от года эта река любви становится все полноводнее и чище, потому что ни один из притоков не пересыхает в душе, не прерывает своего живительного течения. И все эти притоки, сливаясь в единое русло жизни человека, воодушевляют его на особую жертвенную любовь к жизни, к своему роду — всему живому, ставшему родным, с кем и с чем он на своем жизненном пути сроднился, сросся душой: людьми, страной, природой... У русских это единородство воплощается в простом и понятном для каждого человека слове «родина»...

### Живой образ

Особый «литературный герой» в повести — живая природа, а шире — образ малой родины. Именно живая, а не одушевленная, потому что такой ее видит автор. Вместе с ним такой видел ее и я, когда читал повесть.

Конечно, мы родились и выросли в разных таежных уголках. Моя тайга — это больше распадки, мари, хмурые ельники, мшистые кедрачи с золотыми солнечными бляхами поросших густою травой полян... Да еще стремительные в верховьях и раздольные в устьях реки, которые собирает Ангара с Саян, а Байкал с Хамар-Дабана. Но те чувства, которые испытывают герои повести и автор к «своей тайге», к своей деревне, мне не просто понятны, а вызывают неподдельное удивление схожестью детских ощущений. Словно это не они, а я уже давно подметил, как, *кипя ярими, белыми бурунами, гневно клокоча, несетя Уда, потерявшая берега, словно табун белых и серых одичавших коней*, увидел бруснику, вишневым и красным Млечным Путем рассыпанную по хребту; *рыжики, солнышками млеющие на бурой хвое, подле комлистых сосен; притаенные во мхах и палой листве желтовато-белые грузди*... Словно это подо мной дорога то *гладко вылизана недавней пургой*, то упрямо не ложится под ноги. Как будто это не они, а я видел хмурую приземистую листовенницу, которая мне в детстве ухмылялась *старческим ртом — узким дуплом, обметанным серой и смолой*... И уж точно в моем поселке *прясла пьяно вышатывались в улицу и клонились к зарослям лебеды*, а на устье Белой и Ангары во время весеннего половодья *змеиным шурианием ползла по линиям осоки полая вода* и т. д.

Этот калейдоскоп образов наполняет сердце светлой грустью, которая, подобно живительному роднику, помогает ему отмякнуть от житейских будней и вспомнить все самое чистое, незамутненное, что еще живо в подсознании с великих времен Детства.

Особого рода душевный восторг у меня вызывают пейзажные зарисовки. Каждая из них написана не на ходу, не впопыхах, а основательно, подробно и, как может показаться кому-то, привыкшему к обманчивой краткости, тяжело-вато. Лично меня не тяготит, когда перебродившие в памяти и отстоявшиеся в душе писателя многочисленные детские впечатления вдруг сходятся в единый чувственный поток — в одной сияющей своей первозданностью картине природы!

На Благовещенье зима — молодница-медведица переборола зиму-каргу; та весну стылым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, капелями плачет. Рано зажглись снега, заиграли овражки... Вешнее солнышко воскрешало от зимней омертвелой спячки быгающую тайгу, что с трех боков обжимала лесничью избу. Со дня на день зеленое марево нежно окутает лес, укроется сиротская голь робкой хвоей и листвой и заполошные птахи заголосят на утренних зорях любовные песни. А пока оживающая тайга играла сиреневыми всполохами цветущего багула да вдоль речки пушилась белая верба.

Специально подбирая слова, такого не напишешь. Совершенно очевидно, что они из души выплеснулись, в которой человек хранил их, бережно неся ранимый этот разноцвет сквозь суету и заполошность серых будней городской жизни. И ведь не пролил, не растерял...

А вот как сказочно, причудливо и по-народному метафорично писатель вспоминает о первых оттепелях — предвестниках нашей сибирской весны, которая людям, живущим в иных географических широтах, может показаться лютой зимой:

Среди череды морошных, метельных дней, когда небо бывало занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядом мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребенчишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, на жалости просилась в избенное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, — милостью Божней тихо спускалась с небес на исхлестанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-теплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком мягкими ладошками. Небо заголубело по-вешнему, и лишь позади ездовых, над самым селом, уцепившись за охлупени крыш, висели тучки, похожие на задремавших черных котов.

Мне кажется, что читатель-почитатель А. Байбородина должен быть сибиряком, желательно — жителем села или небольшого сибирского городка, который не утратил живую связь с природой, т. е. хотя бы ходит по грибы и ягоды, рыбачит, охотится и т. п. Но если он даже не сибиряк и не сельский житель — он должен любить русский живой, т. е. народный язык во всем его многоличии — от диалектной лексики до сказок, прибауток и песен.

Если эти три условия присутствуют в жизни человека естественным образом, то у него есть реальная предпосылка обрести в лице А. Байбородина «своего» писателя. Но только предпосылка — и не более того, потому что художественный язык писателя немодно сложен, поэтому ко всему вышесказанному еще надо приложить умение трудиться душой и разумом при чтении.

Художественная литература, на мой взгляд, должна стремиться доносить свои ценности через сердце одного человека многим. Писатель А. Байбородин

говорит прежде всего сам с собою, а потом уже со всеми. Если у читателя есть желание стать свидетелем-участником этого разговора — пожалуйста... Если нет, как говорится, насильно мил не будешь. Его герои не стремятся быть по сердцу всем: им чуждо как самолюбование, так и самобичевание. Они такие, какие они есть, что позволило Д. Володихину отнести прозу А. Байбородина к так называемому *христианскому реализму*. Поэтому, несмотря на определенную сложность художественных текстов писателя, их невозможно отнести к образцам информационного насилия, которые часто спекулируют на низменных интересах читателя, зачастую ловко используя для этого авантюрные сюжеты. Лично у меня авторская позиция — своеобразного несуетливого созерцания внутреннего мира своих героев — вызывает профессиональное уважение. Мне кажется, что нельзя рекламные информационные приемы манипулирования массовым сознанием переносить в публицистику и тем более в художественную литературу. На мой взгляд, то, что уместно и закономерно в рекламе, — «противно морали» в прозе, драматургии, поэзии.

### Авторская речь

Неспешно вчитываясь в повествование Анатолия Байбородина, я все явственнее от эпизода к эпизоду начинал ощущать, что слово для писателя — акт духовно-нравственного проявления личности.

Это «удивление» просветляло мои мысли и чувства, помогая более зримо, на необходимом «сердечном нерве» воспринимать происходящие в повествовании события, воскрешая в моем сознании истинное значение Слова. Оно ворошило мою память, из которой тоненькими струйками возвращались в мою душу детство, юность, и преображалось сегодняшнее бытие. Мне хотелось *притулиться* к своей маленькой деревеньке Облепихе, *приторочить* к своему дому хотя бы одну бревенчатую стену или хотя бы простой деревенский *заплот*. Я трогательно вспоминал свои детские *скрадки*. Понимал, как я был *изважен* своей незабвенной мамой. Что я сегодняшний *взаправду* во многом *слепошарый*, потому что *ухайдакался*, *просивентел* и *наматулился* в этой жизни, оттого *шибко остарел* не только телом, но и душой... И как-то по-особенному захотелось, чтобы *приправила на крыльях оттепель* душевная, *растащить тесовые крылья ворот* сердца своего и *не надсаживать во зле душу* свою более никогда, что бы худого или хорошего ни случилось в жизни моей.

И в то же время какая-то *надёжа* возникала в душе, потому что, более пристально приглядываясь к себе, вдруг обнаружил, что речь моя, часто неказистая или, наоборот, чересчур замысловатая, по-прежнему пересыпана брусничным бисером пословиц, поговорок, прибауток, которые неведомо откуда возникают в моем сознании, иногда даже помимо воли моей. И понятно, с каким желанием я, встречая в повести ранее мне не известные изречения, припадал к ним всею своей душой! *Вот оно наше счастье — дождь и ненастье; день во грехах, ночь во слезах; Благовещенье — птиц на волю отпущенье; вот печка (печаль), что кусать неча; черного кобеля не отмоешь до бела; наш талан (удачу) давно съел баран; не все лаской, а ино и таской учат; будут побрякунчики (деньги), набегут и поплясунчики (друзья); мудрен, у кого карман ядрен; не скот в скоте — имануха, не зверь в звере — суслик, не рыба в рыбах — рак, не птица в птицах — нетопырь, не муж в мужьях, кем жена владеет; не*

*найдешь паренька, прыгнешь за пенька; явилось чудечко на блюдечке; не будь грамотен, но будь памятен...* И так далее.

Говорят, что социально ответственным делает человека знание закона. Может быть, спорить не буду... Но для меня это — естественное следование лучшим обычаям и традициям своих предков, большинство из которых отражены в пословицах, поговорках, прибаутках... Этот духовно-нравственный свод законов не записан на специальной бумаге и не скреплен ничьими подписями и печатями... Но эти «неписанные законы» всегда были коллективной социальной памятью народа и на протяжении многих веков руководили мыслями и чувствами русских людей, часто вопреки религиозным или партийным уставам, позволяя сохранить необходимую ясность в межличностных бытовых отношениях.

Большую смысловую роль играет в повести особенное метафоричное мышление автора. Показателен в этом смысле один из самых блистательных эпизодов, в котором автор рассказывает о том, как после купания ребятишек в русской печке мама Ивана Аксинья слишком плотно прикрыла трубу, отчего чуть было сама не угорела и не уморила своих маленьких детей:

Лишь укуталась мать сном... потом незримый в избяной теми тронул за плечё и — голос (раздался)... И отползла темень — злая нежить... Стыло и отчужденно мерцал Млечный Путь — гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души... Плыли жаворонками две светлые души, вздымаясь выше и выше по витой незримой лестнице...

Всё в повести Анатолия Байбородина — дома, деревья, реки, дороги, люди — животворящее, поэтому окна смотрятся *в серый, еще очарованный сном ирриковый распадок*, подобно таежной змее, *темень — злая нежить*, отползает от жилья, а *утомленная песнь падает из саней и теряется в дороге*.

Особенного накала достигает этот метафоричный язык, когда речь заходит о душевных переживаниях героев повести:

Чужая, недобрая суть втекала в Иванову душу уже с трудом, через крепнущую с годами запруду... Но потом Иванова душа морщилась, сжималась, чтобы чужая, настырнее и мельче, какую пустил в свою душу, не хлябала, не болталась там, как шевяк в проруби, тревожа Иванову суть. Душа же чужая, конечно, и билась, и тревожилась, не находя себе покоя и улежистого места, отчего и приходилось с грехом пополам освобождаться от куражливой и неспокойной гостьи, вначале увеселившей, а потом пришедшейся не ко двору...

Возможно, некоторые из слов просто и естественно рождаются у Анатолия Григорьевича в ходе самого повествования. И они не выглядят чужеродными, потому что (как это бывает и в жизни) сочиняются «на ходу», представляя собой свободные смысловые производные от уже «устоявшихся» слов. Так же, как и эти последние, они не противоречат логике народного мышления. Поэтому каждому понятно, что означает *окоротить дорогу*, *солнцевосходный край неба*, *вечерошное солнце* или какую женщину можно назвать *хаянкой* (от глагола «хаять»). Особенно если эти и другие своеобразные «народные неологизмы» возникают в контексте таких художественно выразительных высказываний, как *радость померкла*, *закатилась вечерошным солнцем в хребты* или *берет не глядя, словно видя ее (голубику) пальцами, что за полвека — в трудах от темна до темна — стали зрячими*.

## Сибирское бытие души и сознания

Повесть Анатолия Байбородина «Утоли мои печали» способствовала воскрешению в моем сознании некоторых забытых детских и юношеских впечатлений. Например, я напрочь забыл и только благодаря Анатолию Григорьевичу вдруг вспомнил, как моя прабабушка Аксинья, которую по странному совпадению звали так же, как и мать Ивана, с помощью дресвы — речного песочка, просеянного ситом, пережженного в русской печи докрасна, шоркала веничком-голячком пол, который потом промывала горячей водой, отчего сосновые некрашенные плахи *обнажали нежную древесную желтизну*.

Но особое потрясение испытал я, читая эпизоды повести, где герой вспоминал своего отца и думал о том, как его образ, будто после долгой спячки, пробудился уже в его физическом и духовном теле:

Иван вдруг, поразившись и испугавшись, ощутил себя своим отцом... Отец неожиданно, сам по себе, без Иванова усилия, полностью вошел в его суть словно в облюбованную им справу, которая оказалась теперь отцу в пору...

Именно так порой и я, как, возможно, и тысячи других сыновей, *ощущаю*, что отец начинает «властвовать» над моей душой. Нравится мне это или не нравится, но я, говоря словами писателя, то и дело смотрю на этот мир, а значит, и на себя — *отцовским, ледянисто-синим, насмешливым взглядом*.

У меня были сложные, как и у многих, взаимоотношения с отцом. Не все мне в его жизни нравилось. Но то, что я не принимал в нем, загадочно стремится повториться в моей жизни. В такие минуты, когда я ловлю себя на мысли, что поступаю как отец, я сам у себя вызываю недоумение, даже отвращение... Но бывают случаи, когда присутствие во мне моего отца делает меня *цельнее, понятнее*... Теперь я понимаю, что в отце странным образом сочеталась детская непосредственность с трезвым умом, который вынуждал его быть не просто прагматичным, а принципиальным (отец был, как это принято говорить, «настоящим коммунистом»), предельно честным, с трудом, но умеющим признавать свою неправоту... Несмотря на внешнюю суровость, он был милосердным (он ни разу в жизни не тронул меня пальцем, хотя иногда, думаю, надо было!), исключительно человеколюбивым, хотя, может быть, внешне это не очень-то и проявлялось...

Например, в нашей семье постоянно вдобавок к трем родным детям жил еще кто-нибудь из наших двоюродных или троюродных братьев, которые по тем или иным причинам не могли жить в родных семьях. И никогда папа не делал разницы между ними и нами, не говоря уже о том, чтобы попрекнуть куском хлеба. Хотя мы жили, мягко говоря, небогато...

Разумеется, вспоминая это, я горжусь отцом и незримое присутствие его такого в себе приветствую. Я, как бы опираясь на жизненный опыт отца, стараюсь не повторить его ошибки, а все самое лучшее от него сохранить в душе. Такого рода незримая связь с моими родителями помогает в какой-то мере понять, кто же я такой, зачем «копчу белый свет» и что хотел бы передать по наследству своим детям. Да не всегда это получается. Ведь и чужие, иногда не самые светлые души тоже были вхожи в мое сознание...

И об этом очень точно размышляет в своей повести Анатолий Байбородин, когда рассказывает о том, что Иван «не раз обращался в других людей», пуская в свою душу души чужих людей, пока *не привадилась к одиночеству* и не стал все



*настойчивее пытаться оживить себя взаправдашнего, непридуманного и неподменного, такого, каким был загадан сызмала, каким его растили мать с отцом; но сколь ни вслушивался, сколь ни думал, так и не мог вспомнить себя изначального, яко ангела, не тронутаго грехами смертными.*

Такого рода размышления писателя мне напоминают духовные усилия творчески разрешить поставленную жизнью перед человеком основополагающую проблему, которая в той или иной мере известна любому смертному: «Что есть человеческое бытие, зачем он явлен этому миру, каково его предназначение?»

Это простейшее целеполагание жизнетворчества любого человека. Именно жизнетворчества, а не жизнедеятельности. Потому что жизнедеятельность направлена на достижение материальных целей, а не духовных. Она должна и может быть частью жизнетворчества человека. Но опасность этого инструмента заключается в том, что он очень часто превращается в самоцель, сначала подменяя духовные ценности материальными, а впоследствии и вовсе становясь вульгарным смыслом жизни.

При чем же здесь художественная литература, а если шире — искусство? Дело в том, что искусство, как и жизнь человека, может быть как актом творческого самопознания, так и актом, направленным на удовлетворение сиюминутных потребностей. Художественное творчество не может никому прямолинейно навязывать те или иные ценности и нормы поведения. Оно лишь способ поделиться опытом самопознания. Его задача — побудить, активизировать однородный опыт у читателя, зрителя, слушателя.

Давайте спросим себя честно, способно ли массовое искусство выполнить эту задачу? И вообще, какие задачи оно выполняет?

Первый вопрос мне кажется риторическим. В свое оправдание дельцы ширпотреба придумали множество оправданий: у человека есть право выбора; у него должна быть свобода самовыражения; человек должен быть к поступкам и позициям других людей терпимым; искусство может и должно способствовать психологической разгрузке человека и т. п. Убежден, что это еще не все аргументы и в ближайшие годы будут придумываться все новые и новые тезисы в защиту массового искусства. Это обусловлено рядом очевидных надобностей материально ориентированного мира.

Слово не хлеб, не одежда, не кров. Оно насыщает, согревает и укрывает от нелюбви и ненависти душу. Поэтому, проникая в область духовной жизни, сиюминутные потребности опираются не на душу, а на физиологические инстинкты, которые, попадая из материального измерения в духовное, превращаются в низменные: размножение — в похоть, потребление пищи — в чревоугодие, гармония тела — в самолюбование и гордыню и т. п. Это проникновение является подлым, потому что основано на подмене ценностей. Это проникновение агрессивно, потому что в результате материальное объявляет свои правила игры на чуждой ему территории. Это проникновение разрушительно, потому что уничтожает саму душу человека и заменяет ее даже не рациональным сознанием, а каким-то новым органом, призванным насыщать, ублажать, в конце концов, его тело, а точнее, его биологические инстинкты. В результате прекращается созидательная работа души, умирает задохнувшаяся от рационального цинизма совесть.

Хотя, подчеркнем еще раз, сиюминутные потребности сами по себе не безнравственны. Как сказал А. Кобенков: «А почему бы не о быте, / Когда в него по шляпку вбиты?» Важно уметь в быте находить пространство для поэтического полета, а не, напротив, превращать его в бытовуху, в том числе посредством



ерничества над изначально святыми для каждого русского человека понятиями Бога, Родины, души, совести... Равно грех и всеу трепать эти высокие понятия... Из них ткалось и ткется наше окраинное, может быть, для кого-то убогое, а для нас находящееся рядом с Богом (у Бога), простое, незамысловатое сибирское бытие души и сознания.

Таких слов специально и торжественно не произносила ни моя бабушка Наталья, мама моего папы, ни прабабушка по линии моей мамы — Аксинья, у которых поочередно то в Облепихе, то в Усолье-Сибирском плавно и лучезарно протекало мое детство. Для них было само собой разумеющимся, что человек — творение Божие. А Родина — их деревня, семья, тайга... Жить хорошо — не значит жить богато, а жить душа в душу и по совести...

Сквозь смутную завесу памяти я хорошо помню, как они ранними утрами и поздними вечерами шептали какие-то чудные слова, обращаясь к кому-то неведомому, но, как мне уже тогда казалось, могущественному и еще пуще — страшному. Затаив дыхание, я прислушивался к их бормотанию, пристально всматриваясь в полумрак комнаты, пытаюсь увидеть их незримого собеседника. У одной комнатка была освещена еле мерцающей, как звездочка в небе, лампадкой. У другой — простой керосиновой лампой... А мой дед Георгий был коммунистом и не признавал ничего сверхъестественного.

Но если в Облепихе в красном углу над лампадой висело несколько икон, с которых на меня смотрели потемневшие лики каких-то женщин, младенцев и бородатых мужиков, то в усольской избе это была просто пугающая пустота.

С тех пор прошло много-много лет... И только в тридцать с небольшим лет, познакомившись Ветхим и Новым Заветами, я начал понимать смысл некоторых слов, которые постоянно упоминались в моей семье, правда, чаще с иронией. Особенно в этом преуспевал мой брат Володя. Например, он одарил меня, самого младшего в семье, обидным прозвищем «сопливый Самсон». Он же постоянно иронически упоминал Иисуса Христа, разных апостолов, пророков и прочих святых, о которых я тогда слыхом не слыхивал и воспринимал их с подачи Володи как неких неуклюжих сказочных героев. Так и жили они до поры до времени в памяти моей униженные и осмеянные. Когда же я узнал, кто они такие в действительности, я не раз тоскливо вопрошал свою память: «Какие молитвы шептали мои бабушки, о чем они просили Бога?»

И только читая повесть Анатолия Байбородина, я как-то явственно увидел щупленькие фигурки моих бабушек. Потом взошли в мое сознание их просветленные лица, так напоминающие своей строгостью и благостной отрешенностью лики святых. С первых же строк молитвы мамы Ивана я вспомнил и воскликнул про себя: «Да, именно ее чаще других “читали” бабушка Наталья и прабабушка Аксинья!»

О всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплемennых и междоусобныя брани, от напрасныя смерти, и от нападения вражия, от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякого зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим... и всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению...

У меня возникло ощущение, что эта молитва вернула мне часть моей жизни, позабытой, растраниженной в житейской суете, но так необходимой именно перед ликом приближающейся Вечности.

Интересные воспоминания и размышления расшевелил в моей памяти и сознании также отрывок из тринадцатой главы «Первого послания к Коринфянам святого апостола Павла», который приводится в конце повести и в котором дается христианское понимание любви.

Еще сызмальства я примечал, что мама наиболее сердечно всегда относилась к тем, кто в чем-то нуждался, был не способен постоять за себя...

Вот и папу жалела и по-своему любила. Хоть и выпивал, мягко говоря, крепко... Был иногда тяжел на руку... Будучи не по годам серьезным ребенком, я этого никак не мог понять, обидно было за маму. Понадобились долгие годы, чтобы, не оправдывая отца, все же сердцем прозреть: маялся душою человек, потому что, будучи одаренным от природы поэтическим талантом, растратил свою жизнь как бы не по назначению Божьему. Хотя, конечно, это не так... Пока дед воевал, он был единственным кормильцем большой семьи. Хотя самому «кормильцу» было от роду в начале войны всего 14 лет! Потом дом строил... Из последних сил свил гнездо для нас с сестрой и братом. Да только по этому гнезду в зрелом возрасте моих родителей, как по живому телу, новостроечный бульдозер проехал. И окончательно «сломался» батя... Несколько лет кряду все более и более терял свое человеческое лицо, то на мгновение выныривая, то окончательно погружаясь в пучину дурманящего разум винного зелья. Наверное, *луканька* (бес) и маме, как Аксинье в повести Анатолия Байбородина, нашептывал: *Брось ты его, пропащего... Ведь еще не старая... Дети выросли... Поживи для себя вволю!* Не бросила. Даже когда отца парализовало, она долгих девять лет ухаживала за ним, став его сиделкою. Не смогла оставить в беде того, с кем вековала, от кого жизнь дала своим детям.

К нам тоже было особое отношение. Мать всегда норовила подставить свое натруженное плечо именно тому, кто больше всего в данный момент нуждался в помощи. Хоть и помочь-то могла только добрым словом да скудным, но честно заработанным рублем... Например, я целых семь лет, говоря словами автора повести, *томился выстуженной семейной жизнью*, а потом не выдержал, взял то ли грех, то ли благодать на душу — влюбился, развелся и обзавелся новой семьей. И мама тут как тут — рядом: нянчилась с детьми от первого и от второго брака...

Или, к примеру, сестра стала вдовой. И вновь мама денно и ночью работала то сторожем, то дворником и все до копейки отдавала на подъем детишек сестриных, а сама перебивалась с хлеба на воду — выживала при помощи нищенской пенсии.

Брат заблудился, растерялся и растерял себя в злодейские девяностые годы — угодил, как и отец, в когтистые лапы зеленого змия и, можно сказать, заживо сгинул, задушенный одиночеством и мужицкой бесприютностью. Мама опять рядом: полет грядки на его огороде, варит, парит, обстирывает, уговаривает... Так и закончила свой жизненный путь, доставая с чердака у него на даче приبلудившегося бездомного котенка... Умерла, по свидетельству врачей, мгновенно. Смилостивился Боженька.

Такая любовь и милосердие по отношению к своим родным — дело понятное. Но я вспоминаю и такой случай. В ту пору, когда мама уже осталась одна, к ней повадился ходить сосед — занимать безвозвратно деньги под предлогом «на хлеб», а на самом деле — на пропой. Не было ни одного раза, чтобы она ему отказала. Я ее как-то спросил: «Зачем ты ему даешь деньги, ведь он тебя обманывает?» Она поглядела на меня как-то непривычно строго, даже осуждающе и,

грустно улыбнувшись то ли моему бессердечию, то ли своему бессилию, коротко заметила: «Человек все же!» Истинно, *любовь милосердствует!*

Образы отца и матери Ивана в повести Анатолия Байбородина — одно из самых ярких моих художественных впечатлений за последние десятилетия. Конечно, мама Ванюши не такая же, как моя. У каждого своя мама — на особицу и по облику, и по духовной сути... Но вместе с тем у всех мам на свете есть нечто общее, а тем более у наших, выросших в сибирской глубинке. Вольно или невольно, читая о том, как Ванюшина мама собирает голубику, я представлял себе мою маму, близкий мне образ, ее руки, глаза, веселый, лукавый прищур, нехитрую одежду... И уже не Аксинья, а моя мама *дошла* своими проворными зрячими руками кусты голубики, притаиваясь в бору. Я понимаю, что образы отца и матери в повести имеют некий романтический ореол, хотя писатель и говорит прямо о некоторых, выражаясь вульгарным литературоведческим языком, «недостатках своих героев». Особенно «неидеален» папа. Да и маму искушает *луканька окаянный*:

Луканько окаянный, что пасется по левое плечо, словно прошептал за мать: «Ох, упасть бы и уснуть вечным сном, а тут пропади все пропадом, гори синим пламенем...» Но Хранитель, что пасется по правом плече, напомнил свойским голосом: «Хворать-то некогда, Аксинья, не то что помирать...»

Но важно то, что оба предстают перед читателями простыми — плоть от плоти природы, — но удивительно цельными людьми. У них за плечами много трудно прожитых лет, которые согнули, но не сломили их души, не выжгли сердце. В них нет гордыни. Их истина в том, что саму жизнь они воспринимают как некую святую обязанность охранить душу и, по возможности, живую плоть своих детей любовью, заботой и лаской: *И хочется, чтобы дети так и остались детьми малыми, не поганились зрелыми грехами, не скрывались с ее сторожащих, оберегающих глаз...*

Вот так и моя мама любила наших детей малых, с которыми можно было поиграть, подурачиться, побыть еще немного в их детстве. И отдалялась, когда они выросли, «становились умнее» и нельзя уже было им рассказывать, как кошка Мурка разговаривает с птицами да собакой или что заяц из леса гостинцы прислал. Мне всегда казалось, а сейчас я почти убежден, что и в нас-то, взрослых, она любила нас малых, беззащитных, нуждающихся в ее «сторожащих и оберегающих» глазах...

Надо ли говорить, что и в нас самих, и в Отечестве нашем эти простые, древние, вечные, внятные для души и сердца истины воспринимаются как глоток воды в пустыне. При этом повесть «Утоли мои печали» вовсе не мертвый слепок с действительности. Это по-своему иная реальность, как и должно быть в настоящем искусстве. Лично я воспринял это литературное произведение как некий свет, пронзающий мглу, который, возможно, не освещает, но манит к себе. Который не указывает путь, но стелется дорогой. Который дает надежду, что и в тебе может быть такой свет, если не померкнет память о самом дорогом — родителях, родственниках, малой родине — в твоей собственной жизни и ты сможешь эту нехитрую, но важную драгоценность через свои поступки, мысли и чувства донести до памяти уже своих детей, утолив тем самым свои печали...

Марина КУДИМОВА

## НЕ НАДО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БОГАТСТВА

Как известно, в стихосложении система организации поэтической речи делится на три основные подсистемы: тоническую, силлабическую и силлабо-тоническую.

Тоника в переводе с греческого означает «напряжение», «ударение». Она держится на ударных слогах, причем ударение проявляется равномерно, а безударные слоги в расчет не входят. Другое название тонического стихосложения — акцентный стих. Ярчайший его пример являет творчество В. Маяковского.

Силлабическая система благоприятна для языков с фиксированным ударением в слове (во французском — последний слог, в польском — предпоследний), и стихи строго делятся на равные слоговые единицы. Силлабика царила в России в начале XVIII века и гениев не дала, хотя В. Тредиаковского можно назвать силлабическим авангардистом.

Силлабо-тоника постепенно стала основной системой русского стихосложения после реформы М. Ломоносова. Она построена на чередовании ударных и безударных слогов. Со времен Ломоносова русская поэзия и есть собственно силлабо-тоническая — ударная, регулярная, или стопная. По соотношению формы и содержания это, говоря словами Пушкина, «мысль, вооруженная рифмами».

М. Гаспаров полагал, что для силлаботоники характерна «однообразная строгость». Но более разнообразной поэтической техники пока не создано. Гаспаров же утверждал, будто бы русская поэзия выбрала эту систему стихосложения не потому, что она отвечала «естественному ритму» нашего языка, но лишь для того, чтобы подчеркнуть «эстетическую специфику стиха». Ровно наоборот! Силлабо-тоническая система, заимствованная у германцев, именно что наиболее соответствовала не внешнему, грамматическому, а внутреннему, ритмико-метрическому строю русского языка с его подвижным ударением и многоформенностью. Иначе язык отверг бы ее, и лучшие образцы нашей великой поэзии не были бы созданы вовсе или были бы созданы по законам других систем.

Идеальное русское силлабо-тоническое стихотворение, помимо эстетической и этической стороны (а поэзия наша по преимуществу высокоэтична), — это сочетание безупречной техники и неповторимой интонации. Высший уровень стихотворчества — иллюзия нерукотворности, самозарождения стихотворения, воспринимающегося как бывшее всегда. Невозможно представить, что когда-то не существовало стихотворений «Я помню чудное мгновенье» или «Бородино».

Высший высшего уровень — иллюзия неузнаваемости, когда звук «обманывает» и «обыгрывает» все формальные признаки. Невозможно поверить, что «Выхожу один я на дорогу» написано хореем. Невозможно в другом хореическом стихотворении — «Зимнем вечере» Пушкина — постичь, как удалось в первой строке — «Буря мглою небо кроет» — обойтись лишь двусложными словами, а потом перейти к четырехсложным («обветшалой» — «запоздалый»), не прибегая к сверхсхемным ударениям и при этом не теряя размера и не ослабляя динамизма.

Только внутри силлабо-тоники не прекращается развитие главных инструментов поэтики — ритма и рифмы. Европейская поэзия, где силлабо-тоническое стихосложение возникло раньше нашего, давно отказалась от рифмовки, ограниченная языковыми пределами. Русский язык в этом смысле поистине неисчерпаем.

Однажды меня посетил французский профессор. Как все западные слависты, он, конечно же, сочинял стихи специфически славистского извода. В ходе разговора профессор горько воскликнул: «Вы, русские, счастливые — можете писать в рифму!» Поскольку я эту публику знаю плохо, то искренне удивилась, хотя и понимала, что писать по-французски в рифму — дело безнадежное: рифм там не больше полусотни. «А что вам за это будет? На каторгу отправят, как Жана Вальжана?» — спросила я. Профессор усмехнулся: «Нет, просто отвергнут. Ты никогда не сможешь на равных присутствовать в профессиональном сообществе, если пишешь в рифму». Я особого сочувствия к этой беде не испытала, но подумала: если человека это так мучает, значит, он понимает, что одним верлибром сыт не будешь.

Стихосложение стоит на двух китах — ритме и рифме. Рифма, созвучие

в конце строки, создает эффект собственно поэтического языка. Именно наличие рифмы помогает уловить разницу между поэзией и прозой. Все остальные признаки относительны. Ритм — мерное, симметричное чередование безударных и ударных слогов, фонетическая структура стихотворной строки, создающая эффект упорядоченности строения стихотворной речи. Метр — лишь частный случай, схема звукового ритма. Нобелевский лауреат физиолог Ш. Рише утверждал: «Рифма вызывает стихотворение. Ум работает каламбурами». В. Шаламов, называвший рифму термином XVIII века «краесловие», писал:

Возможности русской рифмы неисчерпаемы, и браться за разрушение «краесловия» — неблагоприятное дело. Современная русская рифма есть скрепление, соединение различных частей речи, есть конструктивный элемент языка в борьбе с пустословием, со словесной неряшливостью за лаконизм, за точность поэтической речи.

Есть еще свободный, нерифмованный стих, верлибр, которым заполнены сегодня журналы и альманахи. Но верлибр в русской поэтике был и остается межлитературной или паралитературной формой. Потому-то его сложно отнести к одному из двух соотносительных понятий и сложившихся стратегий литературы — стихам или прозе. Верлибр воспринимается как явление промежуточное, т. е. маргинальное. Допоэтическую природу верлибра удостоверяют дети. Не владея техникой стиха и не имея о ней представления, они в начальных творческих проявлениях чаще всего, как сказал бы господин Журден, «говорят верлибром». Но самые первые элементы человеческой речи уже симметричны. «Ма-ма», «дай-дай», «ням-ням» есть не что иное, как проторифмы.

Стихосложение есть техника, для которой характерен концентрированный синтаксис. В русской поэзии возможности синтаксиса доведены в XX веке до предела Хлебниковым, Маяковским, в высшей мере — Цветаевой и ее учеником Бродским. Поэзия, достигнув вершин, спускается к своим классическим подножиям и от них прокладывает новый маршрут. Искусство не может быть вечно авангардным, «новаторским»: его движение обратно.

Но что же такое поэзия? Если стихосложение — система организации человеческой речи, то поэзия — охранительная, экологическая система организации мира, как внутреннего — поэта, так и внешнего — мироздания. Поэзия — имплицитное, неявное знание, проявляемое при помощи ряда вербальных, постоянно видоизменяющихся приемов. Поэзия — это проявление глубинных душевных процессов, в высших точках прорывающихся к духовному началу, не обязательно религиозному, но всегда ему пограничному. Поэзию отличает тайнопись, система умолчаний, невербализуемых состояний. В прозе мысль — не говоря уж об идее — проговаривается автором или героем всесторонне, если не исчерпывающе. Поэзия сама по себе как исключительный род языка является идеей. Причем идея эта зачастую сослагательна, то есть ассоциативна. Рождение ассоциаций как по сходству, так и по контрасту — неотъемлемое свойство поэзии. Александр Межиров говорил:

Нужна обязательно какая-то степень отстраненности. Малевание с натуры абсолютно бессмысленное занятие. У замечательного русского поэта Николая Глазкова есть такие строчки о друзьях: «Все, что они сказать могли бы, / я беспощадно зарифмовываю». Здесь главное — это частица «бы». В ней все дело.

Это напоминает уже зацитированные стихи Маяковского об «улице безъязыкой». Поэзия — это предельно концентрированное сказанное за других.

Острейший вопрос сегодня — вопрос поэтической культуры. Русская поэтическая культура — это негласный договор между индивидуальным и массовым, профессиональным и любительским творчеством. Парадокс ныне состоит в том, что массовое и любительское — за счет того, что классические образцы легче имитировать, их модели доступнее в воспроизведении — постепенно вытесняет и подменяет профессиональное. Но поэзия держится за классическую традицию не в силу косности или отсталости, а в силу самосохранности. Разрушение традиции, достигнув критической точки, ведет к разрушению культуры, к культурной энтропии. А поскольку психология творчества включает в себя непременно желание славы, то есть известности и популярности, многие пользуются массовыми поэтическими формами, как окончивший Оксфорд рэпер Оксимирон или как Ах Астахова, собирающие значительную аудиторию. Это не удивительно. В поэзии, рассчитанной на слух, всегда лидировали те, кто находил доступную широкой публике форму и сниженное до определенного уровня восприятия содержание. Поэтому популярность Асадова или Деметьева несравнимо выше Тарковского или Слуцкого.

Уральская поэтесса Нина Ягодинцева — одна из немногих, кто отважился исследовать феномен поэтической культуры. Выводы печальны:

...На сегодняшний день русская поэтическая культура не является специальным объектом культурологического исследования. <...> Во-первых, современная наука не владеет в достаточной мере методикой изучения особых состояний личности, характерных именно для

поэтического творчества и для восприятия поэзии, обеспечивающих целостное, гармоничное переживание со-бытия человека и мира. Изучаются преимущественно художественные средства выражения этих состояний, литературные формы в их историческом развитии и теоретическом аспекте, психология творчества и биографии авторов (в том числе в их взаимосвязи и взаимовлиянии). Вторых, русская поэтическая культура во многом апеллирует к иррациональным лирическим переживаниям, состояниям, выражаемым исключительно в образной поэтической речи, что оборачивается для научного сознания, находящегося в рациональном пространстве, отсутствием, неустановленностью критериев оценки отдельных элементов поэтической культуры.

Всплеск массовой версификации порожден доступностью. Само по себе это явление позитивное, но с большими оговорками. Людей, не обладающих литературными способностями, однако спонтанно тяготеющих к русской поэтической традиции с ее высокой стилистикой, глубоким лиризмом и музыкальностью, необходимо учить и воспитывать. Для этого сегодня нет никаких институций, нет экспертного сообщества. Множество разного рода курсов, студий и школ построены на коммерческой основе и заинтересованы в количестве участников, но не в качестве обучения.

Доступность порождает небрежность. На первые позиции один за другим выходят поэтические неумехи, и культ этой агрессивной неумелости продолжает нарастать. Когда-то я подрабатывала так называемыми внутренними рецензиями. В издательстве давали рукопись для первоначальной фильтрации. Хочу сказать, что тогдашний графоман в массе своей был мастеровитей нынешнего. Человек, в смысле литературного будущего безнадежный, хотя бы читал стихи — и

далеко не худшие их образцы. Я вообще нежно люблю графоманов, экспедиторов слова и сюжета, считаю, что все таланты у них в долгу. Графоман часто не в состоянии распорядиться замыслом, довести его до исполнения. А строчки с проблесками гениальности помню до сих пор. Например: «Парус в море — конус света». Сейчас поток самодеятельной поэзии не менее мощный, чем в 70-е — годы поэтического бума. Но уровни четко различаются. Люди, которым за 40, знакомы с основами версификации хотя бы в диапазоне школьной программы. Молодые — настоящие дикари формы и стиля. Кто-то может подумать, что это и хорошо: чем безграмотнее, тем свежее и незаемнее. Увы! Настоящей оригинальности добиваются в литературе вовсе не те, кто движим единственно интуицией и инстинктом подражания, но те, кто сочетает их с высокой культурой. Только в награду за труд окультуривания даруется новый язык и новая — а не натужно «новаторская» — поэтика. В Кемерове продолжается судебный процесс по обвинению некой сочинительницы рецензента, употребившего слово «графомания», — в оскорблении. Неудачные стихи и графомания — не одно и то же. Графомания — это претензия «быть как», «быть наравне с». А неудача — когда человек занимается не своим делом, но не может себя здраво оценить. Графомания не исключает частную удачу, находку, яркую строку. Все губит претенциозность.

Здесь мы неизбежно подходим к проблеме поэтического дарования. Баратынский сказал: «Дарование есть поручение». В его время это уравнение не требовало комментариев: божественное происхождение творчества принималось априорно. Сегодня сразу возникает минимум два вопроса. Что есть дарование? И чье, собственно, поручение? В постмодернистской ситуации это самые



острые вопросы. Все надо объяснять заново, как после длительной амнезии. Демократизация искусства довела до абсурда изначальные положения, формулы и теоремы, доказанные временем. Каждый теперь может сложить какие-то слова и найти желающих обосновать оригинальность и новизну такого сложения. Да, поэзия — «великое “быть может”». Да, «чем случайней, тем вернее», как сказал Пастернак. Ходы в поэтической игре (а игрового начала здесь никто не отрицает — проблемы начинаются, когда игрой исчерпывается содержание) интуитивны и крайне иррациональны. Человек не слышит себя всего — лишь какие-то отзвуки Замысла о себе. Миссия поэта — преодоление хаоса мира. К этому прибавляем желание сказать нечто так, как никто еще не говорил. Концентрированная речь, защищенная от хаоса и посторонних шумов метром, ритмом и благозвучием, гармоническим сочетанием которых поэзия и является, ярче проявляет смыслы, нащупывая их там, где человек уже ни на что не надеется, или возвращая их тому, что, казалось бы, уже полностью обесмыслено. Нынешняя поэзия как раз весьма хаотична, беспредметна, мало беспокоена тем, «как будем вечность проводить», по словам Пушкина. Сакральная природа творчества отвергнута, осмеяна, магическая — непропорционально преувеличена. По природе поэзия очень проста, как всякий архаический способ мышления. Один старый поэт учил меня: «Это как баба корову заговаривает». Казалось бы, заговор — магическое начало. Но если поэт не нашел пути от магического к сакральному, от душевного к духовному, он, говоря языком Писания, «всеу трудишася».

Русская поэзия в своих высших образцах — а в России, как и всегда, сегодня живет и пишет по крайней мере несколько поэтов мирового уровня — всегда

исходила из традиции, сложившейся к концу XVIII века, условно говоря, при Державине. Дилетанту кажется, что классическая форма давно мертва. Это не так. «Заумная» поэзия попыталась в России возглавить движение, развитие стиха — и оттолкнула большого читателя, напряженно ищущего в поэзии совсем другого — больших чувств и ответов (разумеется, не в форме прокламаций) на вечные вопросы, а не утомительных лабораторных экспериментов. Русская поэзия права великой правотой в ощущении неисчерпаемости и вечной обновляемости классической формы. И на этом поле она непобедима.

Словесное творчество каждого народа сильно, пока сохраняет традицию, практику, складывавшуюся не одно десятилетие. Здесь «старые мехи» не портят нового вина, но, напротив, помогают ему достичь изысканности букета. Это доказал русский Серебряный век. Но это же доказала и советская поэзия, давшая ряд великих имен, не порвавших с традицией, но чрезвычайно ее обогативших. Сохранение совсем не обязательно означает консервирование, как и традиция, разумеется, не означает писание исключительно пятистопным ямбом. Если никто из великих не вышел за пределы вечных тем, то никто и не повторился в их интерпретации. Когда-то и наскальная живопись была авангардом. Но одно дело, если из нее вышел Леонардо да Винчи, и совсем другое — если Леонардо вернулся к примитивным воплощениям и при этом настаивает, будто это и есть последняя истина. Традиция — система, способная к вечному обновлению и развитию. Авангард, не ставший традицией или навязываемый в качестве таковой, — это антисистема, путь назад. То, что нам «впарил» ловкий продавец, и то, что мы намеревались приобрести, — разные товары. Приверженцы Хлебникова хо-

рошо усвоили его словесные деконструкции. Но никто из них не придумал слова «летчик», то есть не приумножил потенциала языка. «Глобализация» в культуре — опасная утопия. В литературе она ни к чему, кроме потери идентичности, не приведет. Задача поэзии — спасение языка и гармонизация его сложнейшего пространства, а не культурный туризм, не повальное книгопечатание или присутствие в соцсетях.

Сегодня, когда каждый Ять может победить в ста поэтических конкурсах, нацепить на грудь выводок орденов, по сходной цене издать полное собрание сочинений и продавать его хоть в электричках, прочно забыто, что Лермонтов отобрал для публикации тринадцать своих бессмертных стихотворений. Даниил Андреев не напечатал при жизни ни запятой! Он увидел изданной лишь написанную в соавторстве книгу «Замечательные исследователи горной Средней Азии». Поэзия — одно из последних препят-

ствий на пути к окончательной идиотизации и немоте. Своей неисчерпаемой комбинаторикой и вариативностью она демонстрирует великую системность мира и сложность, многомерность его постижения человеком, потому что только человек обладает логосным, словесным мышлением и способностью к его вербальному воплощению.

Приведу совет великого Рильке из «Писем к молодому поэту»:

Исследуйте причину, которая Вас побуждает писать, узнайте, берет ли она начало в самом заветном тайнике Вашего сердца, признайтесь сами себе, умерли бы Вы, если бы Вам нельзя было писать. И прежде всего — спросите себя в самый тихий ночной час: должен ли я писать? Ищите в себе глубокого ответа. И если ответ будет утвердительным, если у Вас есть право ответить на этот важный вопрос просто и сильно: «Я должен», тогда всю Вашу жизнь Вы должны создать заново, по закону этой необходимости...



Михаил ХЛЕБНИКОВ

## **БЛОК, ЗЕРКАЛО, НОГА, ИЛИ В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО ОТРАЖЕНИЯ ДМИТРИЯ БЫКОВА**

В историю книгопечатания Уильям Буллок вписал свое имя изобретением в 1863 году ротационной машины с автоматической подачей бумаги. Печать шла с двух сторон рулона, и скорость ее возросла до 30 000 листов в час. Естественно, что машина Буллока существенно упростила и удешевила типографский процесс — книги и газеты находили все большее количество читателей. К сожалению, сам Буллок четыре года спустя стал жертвой собственного изобретения. Находясь в типографии, он заметил, что механизм одной из машин заклинило, и, пытаясь «исправить» поломку, пнул остановившийся блок. Однако машина зажала и раздробила его ногу. Последовавшая через несколько дней гангрена не оставила изобретателю шансов.

Говоря о войне творений против своих творцов, напомним, что литература ранее уже успела показать вариант этого рокового столкновения. Все помнят сюжет романа Мэри Шелли, написанного в начале XIX века: доктор Франкенштейн становится жертвой собственного научного тщеславия. Созданный им монстр преследует не только доктора, но и близких Франкенштейну людей: родных, друзей, любимую девушку. Не менее драматич-

ные примеры конфликта творца и его создания мы находим в истории самой литературы. Нередко писатели становятся невольными жертвами ими же изобретенных приемов, которые они первоначально самонадеянно считали самыми удачными и яркими.

Одно из заметных мест в современной отечественной словесности занимает Дмитрий Быков, отметившийся практически во всех известных на сей день жанрах литературы. Романист, поэт, автор биографических книг, новеллист, эссеист, автор пьес, некоторые из которых были даже поставлены. Но пространство книжных страниц оказывается для него слишком тесным. И вот в ход идут публичные лекции, передачи на радио, которые не могут не поражать своим размахом. Так, о русской литературе XX века автор готов прочитать сто лекций. Кругло, солидно, исчерпывающе. Собственно, размашистость и уровень дерзаний служат преградой, своего рода предохранителем от возможных придиорок недоброжелателей. Да, признаем, Быков порой ошибается, например, приписывая М. Булгакову дворянство. Но мы должны оценить масштаб: сотни лекций и выступлений, тысячи имен, названий,

дат... Другое дело, что наделение автора «Мастера и Маргариты» дворянским титулом демонстрирует явную глухоту литературоведа к тому, о чем написан роман, и непонимание того, кто мог его написать. А в публичной лекции о Некрасове Быков говорит об утонувшем Добролюбе, тогда как все помнят, что молодой одаренный критик умер от туберкулеза. Это нужно понимающе списать на то, что персонажи и творцы русской литературы попросту слились в сознании автора: Писарев, Катерина, Добролюбов... Сотни выступлений, тысячи имен...

Но мы предлагаем уйти от увлекательного, но мелкотемного процесса «ловли блох» и обратиться к вещам более основательным. Быковым в ряде написанных им книг и прочитанных лекций выдвигается теория «литературных двойников». Смысл ее несложен: почти у каждой крупной фигуры в русской литературе обнаруживается свое современное отражение. У Леонида Андреева это Петрушевская, у Марка Алданова — Акунин, у Горького — Прилепин. В зависимости от того, кого и с кем скрещивает наш селекционер от литературы, читателю/слушателю предлагается набор признаков, по которым и определяются пары. Так, в биографической книге об Окуджаве выясняется, что он — зеркальное отражение Блока. Доказательства приводятся самые разные. Блок выступил певцом революции в «Двенадцати», Окуджава подписал «письмо сорока двух» в октябре 1993 года, одобряющее расстрел парламента. Несомненная параллель, по мнению Быкова, хотя разница между гениальной поэмой Блока и подписью Окуджавы в коллективном подлолатом верно-подданническом письме слишком заметна, чтобы ее не видеть. Следующая параллель: и тот и другой писали стихи о женщинах. Тонкое, неожиданное замечание. Или еще одно сравнение, претендующее на «поразительное сходство»:

Эпических попыток у Блока было несколько, из них наиболее серьезная — «Возмездие». Она не доведена до конца. Окуджава написал свое «Возмездие» — роман «Упраздненный театр», книгу о доме и о своем раннем детстве, о генезисе и корнях, — и тоже не довел замысел до конца. Любопытно, что поэма Блока обрывается в миг, когда герою немного за двадцать, а автобиографический роман Окуджавы доведен до ареста родителей, когда герою тринадцать.

Блок пишет поэму, Окуджава — роман. Поэту в момент написания тридцать лет, прозаику — за семьдесят. «Возмездие» останется навсегда в русской литературе, «Упраздненный театр» не рискнет причислить к классике даже самый упертый поклонник Окуджавы. Но Быкову «любопытно»... Последним аргументом для сомневающихся, если таковые остались, становится следующий довод:

Даже в авторском облике — часто субтильном, сниженном, хотя и Окуджава, и Блок были рослыми кудрявыми красавцами (Окуджава, правда, рано полысел, и мы чаще всего видим его на фотографиях старым или по крайней мере пожившим), — отмечается разительное сходство...

В итоге литературоведческие и биографические труды рассыпаются в хаотический набор интересных утверждений и смелых догадок. И вовсе не глумлением будет предположить, что читателю запомнится лишь тот «доказанный факт», что Блок был «лысым Окуджавой», а Окуджава — «кудрявым Блоком». Как мы видим, Быков подобно американскому изобретателю и с таким же старанием пытается втолкнуть Окуджаву в Блока, как Буллок — блок в машинное нутро. В отличие от случая Буллока, здесь нам искренне жаль Блока.

Далее в тексте происходит еще одно весьма неожиданное «родственное» от-

крытие: «Самое интересное тут, что в Польше у Окуджавы был двойник — крупнейшая европейская поэтесса Агнешка Осецка». Здесь уже становится по-настоящему «интересно» и «любопытно», каким способом изобретательный автор запараллелит эти две фигуры. Увы, биограф уклоняется от заманчивой перспективы сравнить фотографии Булата Шалвовича и Агнешки. Скороговоркой нам сообщается лишь, что Осецка писала тексты песен для театра и кино. На этом параллели, собственно, и заканчиваются. В качестве примечания отметим очередной пример размашистости Быкова: «Крупнейшая европейская поэтесса Агнешка Осецка». Заявление сильное и поэтому требующее объяснения. Кто, когда и почему наделил польскую поэтессу этим званием? Ответа нет. Автор так видит.

Чтобы убедиться еще раз в причудливости, извилистости теории «литературных двойников», раскроем быковскую «Советскую литературу. Краткий курс». Статья про Валентина Катаева (в которой, кстати, литературовед рассказал нам о дворянстве Булакова) не обходится без нового зеркального открытия, упакованного в один объемный абзац:

Я даже думаю, что он был странным набоковским двойником, его зеркальным отражением; один из главных законов всего живого на свете — парность, и почти у каждого нашего гения есть несомненный западный двойник. У Платонова, скажем, — Фолкнер. Тут можно проследить занятнейшие параллели (с Хемингуэем, впрочем, тоже). Набоков и Катаев зеркальны во всем — дело тут, конечно, еще и в социальном антагонизме. Оба, что интересно, атеисты; оба начинали как поэты, к революции относились одинаково страстно и пристрастно — один с обожанием, другой с ненавистью. Катаев сильно начал, с тридцатых по пятидесятые писал посредственно (не считая, конечно, «Паруса»), закончил блистатель-

но; Набоков начал слабо, с тридцатых по пятидесятые писал исключительно сильно, закончил посредственно. Оба описали круг — опять-таки любимая фигура и любимый тип композиции у обоих. Насколько я знаю, Катаев Набокова ценил, называл его описанием феноменом, чудом стиля; отзывов Набокова о Катаеве, по моему, нет, но Ильфа и Петрова он обожал — не зная, что сюжет «Двенадцати стульев» подсказан именно Катаевым.

Приятно, что автор «даже думает» и ему снова «интересно», но тут нет ничего, даже фотографий.

Остановимся уже на приведенном примере и перейдем к интриге, постепенно вырастающей из всех этих бесконечных отражений. Думается, что у проницательного читателя уже созрел вопрос, на который мы ответим: «Да, Дмитрий Львович нашел и себе пару в русской литературе». Его избранником становится Дмитрий Сергеевич Мережковский. Внешне неожиданный выбор находит ряд объяснений. Во-первых, оба творца носят одно имя. Неслучайное совпадение. Во-вторых, и тот и другой начинали в поэзии, но наивысшее признание получили в прозе, а также как «лекторы и историки литературы». В-третьих, Мережковского и Быкова разделяет ровно сто лет. Или почти сто лет: 98 лет очень близко к столетию. В-четвертых, оба писали и пишут исторические трилогии. Об исторической прозе Дмитрия Сергеевича Дмитрий Львович много и охотно рассуждает. И понятно почему.

Дмитрий Сергеевич Мережковский, по моим ощущениям, был величайшим представителем русского символизма, очень глубоко и точно понимающим исторический путь и исторические особенности России прежде всего потому, что ему удалось в его исторических трилогиях — и во «Христе и Антихристе», и в «Царстве зверя» — увидеть триаду, увидеть диалектику русского исторического пути.

Дальше анализ, правда без диалектики, приобретает глубоко личный характер:

Романы Мережковского хорошо написаны, интересно читаются и будят мысль. Вот почему мне кажется, что с Нобелевской премией, присужденной Бунину, немножко поспешили.

Да, тогда поспешили, наградили не того, но ведь у Нобелевского комитета есть блестящая возможность сегодня исправить досадное недоразумение. И по нашим ощущениям, нам известно имя достойного претендента, которое совпадает...

Находятся добрые искренние слова и о сочинениях Дмитрия Сергеевича в других жанрах: «публицистика гениальная», «гениальный нюх литературного критика». Можно бегло соединить прозу и публицистику неумеренной, но идущей от души похвалой:

Нравится он мне прежде всего тем, что он с невероятной точностью разоблачал русские проблемы, и его статьи можно читать как вчера написанные. Нравится он мне, конечно, и как очень сильный исторический романист. Из его лучших, самых сильных текстов, конечно, романы «Александр I» и «14 декабря» — это просто великая проза.

Понятно, что все эти «глубоко и точно», «будят мысль», «просто великая проза» и прочие «гениальные нюхи» должны стать пятым, шестым и т. д. аргументами в пользу зеркальности. Отраженный свет должен обратить недогадливого читателя, если таковой остался, к прозе и публицистике самого Дмитрия Львовича, которые «глубоки и точны», «будят» и далее по списку.

Читая «историка литературы» и слушающая «лектора», мы много понимаем не столько о Мережковском, который всего лишь волюнтаристски назначен на должность, сколько о его отражении.

Что привлекает Дмитрия Львовича в Дмитрие Сергеевиче? Прежде всего, Мережковский выигрывает, как это ни странно звучит, за счет своего нулевого присутствия в сознании современного читателя. Быков мог спокойно найти свое отражение в фигуре помасштабнее. Легко обнаруживается, допустим, другой автор исторической прозы. С ярко выраженной зеркальностью. Сравните: Дмитрий Львович — Лев Николаевич. Зеркалятся? Еще как зеркалятся. Но есть проблема. Толстого, в отличие от Мережковского, читают. Неизбежное сравнение может плохо отразиться во всех смыслах. Этим, между прочим, объясняется неожиданное заявление: «Не мог такой человек, как Лев Толстой, написать “Войну и мир”». Быков обвиняет свое несостоявшееся отражение в плагиате. За «годик» Дмитрий Львович готов был несколько лет тому назад представить публике доказательства преступной деятельности графа Толстого. Скандала особого не вышло, но выбор весьма симптоматичен. Если Толстой не отражается, то его уничтожают. Или намереваются уничтожить. Стратегия историка литературы, таким образом, сводится к двум операциям: возвеличивание отражения и унижение тех, кто не пожелал отразиться.

Трудно так много говорить и не проговариваться. И это почти фрейдистское проговаривание проблемы мы слышим в тех пассажах, которые призваны «защитить» Мережковского. Читаем и слушаем:

Сразу хочу сказать, что мне активно не нравятся многочисленные упреки к Мережковскому в абстрактности, в умозрительности его прозы.

Другой вариант:

Мережковский изобрел новый исторический роман, в котором идеи важнее людей, а хорошо прописанный антураж лишь прикрывает вполне современные

коллизии, — тогда его историческая проза не выглядит ни схематичной, ни слишком привязанной к современности.

И еще:

Вся жизнь Мережковского, вся жизнь его круга происходит целиком в умственной сфере... Может быть, и романы его поэтому многим кажутся книжными, и те, кто его читал, тогда говорили: «Ну, Мережковский это опять-таки все квинтэссенция исторической литературы».

Итожим: абстрактность, умозрительность, схематичность, книжность.

Перечисленные качества обнаруживаются и в прозе реинкарнации Мережковского. Романы Быкова присуща фатальная особенность. Они не имеют читательского эха. Интерес публики при своем появлении они вызывают: выходят критические статьи, автору вручают очередную серьезную премию. Но спустя несколько лет про книгу уже никто не вспоминает. В остаточной памяти сохраняется лишь, что «Быков поднял важную тему». Автор старается. Читателю предлагаются неожиданная, шокирующая версия причин сталинских репрессий («Оправдание»), обращение к теме национальных отношений и национальной идеи России («ЖД»), в ход идут даже добрые старые масоны-тамплиеры («Остроумов, или Ученик чародея»). Автор честно предупреждает читателя, что собирается быть шокирующим, интеллектуально опасным:

Автор приносит свои извинения всем, чьи национальные чувства он задел. Автор не хотел возбуждать национальную рознь, а также оскорблять кого-либо в грубой или извращенной форме, как, впрочем, и в любой другой форме. Но это, конечно, никого не кольшет. Определенной категории читателей это неинтересно... Автор приносит свои извинения всем, чью межнациональную рознь он разжег.

Прочитав это, можно лишь посетовать, что автор забыл принести извинения русскому языку, который явно пострадал. Пострадал, между прочим, не в первый раз.

Сложные отношения писателя с языком были продемонстрированы уже в «Оправдании» — дебютном романе писателя. Кроме оригинальной версии тайных истоков репрессий тридцатых годов Быков — скорее всего, не желая этого — поразил читающую публику стилистическими, языковыми находками. Не будем голословными. «Для довершения прикрасности облика он был по всему телу сизо татуирован и подстрижен под бобрик». Весело получается. Есть находки, за которые учителя в средних классах без раздумий ставят двойки: «Над столом горела голая слабая желтая лампочка без абажура». Представляется, что подобная неряшливость не только следствие языковой глухоты, но и часть писательской стратегии автора. Быков выше мелких языковых проблем, ибо осознает свою миссию:

Истина открывается не для того, чтобы прятать ее в столе. Истина поднимает вокруг себя бурю исключительно для того, чтобы дальше разбросать свои семена. Я родился для того, чтобы написать эту книгу, и придумывал ее в последние десять лет.

Согласитесь, слабо было плагиатору Толстому написать нечто подобное в предисловии к «Войне и миру». Поэтому он и обошелся в своем романе без предисловия, ничего толком не объяснив читателю.

Быков в очередной раз говорит и проговаривается. Ключевое слово — «придумывал» — обнажает механику создания не только «ЖД», но и других больших полотен автора. Роман начинается чуть ли не по канонам отечественной военной прозы:

К вечеру Громов со своей ротой взял Дегунино. Надо было торопиться: на ночную атаку не хватало сил, люди устали, а если бы со штурмом протянули до завтра, отпуск бы точно накрылся. Следовало любой ценой войти в деревню вечером семнадцатого июля, и он вошел, причем почти без потерь.

Да, отчасти похоже на другого Быкова. Но постепенно действие начинает замедлять свой ход, и герои переходят к любимому занятию своего творца: говорению. Они *объясняют* роман. Многостраничье призвано замаскировать равнодушие писателя к писательству как таковому, что связано с неумением *показать*. Роман можно легко пересказать, выжав текст: герои, описания их внешности, движения внешние и внутренние уступают место бойкому лектору областного масштаба. Один из признаков талантливого произведения — создание многомерности, которая не есть прямое следствие авторского замысла, а выступает как следствие работы художественной интуиции. Разные толкования, прочтения, интерпретации могут возникнуть на основе восприятия одного образа. На каком-то уровне Быков понимает это и сам предлагает читателю интерпретацию собственного текста. Заливание читателя словами должно имитировать наличие сложного, живого мира, который автор не в состоянии создать.

В одном из своих выступлений Быков делает странное, на первый взгляд, признание: «Мне нравятся религиозно-философские собрания и мне нравится обществознание». Глубокая привязанность к солидному школьному предмету и превращает как бы художественный текст в курс лекций по истории России. Да, там есть «шокирующие гипотезы» о вечной борьбе двух сил: варягов и хазар, противостояние которых делает невозможным нормальное существование русского на-

рода в исторической перспективе. Варяги железными щитами отделяют страну от всего мира, прививая населению мобилизационное мышление, культ смерти и страдания, ксено- и другие фобии. Хазары воюют с варягами, отстаивая либеральные ценности, права человека. И те и другие предпочитают воевать, используя в качестве живой силы коренное население, которое автор жалеет как существ бессмысленных, хотя где-то и симпатичных. Символом бессмысленности жизни коренных выступает строительство ими циклопической кольцевой железной дороги. Тут читатель вправе указать на то, что он уже читал нечто похожее. Да, это творчески переосмысленный «Котлован» Платонова. Почему Толстому можно, а современному классику — нет? Вот такая пестровая, лоскутная теория. Озвучивают авторские теоретические выкладки персонажи, отвечающие за обещанное разжигание межнациональной розни. Так, лекции со стороны хазар читает Миша Эверштейн, к которому прилагается *разжигающая* портретная характеристика:

Эверштейн беззлобно и даже почтительно похихатывал над анекдотами про Рабиновича, пародировал газетный стиль, имитировал местечковый акцент — хотя у него был прекрасный, богатый и пластичный русский язык, без намека на провинциальность. Он и выглядел чересчур типично — маленький, смуглый, птичьеносый, с редкой черной бороденкой и быстрыми карими глазками, — и вел себя, как Рабинович из анекдота: мелко суетился, болтал, бравировал неряшливостью, быстро и неопратно ел и все трогал себя: то потрет переносицу, то примется теребить мочку уха, то почешет под мышками и быстро понюхает пальцы; это, пожалуй, было у него не пародийное, а врожденное, и все остальное он подобрал по черточке, чтобы довести до совершенства гротескный образ, расставить природные черты — мелкую



нервическую суету — в анекдотических, чтобы и собственные его мелкие пороки казались сознательно выбранной маской.

Мы милосердно ужали текст, который не просто избыточен, — кажется, что сам автор «бравировует неряшливостью». Естественно, словесной.

Использование антисемитских клише шокировать не может. Чрезмерно карикатурно, чтобы воспринимать всерьез, и слишком топорно исполнено, чтобы подать утонченной публике как постмодернистское обыгрывание этнических стереотипов. Остается пожалеть, что персонаж не поделился со своим творцом «прекрасным», «богатым» и «пластичным».

Впрочем, как мы уже замечали выше, умение донести свою мысль ясным и выразительным русским языком является в иерархии Быкова писательским достоинством второго, если не третьего ряда. И здесь уместно будет вспомнить о мелькнувшем у него в той же статье о Валентине Катаеве, полной чудных открытий, замечании о Сергее Довлатове как о «недалеком человеке», которое позже было развернуто и концептуализировано. В чем вина Довлатова? Первое обвинение — наличие читателей:

Раньше я относился к Довлатову спокойно, и массовый психоз вокруг него был мне непонятен. Сегодня я отношусь к нему прохладно — более ярких эмоций он вызвать не может, — а к его неумеренным поклонникам — с отвращением.

Что такого дикого сотворили буйные фанаты Сергея Донатовича? Сожгли библиотеку, заставили случайных прохожих читать вслух рассказы своего кумира, отказались покупать очередной роман самого Быкова? Нет, они всего лишь читают «полуклассика» и не слишком скрывают это свое преступление.

Пункт второй относится собственно к прозе обвиняемого:

В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий; ни огульных, переворачивающих сознание трагедий, ни высокой комедии, ни безжалостной точности, ни сколько-нибудь убедительного мифа.

Дмитрий Львович не успокаивается: «Ни тебе порывов и прорывов, ни отчаянного самобичевания, ни даже подлинного разрушения», — пишет человек, который, между прочим, успешно пережил Довлатова. Хотелось бы посмотреть на сеанс «отчаянного самобичевания» в исполнении самого Быкова, грозящий нам или «переворачивающей сознание трагедией», или «высокой комедией».

Причина столь огульной не любви скрывается в том, что Довлатова читают и перечитывают. Такова его проза. За внешней простотой, анекдотичностью сюжетов скрывается не только изумительная точность слова, недоступная Быкову. Пестрая мозаика случаев и баек неожиданно оборачивается цельным, внутренне завершенным текстом, в котором нет места случайности и художественной необязательности. Но безжалостный не успокаивается:

Довлатов — типичный писатель с записной книжкой, заносивший туда чужие анекдоты, понравившиеся остроты и комические положения. Но хорошему писателю, честно говоря, записная книжка не обязательна (единственное известное мне исключение — Чехов, выдумывавший так много сюжетов, что был риск их забыть; да и то — в зрелые годы он без этого подспорья обходился). То, что хорошо, — и так запомнится, а мелочами не стоит отягощать ни память, ни литературу. Довлатов же — именно коллекционер мелочей, и потому его прозу так приятно перечитывать: она забывается.

Критик вынужден все же произнести роковое: «перечитывать», связывая его с «мелочами». Последние работают

не только на точность повествования. В прозе Довлатова «мелочь» естественным образом укрупняется, поднимаясь до символического уровня. Перечитывание и связано с желанием читателя испытать, пережить еще раз эту смену масштаба. Правильно, так называемых «мелочей» — точности интонации и детали — в романах Быкова мы не найдем. А если деталь и будет, то в качестве таковой нам представят «голую слабую желтую лампочку без абажура».

Без сомнений, у Дмитрия Львовича всегда будут читатели его новых романов и «литературных исследований». Но перечитывать их не станут в силу эстетической ненужности этого процесса. Если вычеркнуть все условные «почесывания» и «подергивания» быковской прозы, то она приобретает свой естественный размер: вторичных исторических концептов и теорий, поданных с апломбом уже знакомого нам амбициозного учителя обществознания. Этим в какой-то степени можно объяснить количественную писательскую щедрость, призванную замаскировать качественную несостоятельность художественной прозы Быкова.

Но пришло время перейти к конструктивной части нашей работы и даже сделать своего рода подарок почитателям Дмитрия Львовича. А именно — следуя принципам теории «литературных двойников», мы решительно исправляем генеалогическое древо писателя Быкова. Вместо сомнительного «брата Коли» — Д. С. Мережковского, с которым нашего автора объединяет лишь один, по сути, родственник признак — неумение писать исторические романы, — мы нашли его настоящее отражение в прошлом. Не называя пока имени, перечислим внешние совпадения. Двух писателей теперь разделяют во времени не издевательски неполные 98 лет, а солидные 105. Оба автора родились в декабре, оба учились в Московском университете. И тот и другой

много времени и сил отдали журналистике и политике. Алфавит поместил их фамилии рядом. Наконец, если сравнивать внешность наших героев, то схожесть их обликов представляется несомненной. Сам Дмитрий Львович называет это метафизикой. Представляем — Александр Валентинович Амфитеатров.

Несколько слов о его жизни. Родился он 26 декабря 1862 года в семье настоятеля Архангельского собора в Кремле. Благодаря своему дяде — известному социологу, профессору Московского университета А. И. Чупрову — Александр уже в гимназические годы знакомится с наиболее видными представителями московской интеллигенции. Высшее образование он получает на юридическом факультете.

Учеба не поглотила его с головой. Куда больше времени он отдавал двум своим увлечениям: пению и журналистике. Первое настолько увлекло его, что в какой-то момент молодой Амфитеатров решает стать профессиональным оперным певцом. После окончания курса он отправляется в Италию, чтобы «отшлифовать талант», а потом два года работает в провинциальных театрах России (Казань, Тифлис). Честные музыкальные критики тех лет дружно сошлись на том, что русская сцена может обойтись без молодого дарования. Амфитеатров был вынужден признать поражение. Но актерское прошлое в будущей литературной карьере сыграло определенную роль. Амфитеатров воспринимал литературу как своего рода сцену, привкус театральности: страсть к публичным выступлениям, внешним эффектам и громким словам — нельзя отделить от писательства Амфитеатрова. В этом отношении зеркальность Дмитрия Львовича и Александра Валентиновича представляется несомненной. Более того, в силу технического прогресса Быков превратился сегодня в полноценную медийную фигуру. Можно

представить себе, насколько преуспел бы в этом сейчас Амфитеатров, учитывая его профессиональную сценическую подготовку.

Крушение театральной карьеры не сломало выпускника юридического факультета. Амфитеатров возвращается в 1891 году в Москву, где уже через год занимает должность московского корреспондента «Нового времени». Работа в популярной, известной во всей Российской империи газете не только решила финансовые проблемы Александра, но и превратила его в одного из ведущих фельетонистов эпохи. Известные фельетонисты пользовались тогда славой, к которой лишь пытаются приблизиться (как правило, безуспешно) современные блогеры. Реактивность, умение п(р)одать публике материал независимо от степени его подлинной важности, стремление к скандальности составляли основу успеха фельетониста. Видный литературный критик начала прошлого века А. Измайлов, рассуждая о фельетонной природе дарования Амфитеатрова, описывает его следующими словами:

Способность мгновенно загораться от каждой искры действительности, богатство полемического темперамента, умение сцеплять в интересную нить виденное, слышанное, читанное — все эти качества должны неизменно устремить обладателя их в область фельетона.

Слова Измайлова приобретают неожиданную актуальность. Механическое сцепление «слышанного» с «читанным» и образуют онтологическую, если говорить высоким языком, основу писательства Быкова, надувшего фельетон до размеров, делающих его внешне похожим на «большую прозу».

Переход Амфитеатрова к чистой литературе произошел легко, без особой внутренней перестройки. Многочисленные романы стилистически и содержа-

тельно не слишком отличались от его журналистских работ. Рыхлость композиции, языковая уплощенность, соединенная с языковым же избытком, стремление к «раскрытию острых тем и проклятых вопросов» одновременно обеспечивали внимание публики, но и не позволяли плодovитому романисту приблизиться к настоящей прозе. Уже в эмиграции, когда литературная карьера Амфитеатрова шла к своему естественному завершению, П. Пильский — авторитетный критик русского зарубежья — дал прозе Александра Валентиновича характеристику, которую легко можно переадресовать романам и литературным исследованиям Дмитрия Львовича. Прочитавшие «ЖД», «Орфографию», «Остромова» согласятся, что зеркалятся в нашем случае не только биографии творцов, все гораздо глубже:

...Его романы полны отступлений, примечаний, аналогий, ученых справок, и тут — философские теории, женский вопрос, пол и возраст, проблемы воспитания, филологические споры, богословские ссылки, исторические анализы, литературные экскурсии... и все это брызжет, льется, сыплется, как из рога изобилия...

Поддерживая градус интереса, Амфитеатров вынужден был обращаться ко все более скандальным сюжетам. И тут он проявляет завидную изобретательность. В ход идет животрепещущая тема проституции: «Марья Лусьева», «Марья Лусьева за границей», — с которой, как это внешне ни странно выглядит, рифмуется, например, необычно поданная тема сталинских репрессий в «Оправдании» Быкова. В обоих случаях в ход идут нелитературные средства привлечения внимания, которые должны компенсировать более чем сомнительные художественные достоинства текстов. Вершиной черного маркетинга Амфитеатрова становит-

ся скандал, связанный с публикацией в 1902 году романа «Господа Обмановы» — точнее, первых его глав. В это время писатель работал в собственной газете «Россия», которую он создал вместе с другим «королем фельетона» В. Дорошевичем после ухода из суворинского «Нового времени». Желая привлечь дополнительное внимание к изданию, Амфитеатров начинает в январе названного года печатать роман, ставший причиной как закрытия самой газеты, так и преследования писателя со стороны властей. Буквально на следующий день после публикации начальных глав Амфитеатров был арестован и сослан в Минусинск.

Внешне роман представлял собой рассказ о провинциальном дворянском роде Обмановых. Уже фамилия намекала на Романовых, а отдельные портреты, характеристики и события в семейной жизни Обмановых без особого труда были расшифрованы читающей публикой. Написан он был в традиционной для Амфитеатрова разухабистой манере, которую И. Шмелев позже определил как «задушевность и простоту рассказа, некую свободу речи, с шуткой и благодушием, с острой, порой, ухмылкой». Приведем начало романа, в котором есть многое из названного Иваном Сергеевичем, кроме, пожалуй, задушевности.

Когда Алексей Алексеевич Обманов, честь чество отпетый и помянутый, успокоился в фамильной часовенке при родовой своей церкви в селе Большие Головопяты, Обмановка тож, впечатления и толки в уезде были пестры и бесконечны. Обесхозяилось самое крупное имение в губернии, остался без предводителя дворянства огромный уезд.

На похоронах рыдали:

— Этакое благодетеля нам уже не найти.

И в то же время все без исключения чувствовали:

— Фу, пожалуй, теперь и полегче станет.

Но чувствовали очень про себя, не решаясь и конфузясь высказать свои мысли вслух. Ибо — хотя Алексея Алексеевича втайне почти все не любили, но и почти все конфузились, что его не любят, и удивлялись, что не любят.

Под именем Алексея Алексеевича Обманова автор с «острой ухмылкой» вывел, конечно, Александра III, у которого предсказуемо имеется сын Ника-милушечка, задавленный своим авторитарным родителем. Романый Ника пребывает в состоянии постоянного выбора, не уверен в себе. Метания между умеренным либерализмом и твердой консервативной линией, проводимой отцом, немудряще переданы через круг чтения Обманова-младшего:

Весь дом читал «Гражданина». Читал и Ника-милуша, хотя злые языки говорили, и говорили правду, будто подговоренный мужичок с ближайшей железнодорожной станции носил ему потихоньку и «Русские ведомости». И — будто сидит, бывало, Ника, якобы «Гражданин» изучая, — ан под «Гражданином»-то у него «Русские ведомости». Нет папаша в комнате — он в «Русские ведомости» вопьется. Вошел папаша в комнату — он сейчас страничку перевернул и пошел наставлять от князя Мещерского, как надлежит драть кухаркина сына в три темпа.

В биографии Быкова есть свои «Господа Обмановы», принесшие ему славу, схожую с известностью Амфитеатрова после публикации начала романа. И здесь зеркальность начинает превышать все допустимые оптические нормы. Дмитрий Львович в начале десятых годов привлекает внимание публики своим проектом «Гражданин поэт» (зеркальный привет газете князя Мещерского). Тут создается впечатление не физического отражения, но уже почти мистических, метафизических совпадений, о которых

Дмитрий Львович так любит рассуждать. Разухабистые политические куплеты, написанные Быковым и исполняемые М. Ефремовым, с одобрением были встречены «креативным меньшинством», увидевшим в них «вызов и протест». Пламенная сатира не отличалась чрезмерно высоким уровнем, но была доходчива. Последнее достигалось за счет того, что Быков попросту пародийно переделывал известные тексты, не слишком беспокоясь о моральной стороне. Например:

Жди меня, и я вернусь! —  
Лозунг фронтовой.  
Гражданин, мотай на ус,  
Думай головой.  
<...>  
Жди меня, и я вернусь  
В прежние права, —  
Уговаривает Русь  
Истинный глава.  
— Вся в мурашках, точно гусь,  
В вечном мандраже —  
Жди меня, и я вернусь.  
Собственно, уже.

«Смешно» должно было быть за счет приспособления одного из самых пронзительных лирических стихотворений Великой Отечественной войны к реалиям политических кампаний недавнего прошлого. Но и здесь наш сочинитель с «острой ухмылкой» вновь продемонстрировал яркий недостаток своего слишком широкого дарования. Естественно, мы процитировали текст Быкова не полностью, кратко писать, как мы помним, автор не умеет и не хочет. Ущербность подобного дурного словоизвержения раскрывается именно в области пародирования. Ироническое обыгрывание, превышающее по объему исходный текст, показывает не столько слабые, смешные стороны объекта передреазнивания, сколько ограниченность возможностей пародиста.

Возвращаясь к Амфитеатрову, отметим, что его сибирское изгнание длилось недолго. В конце того же 1902 года

он получает возможность переехать в Вологду, а через два года автор «Господ Обмановых» перебирается за границу. В 1905-м Амфитеатров становится членом масонской ложи Великого Востока Франции — одной из наиболее влиятельных французских лож того времени. Вступление в ложу совпадает с «ультра-красным» периодом его политической биографии, когда Амфитеатров, согласно его же свидетельству, «славил террор и террористов, издавал непримиримо бунтарский журнал “Красное знамя”, воспевал в прозе Марусю Спиридонову, а в стихах “народолюбца” Стеньку Разина, презирал “кущую конституцию” и компромиссы Государственной думы». Здесь уже можно устать от параллелей и отражений, но они слишком яркие, чтобы их пропустить. Многие помнят вдохновенные речи Дмитрия Львовича на Болотной площади, в которых были и бунтарство, и даже Государственная дума. Какой тут Мережковский...

Но закончить наше генеалогическое исследование мы хотели бы не указанием на очередное сходство или параллель в судьбах, в трудах и днях наших героев. Напротив, считаем нужным указать на важное отличие Александра Валентиновича от Дмитрия Львовича. Эта разница в том, как воспринимала русская литература той эпохи Амфитеатрова и как сегодняшняя культурная элита понимает роль и значение Быкова в отечественной словесности. При всей злободневности и политической актуальности многочисленных сочинений «непримиримого бунтаря», современники Амфитеатрова — как критики, так и коллеги по писательскому цеху — достаточно адекватно оценивали уровень его литературного дарования. Приведенные выше отзывы, хотя и носят внешне положительный характер, указывают на объективно слабые стороны его прозы — отсутствие внятной композиции, словесную избыточность, фельетонность.

З. Гиппиус в одной из рецензий делает неутешительный вывод относительно писательского мастерства Амфитеатрова: «Мгновениями он яркий художник, а через две строки срывается в публицистику, и срывается очень грубо... он все-таки более публицист, чем художник».

Замечательно, что сам автор также осознавал пределы своих возможностей, соглашаясь с мнением современников: «Я не беллетрист “чистой воды”, я журналист». В этом отношении он был честным русским писателем второго ряда, понимающим одновременно и ограничения, накладываемые этим положением, и, как ни странно, вытекающие из этого же преимущества. Не претендуя на стилистическое совершенство, глубокое проникновение в характеры героев, Амфитеатров мог позволить себе оперативно реагировать на злобу дня, привлекая внимание к проблемам, которые позже исследовались другими авторами — глубже, объемней, даровитей.

К сожалению, сегодняшняя критика и культурный читатель не всегда могут отделить политические, личные симпатии от трезвого осознания эстетической ценности того, что создается очередным «властителем дум». От этого оптового восприятия страдает в первую очередь сам автор, пытающийся соответствовать статусу. Хороший журналист и усердный труженик на ниве масскультпросвета должен зачем-то писать пухлые романы, а потом оправдывать самого себя, придумывая сложную систему «кривых зеркал», искать в них свое отражение и отворачиваться от того, что ему не нравится в действительности. К ней мы и призываем вернуться, чтобы освободить творца от утомительных виртуальных пинков по машинной детали. Не только потому, что это может привести к непоправимым последствиям. Проблема в том, что деталь изначально принадлежит другому механизму и заставить работать машину невозможно.



Людмила БОГОМОЛОВА

**КОНСТАНТИН ЧЕБОТАРЕВ  
И АЛЕКСАНДРА ПЛАТУНОВА:  
ОМСКАЯ СТРАНИЦА В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ  
ХУДОЖНИКОВ КАЗАНСКОГО АВАНГАРДА**

Имена Константина Чеботарева (1892—1974) и Александры Платуновой (1896—1966) — лидеров казанского художественного авангарда 1910-х — 1920-х гг. — упоминались омскими искусствоведами прежде всего в связи с их педагогической деятельностью в 1-й Сибирской художественно-промышленной школе (далее — Худпром). Они преподавали в ней чуть более четырех месяцев: Чеботарев — историю искусств, Платунова — рисунок.

В Омском историческом архиве имеются документы, касающиеся этих художников. Они немногочисленны и относятся к марту 1921 г. В списке бывших белых офицеров под № 4 указано имя К. Чеботарева, прапорщика, поступившего на службу в Худпром 10 ноября 1920 г., после октябрьской амнистии [1]. Согласно Постановлению Народного Комиссариата Юстиции о порядке применения амнистии, объявленной к 3-й годовщине Октябрьской революции, ревтрибуналами в двухнедельный срок были пересмотрены дела приговоренных до конца Гражданской войны с освобождением их из заключения. Спустя несколько дней Чеботарев был зачислен в штат Худпрома лектором по истории искусств.

Один из документов за подписью директора Худпрома М. И. Стрельникова содержит сведения о бытовой неустроенности супружеской пары, которая, кстати сказать, сопровождала их не только в Омске, но и многие десятилетия в подмосковном Новогиреево. В удостоверении, поданном в Омскую чрезвычайную жилищную комиссию, Стрельников сообщает о том, что «художники Чеботарев и Платунова, преподаватели Художественно-промышленной школы, являются ответственными работниками и нуждаются в отдельной комнате, где могли бы они вести подготовительную работу к лекциям и иллюстрациям для агит<ационных> изданий. В настоящее время они, занимая угол кухни, находятся в таких жилищных условиях, которые определенно влияют на интенсивность нужной для республики работы» [2]. Имена художников встречаются и в списке ответственных работников Худпрома в один из отделов Губпродкома от 11 марта 1921 г. [3].

Последний документ — выписка из протокола заседания президиума Худпрома от 19 марта об откомандировании Чеботарева и Платуновой в Казань, в Казанские художественные мастерские [4].

По понятным причинам Чеботарев никогда не упоминал о службе в Белой

армии, об омском концлагере и, похоже, все, что было связано с Омском, старался забыть. Поэтому в искусствоведческих публикациях казанских авторов (до последнего времени весьма немногочисленных) сведения об этом драматическом периоде в жизни художника крайне скупы и неопределенны. «В Сибири Чеботареву пришлось работать по искусству в Омске, Челябинске и Иркутске», — написал в 1925 г. искусствовед П. М. Дульский [5]. «По-видимому, мало кто знал о его почти двух-трехлетней службе в колчаковской армии, хотя и по принудительной мобилизации», — читаем в монографии Н. М. Валеева о творчестве Чеботарева и Платуновой [6].

Не так давно стали известны основные вехи биографии художника 1918—1920 гг., представленные А. В. Балашовым на сайте «Археология»: призыв весной 1918 г. на службу в армию Колчака, тяжелое ранение, длительное лечение в Иркутском военном госпитале, заболевание тифом, а также тот факт, что дело К. К. Чеботарева было рассмотрено судом омского Ревтрибунала и он едва избежал расстрела благодаря явке с повинной и плохому состоянию здоровья [7]. Принципиально важным оказался документ из следственного дела Чеботарева, опубликованный омским исследователем И. Г. Девятьяровой [8].

Казалось бы, установлены все факты его биографии этого периода. Но вот что интересно: кроме Худпрома, открывшегося осенью 1920 г., ранее в Омске возник еще один центр художественной жизни, связанный с именем писателя А. С. Сорокина. В то трагическое для истории страны время в белой столице находилось много приезжих художников и литераторов. Они посещали дом Сорокина на Лермонтовской улице, за бумагу и карандаши нередко отдавали хозяину свои работы, ставшие основой его будущей коллекции графики и живописи. В рамках своего сибирского турне в марте

город посетил Давид Бурлюк; здесь проходили художественные выставки, кипели споры об искусстве и литературе.

Мы не располагаем документами, подтверждающими факт общения писателя с Чеботаревым и Платуновой во время их педагогической деятельности в Худпроме. Однако графические работы казанских художников у Сорокина имелись. Подтверждение тому находим в тетради с описью его коллекции, составленной сотрудниками картинной галереи Западно-Сибирского краевого музея в 1935 г. Под № 212 значится «Сон Шуры» (Платунова), под № 225 — «Папка с 5-ю №№ рисунков Чеботарева». На принадлежность их к сорокинской коллекции указывает отгиск его печатки на лицевой стороне. Рисунок А. Платуновой «Сон Шуры» (1920) хранится в Омском областном музее изобразительных искусств (ООМИИ). Он относится к графическому циклу «Из моих снов», начатому еще в Казани. В архиве Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ) хранится отпечатанная в синем тоне обложка к неизданному сборнику стихотворений П. Драверта «Песни самоцветных камней», приписываемая А. Сорокину. Однако это не что иное, как вариант рисунка Платуновой «Сон Шуры». Что касается пяти подписных и датированных рисунков (все — 1919 г.), некогда находившихся в папке под № 225, то в конце 1990-х — 2000-х гг. все они были приобретены коллекционерами Омска и Москвы [9].

Именно эти рисунки и вызывают вопросы: где они выполнены и как художник смог их сохранить, находясь в тяжелейших условиях плена, сначала в Новониколаевске, а затем в Омске? Для того чтобы попытаться ответить на эти вопросы, необходимо прокомментировать документ, собственноручно составленный Чеботаревым, опираясь на данные из военных архивов и исследования по истории Граж-



данской войны. Во избежание частого цитирования приведем его из публикации И. Г. Девятяровой полностью:

«Весной 1918 года я уехал для занятия живописью на берег реки Вятки и жил недалеко от Уржума в селе Козмодемьянское. Вскоре после того, как Казань была взята чехами, в Уржумском уезде началось белогвардейское восстание, была объявлена мобилизация всех офицеров. Так как я не хотел служить у повстанцев, то решил удрать и уехал в село Черемисский Турек, где у меня имелись люди, которые могли меня спрятать от белогвардейской мобилизации. В Туреке уже я узнал, что повстанческий отряд разбит на берегу Вятки под Шурмой, дошли страшные рассказы о том, что все захваченные офицеры убивались на месте. Создалось безвыходное положение: с одной стороны, нежелание служить у белых, с другой — страх, что меня убьют без всяких разговоров как офицера. Решил пробраться в Казань, рассчитывая, что там легко будет спрятаться. По дороге в Казань я узнал, что она окружена советскими войсками. В татарской деревне Атня я неожиданно встретил отступающий на Казань Уржумский отряд, и мне ничего не оставалось, как встать в его ряды. В Казани 31 августа в первом же бою я был ранен. Потом санитарный поезд 2211, в котором я ехал, потерпел крушение около Уфы, и я опять был ранен и сильно измят. Пролежавши в Иркутском военном госпитале всю зиму, я весной 1919 года был уволен по чистой и уехал в Челябинск. В июле офицеров-инвалидов пригласили на переосвидетельствование и мне дали третью категорию. Как художник-специалист я получил предписание от Челябинского воинского начальника отправиться в распоряжение начальника Уфимского отделения Особого отдела. Отделение было в это время в стадии формирова-

ния, у них не было делопроизводителя, и я был назначен таковым».

Начнем с событий 1917 г. Весной Чеботарев окончил Казанскую художественную школу, затем «с октября 1917 по январь 1918 г. учился в Казанском военном училище и по его окончании был произведен в чин прапорщика, служил младшим офицером 240-го запасного полка, который квартировал в Казани» [10].

Однако в указанное время он никак не мог учиться в военном училище и получить чин прапорщика, ибо оно уже не существовало. Последний выпуск офицеров военного времени состоялся 1 октября 1917 г. [11]. 24—25 октября в Казани произошли кровавые события, в результате которых была установлена власть большевиков. Они начались раньше, чем в Петрограде и Москве, носили стихийный характер и происходили главным образом в гарнизоне. Военное училище приняло участие в боевых действиях против большевиков. Взрыв на Казанском пороховом заводе и пожары обострили обстановку в городе. В бегах находились солдаты запасных полков, расквартированных в Заречье, в том числе — свыше трехсот солдат 240-го полка. Всюду проходили митинги с требованием прекращения войны, избивались офицеры, захватывались арсеналы и действа с оружием [12].

После захвата власти большевиками военные училища в России были ликвидированы как «очаги контрреволюции». Уже 1 ноября 1917 г. приказом народного комиссара по военным и морским делам Н. В. Крыленко отменялись все выпуски в офицеры из военно-учебных заведений и запрещалась организация набора новых юнкеров в военные училища и школы прапорщиков [13]. Согласно постановлению от 6 ноября 1917 г. Казанское военное училище было расформировано, в тот же день его начальник, генерал-майор В. И. Кедрин сдал дела

[14]. С конца ноября 1917 г. в Казани стал работать Революционный трибунал. В январе 1918 г. была создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Весной был расформирован 240-й пехотный запасной полк Казанского военного округа. Началось создание местных частей Красной армии [15].

Всю весну Чеботарев и Платунова активно занимались творчеством, они — лидеры союза «Подсолнечник», выставка которого успешно прошла в здании Художественной школы с 6 по 19 мая. И только в середине июня (а не весной, как пишет художник) супружеская пара отправилась на пароходе в длительную поездку на этюды, о чем гласит удостоверение Продовольственного отдела при Казанском губернском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 14 июня 1918 г.: «Дано сие удостоверение К. Чеботареву в том, что на вывоз из Казани (в пятидневный срок) красок 150 тюбиков, холста 30 кв. аршин, бумаги рисовальной 40 листов, карандашей разных и очищенного мела, 2 фунтов чая, 2 фунтов табаку и 5 мест домашних вещей водным путем до пристани Русский Турек Вятской губернии для собственного потребления препятствий не встречается» [16].

В селе Козмодемьянском, расположенном на крутом берегу реки Вятки в десяти километрах на восток от Уржума, они прожили более месяца. И все это время были свидетелями бесчинств советского продовольственного полка, отбиравшего хлеб у крестьян. В начале августа началось стремительное наступление на Казань отряда Народной армии в составе русских частей и двух батальонов чехов под командованием полковника В. О. Капшеля. 6—7 августа при сильнейшей летней грозе чехословацкие легионеры штурмом взяли Казань.

Вскоре после занятия белыми войсками Казани на юге Вятской губернии

вспыхнул мятеж, названный «степановским» — по фамилии бывшего штабс-капитана А. А. Степанова, возглавлявшего 1-й московский продовольственный отряд. Отказавшись выполнять директиву Москвы — срочно отправиться на фронт для подавления чешского мятежа в Поволжье, — отряд порвал с советской властью. В него стали стекаться бывшие офицеры, жившие в Уржумском уезде, юнкера, кадеты, эсеры, крестьяне. Спустя две недели, после серьезного сражения в селе Шурма мятеж был жестоко подавлен отрядами венгерских и латышских наемников [17].

Из показаний Чеботарева следует, что во время насильственной мобилизации, проводимой белогвардейцами, он уехал в село Черемисский Турек (однако здесь в это время располагался подрывной отряд продполка). В этом селе, позднее переименованном в Мари-Турек, жили родители Александры Платуновой. Ее отец до 1916 г. держал иконописную мастерскую, располагавшуюся в двухэтажном доме на Поповской улице. В Черемисском Туреке, пишет Чеботарев, он узнал о разбитом под Шурмой повстанческом отряде.

В 20-х числах августа остатки отряда во главе со Степановым ушли на Казань, в татарской деревне Атия к нему присоединился Чеботарев. Степановцы, по воспоминаниям очевидцев тех событий, не объявляли насильственной мобилизации, убеждали присоединиться к ним добровольно. Чеботарев уже знал, как управлялась с белыми офицерами новая власть. Знал и о том, что белые войска в августе взяли Казань. У многих тогда появилась уверенность в том, что дни советской власти сочтены.

Получив тяжелое ранение в первом же бою, 31 августа, Чеботарев был эвакуирован тыловым военно-санитарным поездом № 2211 [18] в Иркутск, где в течение всей зимы находился на излечении в 9-м временном военном госпитале.

«...Весной 1919 года, — пишет Чеботарев, — был уволен по чистой и уехал в Челябинск». С какой целью он, комиссованный после тяжелого ранения, поехал на Урал, мы не знаем. Но то, что Чеботарев был в начале весны в Омске, стало известно от Н. М. Валеева. В недавно изданной монографии он сообщает о том, что близкий Чеботареву и Платуновой врач А. С. Романович, помогавший им в последние годы их нелегкой жизни, сделал попытку написать творческую биографию художника [19]. «Чеботарев завещал ему все свои и А. Г. Платуновой живописные и графические работы, огромный архив (с просьбой передать его в РГАЛИ, где он сейчас и хранится)... Регулярно общавшийся с Чеботаревым А. С. Романович пишет: “Период с августа 1918 года по май 1921 года для К. Чеботарева стал годами тяжелых испытаний. Молодой художник не стал героем гражданской войны, он стал ее жертвой. Тяжелое ранение, военный госпиталь, тюрьма, голод, тиф. На страницах биографического очерка мы пытались описать весь трагизм сложившейся ситуации. К этому следует добавить заманчивое предложение Давида Бурлюка, с которым К. Чеботарев встретился в Омске, покинуть Россию, эмигрировать в Америку, на что получил категорический отказ”» [20].

Дошедшие до нас рисунки, о которых говорилось выше, были созданы весной и летом 1919 г. Все они имеют подпись и полную дату и, что немаловажно, хорошую сохранность. Самый ранний из них помечен 29-м апреля 1919 г. Он напоминает журнальный рисунок тушью: толпа обывателей на фоне усеянного звездами ночного неба. Рисунки Чеботарева 1919 г. автобиографичны. В кубистически стилизованной композиции с лежащей обнаженной мужской фигурой (06.06.19), выполненной цветными карандашами и тушью, есть намек на врубелевского «Демона поверженного». Дважды художник написал акварелью свой автопортрет. На

одном он изображен в военной форме, обращает на себя внимание неестественно вывернутая кисть правой руки. Рядом с ним самый близкий ему человек — А. Платунова (10.05.19). На другом рисунке (28.06.19) — образ могучего, сильного духом человека. На ранение указывает черная повязка на правой руке. Образы женщин, ждущих с фронта своих родных («Крестьянки», 02.07.19), продолжают тему ожидания, начатую художником в картине «Солдатки», участвовавшей за год до того на выставке союза «Подсолнечник».

Итак, с марта 1919 г. Чеботарев был в Омске, встречался с Бурлюком, и некоторые рисунки могли быть выполнены в колчаковской столице.

В июле после переосвидетельствования он с предписанием от челябинского воинского начальника направился на новое место службы — делопроизводителем в Уфимское отделение Особого отдела управления делами Верховного правителя и Совета министров. Об истории создания Особого отдела, его задачах и структуре пишет новосибирский исследователь В. И. Шишкин [21]. В частности, он сообщает, что Уфимское отделение Особого отдела сначала располагалось в Златоусте. После поражения колчаковских войск на Урале (Златоуст был взят красными 13 июля, Челябинск — 24-го) оно было переведено в Петропавловск и ликвидировано в конце октября в связи с захватом города частями Красной армии.

Петропавловск — уездный город Омской губернии в пяти часах пути от Омска. По делам службы Чеботарев мог приезжать в белую столицу, чему есть косвенное подтверждение в воспоминаниях Нины Константиновны Бруни. Вместе с Л. Н. Бруни она находилась в Омске с августа по октябрь 1919 г., здесь они общались «с Шестаковым, семьей Болдыревых, Литой Баратынской (правнучкой поэта и сестрой Дмитрия Баратынского, с которой мы подружились в Москве в

20-е годы), Валерием Язвичким, Натальей Александровной Кастальской, Всеволодом Н. Ивановым, художниками Чеботаревым и Мошевитиным, Зыковым (рыжий Зыков), Николаем Михайловичем Тарабукиным» [22]. Не исключено, что рисунки Чеботарева именно тогда могли попасть к А. Сорокину.

Возможно также, что после оставления 31 октября Петропавловска колчаковскими войсками сотрудники Западного прифронтового отделения Особого отдела (так оно стало называться после объединения Уфимского и Пермского отделений) отступили в белую столицу, где находилось Центральное отделение.

В том, что Чеботарев был секретным сотрудником (а не делопроизводителем) Особого отдела по крайней мере уже с октября, сомневаться не приходится. По словам В. И. Шишкина, «только Уфимское прифронтовое отделение имело на 1 октября 34 секретных агента, подавших заявления, принятых на службу с присвоением кличек, получивших предписания с перечнем поставленных перед ними задач и реально находившихся в советском тылу» [23]. Одну из версий появления Чеботарева с товарищами в Новониколаевске мы можем позаимствовать у того же автора: «Еще 9 ноября 1919 г. Деминов (начальник Особого отдела. — Л. Б.)... вместе с частью сотрудников Центрального и Западного отделений выехал по железной дороге из Омска в Красноярск, который был назначен новым местом расположения Особого отдела... Первого декабря эшелон, в котором находились сотрудники и архив Особого отдела, вышел из Новониколаевска в Красноярск. Но несколько сотрудников отдела... решили остаться в Новониколаевске. Еще часть сотрудников осела на станции Тайга» [24].

15 декабря, после взятия Новониколаевска 27-й стрелковой дивизией 5-й Красной армии, Чеботарев добровольно сдался начальнику гарнизона

В. К. Блюхеру. Многие офицеры тогда предпочли сдаться, не видя смысла в продолжении затянувшейся, но уже проигранной войны. По оценке Р. М. Абинякина, добровольные сдачи в плен свидетельствовали не только об обреченности противников большевиков, но и о мировоззренческом переломе [25].

Согласно приказу Троцкого, взятые в плен офицеры и солдаты ударных, штурмовых и казачьих частей подлежали расстрелу на месте. Остальных загнали в концлагерь. В Новониколаевске началась эпидемия, которую очевидцы называли «мором». «В крошечном Военном городке, который за час можно было обойти по периметру, находилось около 20 тыс. больных тифом. Пленные белогвардейцы находились в невероятно жалком состоянии. Они ни разу не были в бане, голодали, замерзали в сырых, не отапливаемых, грязных сараях и конюшнях, где их размещали, поголовно болели тифом и туберкулезом и гибли массами» [26].

В 1920 г. органами ЧК были разработаны инструкции обращения с пленными офицерами. Офицеры военного времени, к которым относился Чеботарев, подвергались фильтрации, которой занимались особые отделы ЧК. Лояльных отправляли в трудовые армии, остальных в концлагерь. При фильтрации учитывался характер деятельности офицеров в период их службы у белых. Обращает на себя внимание тот факт, что в показаниях Чеботарева не упомянута ни одна фамилия. Вполне понятно, что он давал чекистам одностороннюю информацию о своих взглядах, утаивая отдельные факты, в частности факт своего присутствия в колчаковской столице.

Нет сомнений в том, что Чеботарев окончил Казанское военное училище, но не в январе 1918 г., а 1 октября 1917-го. И это вполне логично: в условиях продолжавшейся Первой мировой войны он, давно достигший призывного возраста, после завершения учебы в художествен-

ной школе должен был подвергнуться летней мобилизации. Чеботарев намеренно смещает время своего пребывания в военном училище, поскольку правда могла вскрыть факт его участия в октябрьских событиях 1917 г. Что касается насильственной мобилизации, то известно, что среди пленных белых офицеров указание на службу не добровольно, а по мобилизации было распространенным явлением. Понятно, что от написанного могла зависеть его жизнь и судьба, и художник вынужден был придумывать свою версию происходившего.

12 июля дело по обвинению бывшего белого офицера К. К. Чеботарева в контрреволюционной деятельности из губчека было передано в Омский губернский революционный трибунал. Чеботареву удалось избежать расстрела, но и, как говорили тогда в народе, «ревтрибунал — кратчайший мост от чрезвычайки на погост». 17 августа по решению суда он был определен на время Гражданской войны в Омский концентрационный лагерь принудительных работ.

Почему мера наказания в отношении белого офицера, являвшегося секретным сотрудником Особого отдела, была смягчена? Этому, на наш взгляд, есть несколько причин. Во-первых, как явствует из исследования В. И. Шишкина, «из-за недостатка квалифицированного персонала и дефицита отпущенного историей времени справиться со взятыми Деминовым обязательствами Особый отдел не смог. Ситуация усугублялась тем, что при комплектовании начальствующего и оперативного персонала были допущены серьезные ошибки. Поэтому вполне закономерно, что ни советский, ни колчаковский тыл не ощутили воздействия со стороны Особого отдела» [27].

Во-вторых, в мае 1920 г. в Омске состоялся показательный суд над бывшими министрами и товарищами министров Временного Сибирского правительства и Российского правительства А. В. Колча-

ка. Четверо из них были приговорены к высшей мере наказания, остальные — к большим срокам лишения свободы. На этом фоне степень совершенных Чеботаревым преступлений против советской власти выглядела не столь значительной. Следует также заметить, что, наряду с делами «исторической», ревтрибуналы все чаще рассматривали дела так называемой «текущей» контрреволюции, т. е. различные проявления сопротивления советской власти в Сибири уже после установления на ее территории нового режима. Росло количество преступлений уголовного характера, ревтрибуналы также вели борьбу с дезертирством и бандитизмом.

В связи с подготовкой амнистии к годовщине Октябрьской революции в Омске 6 октября 1920 г. состоялось заседание Сиббюро ЦК РКП(б), на котором было принято решение «офицеров колчаковской армии под амнистию не подводить, но снести с ВЧК о желательности посылки их на фронт» [28]. Однако спустя месяц ВЦИК издал декрет «Об амнистии к 3-ей годовщине Октябрьской революции», послуживший основанием для освобождения К. Чеботарева. Через четыре дня он и Александра Платунова, приехавшая в Омск летом, стали штатными преподавателями Худпрома.

Однако точку на этом ставить рано. Многие предположения в данной статье пока не имеют прямых доказательств. Поиск архивных документов, касающихся биографии К. Чеботарева периода Гражданской войны, необходимо продолжать, в чем нас убедила публикация И. Г. Девятьяровой, появившаяся в канун столетия Октябрьской революции.

Есть большая уверенность и в том, что в художественной части архива А. Сорокина, хранящейся в коллекциях ООММИ и ОГИКМ, среди анонимных работ присутствуют произведения К. Чеботарева и А. Платуновой, созданные в Омске.

## Примечания

1. Исторический архив Омской области. Ф. 300. Оп. 1. Д. 2. Л. 678.
2. Там же, л. 312.
3. Там же, л. 513.
4. Там же, л. 405.
5. Дульский П. М. Современные казанские графики // Гравюра и книга. — М., 1925. — № 1—2. — С. 38.
6. Валеев Н. Константин Чеботарев, Александра Платунова. В поисках пути в искусстве. — Казань, 2016. — С. 85.
7. URL: <http://arteology.ru/artists/chebotarev/comment-page-1/#comment-37621> (дата обращения: 04.09.2017). Установить источник пока не удалось.
8. Девятьярова И. Г. Сибирские страницы в биографиях деятелей искусства Поволжья периода Гражданской войны. 1918—1921 годы // Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. — Омск, 2016. — С. 14.
9. Папки с архивом А. Сорокина после обнаружения в 1970-х гг. находились в библиотеке ОГИКМ, откуда часть произведений была похищена. Впоследствии некоторые из них приобрел ООМИИ, остальные попали в руки коллекционеров.
10. Девятьярова И. Г., цит. соч., с. 14.
11. Казанское военное училище. URL: <http://gia1914> (дата обращения: 02.08.2017).
12. Тагиров И. Правда об Октябре в Казани. URL: <http://history-kazan.ru/kazan-vchera-segodnya-zavtra/retrospektiva/tatarskaya-assr-1917-1990-gody/3665-617> (дата обращения: 02.08.2017).
13. Вольнец А. Дефицит офицеров в русской армии как залог поражений и революции. URL: <http://www.rusproject.org/node/1614> (дата обращения: 02.08.2017).
14. В 1919 г. В. И. Кедрин назначен генералом для поручений при военном министре, затем — при управляющем военным министерством правительства А. В. Колчака. Попал в плен. Арестован 10 мая 1920 г. 9 августа 1920 г. Омской губчека предъявлено обвинение в службе в армии Колчака. Освобожден.
15. Тагиров И., цит. соч.
16. Валеев Н., цит. соч., с. 28.
17. Вятка: наследие. 1918 г. Степановский мятеж. URL: [http://urzhum-uezd.ortox.ru/vjatskie\\_khroniki\\_naibolee\\_vudajushhiesja\\_sobytij/view/id/1198901](http://urzhum-uezd.ortox.ru/vjatskie_khroniki_naibolee_vudajushhiesja_sobytij/view/id/1198901) (дата обращения: 02.08.2017).
18. Военно-санитарный поезд № 2211 в фондах военно-медицинских учреждений не значится. См.: Российский государственный военно-исторический архив. URL: <http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook> (дата обращения: 02.08.2017).
19. Романович А. С. Художник Чеботарев Константин Константинович. Казанский период творчества. 1914—1926. — Москва — Казань, 2007. — 60 с. (на правах рукописи).
20. Валеев Н., цит. соч., с. 256.
21. Шишкин В. И. Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров Российского правительства (май — декабрь 1919 года) / Вестник НГУ. Серия: история, филология. — 2012. — Том 11. — Вып. 8. — С. 63—81.
22. Сарабянов А. Д. Жизнеописание художника Льва Бруни. — М., 2009. — С. 60.
23. Шишкин В. И., цит. соч., с. 76.
24. Там же, с. 78.
25. Цит. по: Ганин А. В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917—1922 гг. URL: <http://ebiblioteka.ru/browse/doc> (дата обращения: 02.08.2017).
26. Косякова Е. И. Эпидемия тифа в Новониколаевске начала 1920-х гг. как аспект экстремальной повседневности. URL: <http://sib-subethnos.narod.ru/p2005/kosykova.htm> (дата обращения: 05.08.2017).
27. Шишкин В. И., цит. соч., с. 81.
28. Сибирская Вандея. 1919—1920. Документы в 2-х томах. URL: <http://sibirskaya-vandeya.blogspot.ru> (дата обращения: 04.08.2017).

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Богомолова Людмила Константиновна** родилась в 1961 г. в Омске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, старший научный сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Член Союза художников России. Эксперт по культурным ценностям МК РФ. Живет в Омске.

**Васильцов (Пыркoв) Иван Владимирович** родился в 1972 г. в Ульяновске. Доктор филологических наук, профессор Саратовской государственной юридической академии. Автор двух книг поэзии, книги очерков о саратовских писателях и монографии, посвященной русской усадебной литературе XIX в. Лауреат премии имени И. А. Гончарова. Живет в Саратове.

**Высоцкая Кристина Анатольевна** родилась в 1987 г. в г. Талица Свердловской области. Окончила отделение журналистики филологического факультета Тюменского государственного университета. Неоднократный победитель городских литературных конкурсов. Публиковалась в альманахах «Врата Сибири», «Берега», «Мы молодые». Живет в Тюмени.

**Гордин Александр Иннокентьевич** родился в 1958 г. в Усолье-Сибирском. Окончил Иркутский государственный университет. Член Союза журналистов России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ. Автор шести сборников стихов, сборника рассказов и повести. Живет в Иркутске.

**Косовская Мария Геннадьевна** родилась в 1979 г. в Москве. Окончила Московский государственный горный университет и Литературный институт им. Горького. Работает менеджером по аренде яхт. Публиковалась в журналах и альманахах «Литературная учеба», «Волга», «Кольцо "А"» и др. Живет в Москве.

**Красильникова Екатерина Ивановна** родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета. Автор книг «Новосибирский некрополь» (в соавторстве) и «Новый быт сибирского Чикаго». Живет в Новосибирске.

**Кудимова Марина Владимировна** родилась в Тамбове. Поэт, прозаик, эссеист, историк литературы, культуролог. Автор девяти поэтических сборников и книги прозы «Бустрофедон». Лауреат многих литературных

премий, в том числе премии журнала «Новый мир» (2000), Бунинской (2012), Лермонтовской (2015) и Волошинской (2018). Живет в Москве.

**Лямкин Вячеслав Михайлович** родился в 1981 г. в с. Павловск Алтайского края. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет и Бийский лесхозтехникум. Работал учителем в школе, слесарем, лесником. Печатался в журналах «Алтай», «Бийский Вестник», «Огни над Бией». Лауреат литературной премии им. святителя Макария, митр. Алтайского, в номинации «Проза». Живет в Бийске.

**Пименов Александр Владимирович** (1957—2018) родился в Новосибирске, учился на филологическом факультете Томского государственного университета. Жил в разных городах России, работал кочегаром, журналистом, театральным осветителем, копирайтером. В начале 2000-х вернулся в родной город, состоял членом редколлегии сетевого литературного журнала «Вечерний Гондольер».

**Рыпка (Плотицына) Ирина Алексеевна** родилась в 1981 г. в Нижнеудинске. По образованию медицинская сестра. Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Новая реальность», «Этажи» и др. Автор двух поэтических сборников. Живет в Нижнеудинске.

**Сагдиева Виктория Сергеевна** родилась в 1987 г. в Кемерове. Окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию. Работала медсестрой, оператором кол-центра, копирайтером. Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «После 12». Автор книги стихов. Лауреат региональной премии «Новое кузбасское слово» (2018). Живет в Кемерове.

**Хафизов Олег Эсгатович** родился в 1959 г. в Свердловске. Окончил факультет иностранных языков Тульского государственного педагогического института. Работал художником-оформителем, переводчиком, сценаристом, телеведущим, педагогом. В настоящее время научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле». Автор четырех книг прозы. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга» и др. Живет в Туле.

**Хлебников Михаил Владимирович** родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 04.02.2019. Дата выхода № 3 за 2019 г. в свет 12.03.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.